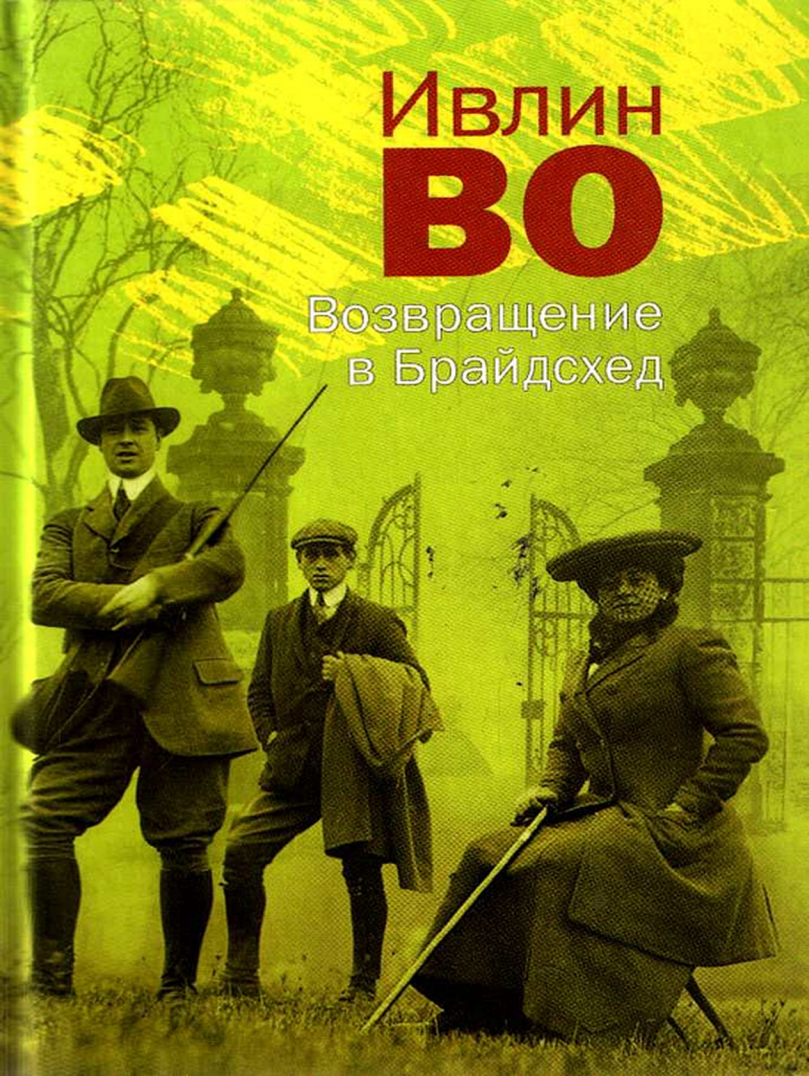
Ивлин Во

Возвращение в Брайдсхед

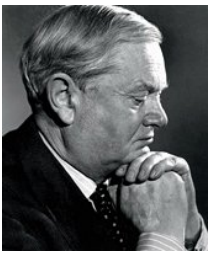


Возвращение в Брайдсхед

Ивлин Во

Аннотация
Ивлин Во. ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД
Пролог. БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ
Книга первая. ET IN ARCADIA EGO
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
Книга вторая. БРАЙДСХЕД ПОКИНУТЫЙ
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
Книга третья. СТОИТ ТОЛЬКО ДЕРНУТЬ ЗА ВЕРЕВОЧКУ
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
Эпилог. БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ

Аннотация



Ивлин Артур Сент-Джон Во (Evelyn Arthur St. John Waugh; 28.X.1903, Лондон — 10.IV.1966, Сомерсет) — английский писатель-сатирик.

„Возвращение в Брайдсхед“ (Brideshead Revisited) — один из наиболее известных романов писателя. Книга была написана в 1944 году. В романе, опубликованном в конце Второй мировой войны, тонко прописаны характеры уходящей эпохи процветания английской аристократии. Главный герой романа молодой художник Чарльз Райдер знакомится во время обучения в Оксфорде с Себастьяном Флайтом — представителем известной аристократической фамилии.

После своего приезда в Брайдсхед, родовое поместье Флайтов, Чарльз попадает в водоворот богемной жизни, и на протяжении следующих лет его судьба неразрывно связана с этой семьей.

Ивлин Во
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД

СВЯЩЕННЫЕ
И БОГОХУЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ПЕХОТНОГО КАПИТАНА ЧАРЛЬЗА
РАЙДЕРА
Посвящается Лауре
Я — это не я; ты — это не он и не она;
они — не они.
И. В.

Пролог
БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ

Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, все было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.

Здесь умерла любовь между мною и армией. Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку;

четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.

На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад; пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой — вот все, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав — след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.

За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых

деревьев, стоял городской сумасшедший дом — предмет наших постоянных шуток, и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие — счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: „Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!“ Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. „Гитлер свез бы их в газовую камеру, — говорил он. — По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться“.

Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы

занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.

А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта, он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого их старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались

кто куда — одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио, и перед обедом выпивалось море пива; все было не так, как раньше.

Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.

Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы

предстоящего дня — не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по топографии с допризывниками, — лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию и не стремится радовать ее и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования, мы прошли, армия и я, через все стадии — от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии — прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность и холодное неодобрение и все

растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжении трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть и корысть и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.

И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09:15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собою в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я

назначил произвести осмотр строя. В 07:30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет „военной тайны“ и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. „Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, — сказал батальонный. — Если я по прибытии к месту назначения обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации“.

Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.

„Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ — обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа“.

Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:

— Мистера Хупера не было здесь?

— Пока не показывался, сэр.

Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составление накануне.

— Сильный ветер ночью, сэр, — скороговоркой поясни старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье „Саперное учение, сэр“.)

Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосам и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.

Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо

знал своё дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл „Джонами“; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.

Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В тот вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.

— Вон тот молодой офицер — это ваш, Райдер? — обратился он ко мне. — Ему надо постричься.

— Да, сэр, — ответил я. Он был прав. — Я прослежу, чтоб это было сделано.

Полковник выпил еще и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо: — Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!

Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:

— В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.

Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.

— Вы! — рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. — Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.

— Это приказ, сэр?

— Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.

— Очень хорошо, сэр.

Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.

— Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, — заверил я его.

— Да я не обиделся, — ответил Хупер. — Разве я шуток не понимаю?

У Хупера не было иллюзий касательно армии — вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то,

чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом — „как корь“, по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии— во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, — Хупер много плакал, но не над речью Генриха в день святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Бан-нокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.

Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный

коммерческий опыт; часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: „Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло“. Он крепко спал, когда я лежал без сна. За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место „Молодежи“ „Хупера“ и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о „Прогрессивном движении Хупера“ и об „Общежитиях для Хупера“, о „Солидарности Хуперов во всем мире“ и о „Хупере и религии“. Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.

Если он в чем и изменился со дня выхода из офицерской школы, то разве только стал за эти месяцы еще меньше похож на бравого вояку. В то утро, сгибаясь под полной выкладкой, он показался мне вообще утратившим облик человеческий. По-танцорски шаркнув подошвой, он замер в стойке „смирно“ и растопырил у лба пятерню в шерстяной перчатке.

— Старшина, мне нужно поговорить с мистером

Хупером… Ну, где вас черти носят? Я же приказал вам провести осмотр личного состава.

— А что, я опоздал? Извините. Укладывался как проклятый.

— Для этого у вас есть денщик.

— Так-то оно так, строго говоря. Да ведь знаете, как получается. Ему свои вещи надо было укладывать. Если с этими людьми раз не поладишь, они потом в чем-нибудь да на тебе отыграются.

— Ну хорошо, ступайте теперь и проведите осмотр.

— Есть. Железно.

— И бога ради не говорите „железно“.

Извините. Я все стараюсь не забывать. Да из головы выскакивает.

Хупер отошел, и возвратился старшина.

— Батальонный идет сюда, сэр, — сообщил он мне.

Я зашагал навстречу.

На рыжей свиной щетине его усиков осели капельки тумана.

— Как у вас здесь? Все в порядке?

— Думаю, что в порядке, сэр.

— Думаете? Должны знать.

Его взгляд упал на разбитое окно.

— Внесено в опись поврежденного имущества?

— Нет еще, сэр.

— Нет еще? Интересно, когда бы вы собрались его внести, не попадись оно мне на глаза.

Он чувствовал себя со мной неловко и шумел главным образом из робости, но мне от этого он приятнее не стал.

Он повел меня на зады, где проволочное заграждение отделяло мою территорию от владений пулеметного взвода, лихо перепрыгнул через проволоку и направился к полузасыпанной канаве, некогда служившей на ферме межой. Здесь он принялся копаться офицерской тростью в земле, точно боров на огороде, и вскоре издал торжествующий возглас: ему удалось обнаружить свалку, столь милую аккуратной солдатской душе. В бурьяне валялись коробки из-под сигарет, старые консервные банки, швабра без палки, печная вьюшка, проржавленное ведро, носок, буханка хлеба.

— Вот взгляните-ка, — сказал командир батальона. — Хорошенькое впечатление это произведет на тех, кто разместится здесь после нас.

— Да, ужасное, — ответил я.

— Позор. Распорядитесь, чтобы все было сожжено, прежде чем покинете лагерь.

— Слушаюсь, сэр. Старшина, пошлите солдата к

пулеметчикам, пусть передаст капитану Брауну, что командир батальона приказал очистить эту канаву.

Как примет полковник мою отповедь, мне было неясно; ему самому, очевидно, тоже. С минуту он постоял в нерешительности, ковыряя тросточкой отбросы в канаве, затем повернулся на каблуках и ушел.

— Напрасно вы это, сэр, — сказал старшина, мой наставник и хранитель с первого дня, как я прибыл в роту. — Ей-богу, напрасно.

— Это не наша свалка.

— Так-то оно так, сэр, да ведь знаете, как получается. Если со старшим офицером раз не поладишь, он потом в чем-нибудь да на тебе отыграется.

Когда мы проходили маршем мимо сумасшедшего дома, три старика стояли за решеткой забора и бормотали что-то доброжелательное.

— Эгей, приятель, до скорой встречи!

— Ждите нас!

— Не скучайте, ребята, скоро увидимся! — кричали им солдаты.

Я шагал вместе с Хупером впереди головного взвода.

— Имеете представление, куда нас?

— Ни малейшего.

— Может, наконец, туда?

— Нет.

— Опять, значит, ложная тревога?

— Да.

— А все говорят, туда едем. Сам не знаю, что и подумать.

Глупо вроде как-то, вся эта муштра и волынка, если мы так никогда и не повоюем.

— Не волнуйтесь, время придет, на каждого с лихвой хватит.

— Да мне особенно-то много и не надо. Чтоб только можно было сказать, что был в деле.

На запасных путях нас дожидался состав из допотопных пассажирских вагонов; погрузкой распоряжался какой-то железнодорожный начальник; рабочая команда сносила последние вещмешки из грузовиков в багажные вагоны. Через полчаса мы были готовы и через час тронулись.

Трое моих взводных и я заняли отдельное купе. Они ели бутерброды и шоколад, курили, спали. Книги не нашлось ни у одного. Первые три или четыре часа они прочитывали названия городов, через которые мы проезжали, и высовывались из окна, когда поезд — что случалось довольно часто — останавливался в чистом поле. Потом и

этот интерес у них пропал. В полдень и второй раз, когда стемнело, давали чуть теплое какао, его разливали из бидонов нам в кружки большим черпаком. Эшелон медленно тащился южной магистралью по плоской, унылой местности.

Основным событием дня была „оперативка“ у батальонного командира. Приглашение мы получили через вестового и собрались у полковника в купе, где застали его самого и его адъютанта в касках и полной амуниции. Первыми его словами были:

— Здесь у нас оперативное совещание, и каждый обязан быть одет по всей форме. То обстоятельство, что в данный момент мы в поезде, значения не имеет. — Я подумал, что нас выгонят, но он обвел всех свирепым взглядом и заключил: — Прошу сесть.

— Лагерь оставлен в позорном состоянии. Повсюду, куда я ни заглядывал, обнаруживались доказательства дурного исполнения офицерами своего долга. Состояние, в каком оставляется лагерь, — это лучшая проверка деятельности ротных офицеров. Именно от этого зависит добрая слава батальона и его командира. И я, — действительно ли он сказал это или я просто передаю словами то возмущение, которое выражали его

голос и взгляд, наверное, он все-таки этого не сказал, — я не допущу, чтобы моя профессиональная репутация пострадала из-за расхлябанности отдельных временно служащих офицеров.

Мы держали на коленях блокноты, дожидаясь, когда надо будет записывать распоряжения. Более чуткий человек понял бы, что не сумел произвести желаемый эффект; а может быть, он это и понял, потому что заключил тоном обиженного учителя:

— Я прошу всего только добросовестного отношения. Затем, развернув свои заметки, стал читать:

— „Приказ.

Обстановка. В настоящее время батальон перебрасывается из пункта А в пункт В. Переброска производится по крупной железнодорожной магистрали, представляющей опасность в отношении воздушных бомбардировок и химических атак со стороны противника.

Задача. Моя задача — прибыть в пункт В.

Средства. Эшелон прибывает к месту назначения около 23 часов 15 минут“.

И так далее.

Самое неприятное содержалось в конце под рубрикой „Предписания“. Третьей роте пред-

писывалось по прибытии эшелона на место приступить двумя взводами к выгрузке батальонного имущества и переброске его на трех грузовиках, имеющих ожидать в пункте прибытия, в „район нового расположения части; работу производить до завершения; третьему взводу обеспечить охрану временного полевого склада, а также выставить часовых по периметру нового лагеря.

— Вопросы есть?

— Можно будет получить дополнительно какао для рабочей команды?

— Нет. Еще вопросы?

Когда я рассказал о полученных распоряжениях своему старшине, он вздохнул;

— Бедная третья рота, опять нам досталось.

И я услышал в этих словах укор за то, что настроил против себя батальонного командира.

Я сообщил новость взводным. Н-да, — растерялся Хупер. — Перед ребятами неловко. Они жутко разозлятся. Что это он, где грязная работа, так обязательно нас назначает?

— Вы пойдете в охрану.

— Так-то оно так. Да как я найду в темноте периметр? Наступил час затемнения, и вскоре нас опять побеспокоил вестовой, уныло проби-

равшийся вдоль вагонов с трещоткой в руке. „Deuxieme service!“[1], — сострил кто-то из сержантов пообтесаннее.

— Нас обрызгивают жидким горчичным газом, — объявил я. — Немедленно закрыть все окна.

Затем я сел и написал аккуратненький рапорт о том, что жертв нет и ничего из ротного имущества не заражено и что мною выделены люди для проведения перед выгрузкой из эшелона наружной дегазации вагона. Как видно, батальонного это удовлетворило, потому что больше он нас не дергал. Когда совсем стемнело, мы уснули.

Наконец, с большим опозданием, мы прибыли на наш разъезд. Ради соблюдения военной тайны и в целях лучшей боевой подготовки нам надлежало сторониться платформ и вокзалов. Прыжки в темноте с подножки вагона на шлаковую насыпь повлекли за собой неизбежные беспорядки и увечья.

— Построиться на дороге под откосом! Капитан Райдер, третья рота, как всегда, не торопится.

— Да, сэр, у нас там кое-какие сложности с известью.

---

[1] Примечания: 1

Вторая очередь! (франц.) — приглашение второй смены в вагон-ресторан.

— С известью?

— Для наружной дегазации вагонов, сэр.

— О, какая добросовестность. Можете этим ограничиться и приступайте к делу.

Мои хмурые полусонные солдаты, бренча снаряжением, строились на дороге. Скоро взвод Хупера ушел, маршируя, во тьму; я разыскал трехтонки, расставил солдат цепочкой по крутому откосу, чтобы передавать грузы из рук в руки; и вот уже, занятые какой-то осмысленной деятельностью, все приободрились. Первые полчаса я работал вместе с ними, потом вышел из цепочки, потому что появился мой помкомроты, выехавший к нам навстречу с первым разгруженным грузовиком.

— Лагерь недурен, — доложил он. — Большой барский дом, и даже пруды есть. Еще постреляем уток, если повезет. Рядом деревня с одним питейным заведением и почтой. Никаких городов на много миль вокруг. Я занял на нас двоих отдельный домик.

К четырем часам утра работа была кончена. Я ехал последним грузовиком по извилистой проселочной дороге, и свисающие ветви деревьев хлестали по ветровому стеклу; в каком-то месте мы свернули с дороги и поехали по подъ-

ездной аллее; потом в каком-то месте выехали на открытое пространство, где сходились две аллеи; здесь, в кольце зажженных керосиновых фонарей, грудой лежало наше снаряжение. Мы разгрузили последний грузовик и наконец-то под низким черным небом, из которого начал сеяться мелкий дождь, пошли за провожатыми на свои квартиры.

Я спал, пока денщик не разбудил меня, а тогда устало поднялся, молча побрился и, только уходя, обернулся с порога и спросил своего помкомроты;

— А как эта местность называется?

Он ответил; и в ту же секунду словно кто-то выключил радио и голос, бубнивший у меня над ухом беспрестанно, бессмысленно день за днем, вдруг пресекся; наступила великая тишина, сначала пустая, но постепенно, по мере того как возвращались ко мне потрясенные чувства, наполнившаяся сладостными, простыми, давно забытыми звуками, ибо он назвал имя, которое было мне хорошо знакомо, волшебное имя такой древней силы, что при одном только его звуке призраки всех этих последних тощих лет чредой понеслись прочь.

Я вышел и в смятении и трепете остановился

за порогом. Дождь кончился, облака низко и тяжело висели над головой. Было тихое утро, дым лагерной кухни столбом поднимался к свинцовому небу. По склону холма, скрываясь из глаз за поворотом, тянулась дорога, некогда засыпанная щебнем, затем заросшая травой, теперь же раскатанная и разбитая в жидкую грязь, а по обе стороны от нее стояло и лежало железо, и оттуда доносился, стук, и шум, и свист, и крики — все звуки зверинца, какие издает батальон, начиная новый день. А дальше вокруг нас еще более знакомый расстилался изумительный искусственный ландшафт. Мы находились в замкнутой, отгороженной от мира неширокой долине. Наш лагерь был разбит на одном ее отлогом склоне; еще не тронутый противоположный склон поднимался прямо перед нами к близкому дружественному горизонту, а между нами протекала речка — она называлась Брайд и брала начало всего в каких-нибудь двух милях отсюда, возле живописной фермы, носившей название Брайдспринг, куда мы нередко ходили пешком после обеда; ниже, перед тем как слиться с Эвоном, она становилась внушительной рекой, а здесь, перегороженная плотинами, разливалась, образуя три пруда, один — как мокрая сланцевая плитка в камышах, зато

два других широко и свободно вмещали в себя отражения облаков и могучих прибрежных буков. В лесу росли одни дубы и буки: дубы — черные, голые, буки — чуть припорошенные зеленью лопнувших почек; купы деревьев живописно и просто обступали то маленькую зеленую прогалину, то широкую зеленую поляну — паслись ли еще на них пятнистые олени? — а у воды, чтобы взгляд не блуждал бесцельно, был построен дорический храм и последний водослив венчала увитая плющом арка. Все это было распланировано, выстроено и посажено полтора столетия тому назад, чтобы примерно к нашему времени достигнуть расцвета.

С того места, где я стоял, дом был не виден за зеленым бугром, но я и без того знал, где и как он расположен, укрытый кронами лип, точно спящая лань папоротниками.

Подошел откуда-то взявшийся Хупер и откозырял мне на свой неподражаемый — хотя подражать пытались многие, — особый лад. Лицо его было серо после ночного бдения, и побриться он еще не успел.

— Нас сменила вторая рота. Я послал ребят привести себя в порядок.

— Хорошо.

— Дом вон там, за поворотом.

— Да, — ответил я.

— На будущей неделе в нем разместится штаб бригады. Ничего квартира. Просторная. Я только оттуда — осматривал, Очень живописно, я бы сказал. Интересно, там пристроена вроде католическая часовня, так в ней, когда я заглянул, по-моему, шла служба — один только падре и еще какой-то старикан. А я влез как дурак. Мне это ни с какого боку, скорее по вашей части.

Вероятно, ему показалось, что я не слушаю. И в последней попытке возбудить мой интерес он добавил:

— И еще там здоровенный фонтанище перед главным входом, — камни, камни и разное зверье высечено. Вы такого в жизни не видели.

— Видел, Хупер. Я бывал здесь раньше.

Эти слова отдались у меня в ушах, повторенные громким эхом в подземельях моей темницы,

— Ну, тогда вы сами все здесь знаете. Я пошел, надо привести себя в порядок.

Я бывал здесь раньше, я сам все здесь знал.

Книга первая
ET IN ARCADIA EGO [2]

[2] Примечания: 2
И я в Аркадии (лат). Родина Тристана из легенд о Тристане и Изольде.

Глава первая

Я бывал здесь раньше, сказал я; и я действительно уже бывал здесь; первый раз — с Себастьяном, больше двадцати лет назад, в безоблачный июньский день, когда канавы пенились цветущей таволгой и медуницей, а воздух был густо напоен ароматами лета; то был один из редких у нас роскошных летних дней, и, хотя после этого я приезжал сюда еще множество раз при самых различных обстоятельствах, о том, первом дне вспомнил я теперь, в мой последний приезд.

В тот день я тоже не подозревал, куда еду. Была Гребная неделя. Оксфорд — теперь похороненный в памяти и утраченный невозвратимо, как земля Лион, ибо с такой бедственной быстротой нахлынули перемены, — Оксфорд был еще в те времена городом старой гравюры. По его широким тихим улицам люди ходили, беседуя, как при Джоне Ньюмене; осенние туманы, серые весны и редкая прелесть ясных летних дней — подобных этому дню, когда каштаны в цвету и колокола звонко и чисто вызванивают над шпилями и куполами, — все мирно дышало там столетиями юности. Здесь, в этой монастырской тиши, особенно звонко раз-

давался наш веселый смех и далеко разносился над гудением жизни. И вот сюда, в строгий монашеский Оксфорд, на гребную неделю хлынула толпа представительниц женского пола числом в несколько сот человек, они щебетали и семенили по булыжнику мостовых и по ступеням старинных лестниц, осматривали красоты архитектуры и требовали развлечений, пили крюшон, ели сандвичи с огурцом, катались на лодках и стайками шли с берега на факультетские баржи и вызывали в „Изиде“ и Студенческом союзе взрывы неумеренного и неуместного опереточного веселья, а под церковными сводами — непривычное высокоголосое эхо. Эхо вторжения проникало во все закоулки, в моем же колледже было не эхо, а самый источник неприличия: мы давали бал. На внутреннем дворике, куда выходили мои окна, натянули тент и сколотили дощатый настил, вокруг привратницкой расставили горшки с пальмами и азалиями, да еще в довершение всего один преподаватель на втором этаже, мышеподобный человек, имевший отношение к естественному факультету, уступил свои комнаты под женскую гардеробную, о чем саженными буквами провозглашало возмутительное объявление, прибитое в нескольких дюймах от моего

порога. Больше всех негодовал по этому поводу мой университетский служитель.

— Джентльмены без дам в течение ближайших нескольких дней приглашаются по возможности принимать пищу на стороне, — сокрушенно объявил он. — Будете обедать дома?

— Нет, Лант.

— Это, они говорят, нужно, чтобы разгрузить служителей. И впрямь до зарезу необходимо. Мне, например, поручено купить подушечку для булавок в дамскую гардеробную. С чего это они затеяли танцы? Никак в толк не возьму. Раньше на Гребную неделю никогда не было никаких танцев. На Память основателей — другое дело, потому на каникулы приходится, но на Гребную — никогда. Как будто мало им чая и катания на реке. Если спросите меня, сэр, так это все из-за войны. Ничего бы такого не случилось, когда б не война. — Был 1923 год, и для Ланта, как и для тысяч других, после четырнадцатого года все безнадежно изменилось к худшему. — Ежели примерно вино к ужину, — продолжал он, по своей всегдашней привычке то появляясь в дверях, то вновь выходя из комнаты, — или там два-три джентльмена в гости к обеду, это уж как положено. Но не танцы. Это все завелось, как

джентльмены вернулись с войны. Возраст их уже вышел, а они не разбираются, что да как, и учиться не хотят. Истинная правда. Есть такие, что ходят на танцы с городскими в Масонский дом, ну, до этих прокторы скоро доберутся, помяните мое слово… А вот и лорд Себастьян, сэр. Ну, мне недосуг тут стоять и разговаривать, надо идти за подушечками для булавок.

Вошел Себастьян — серебристо-серая фланель, белый крепдешин, яркий галстук — мой, между прочим, — с узором из почтовых марок.

— Чарльз, что это, скажите на милость, происходит у вас в колледже? Цирк? Я видел все, кроме слонов. Признаюсь, весь Оксфорд вдруг весьма неприятно преобразился. Вчера вечером он кишмя кишел Женщинами. Идемте немедленно, я должен вас спасти. У меня есть автомобиль, корзинка земляники и бутылка „Шато-Перигей“, которого вы никогда не пробовали, потому не притворяйтесь. С земляникой оно восхитительно.

— Куда мы едем?

— Навестить одного человека.

— По имени?

— Хокинс. Захватите денег, на случай если нам вздумается что-нибудь купить. Автомобиль при-

надлежит некоему лицу по фамилии Хардкасл. Вернете ему обломки, если я разобьюсь и погибну — я не очень-то умею водить машины.

За оранжереей, в которую обращена была наша привратницкая, по выходе из ворот нас ждал открытый двухместный „моррис-каули“. За рулем сидел Себастьянов плюшевый медведь. Мы посадили его посередине: „Позаботьтесь, чтобы его не укачало“, — и тронулись в путь. Колокола Святой Марии вызванивали девять; мы удачно избегли столкновения со священником при черной шляпе и белой бороде, задумчиво катившим на велосипеде прямо нам навстречу по правой стороне улицы, пересекли Карфакс, миновали вокзал и вскоре уже ехали по дороге на Ботли среди полей и лугов; в те дни поля и луга начинались совсем близко.

— Не правда ли, как еще рано! — сказал Себастьян. — Женщины еще заняты тем, что там они с собой делают, прежде чем спуститься к завтраку. Лень их сгубила. Мы успели удрать. Да здравствует Хардкасл!

— Кто бы он ни был.

— Он думал, что едет с нами. Лень и его сгубила. Я ему ясно сказал: в десять. Это один очень мрачный человек из нашего колледжа. Он жи-

вет двойной жизнью. По крайней мере так я предполагаю. Нельзя же всегда, днем и ночью, оставаться Хардкаслом, верно? Он бы давно умер. Он говорит, что знает моего отца, а этого не может быть.

— Почему?

— Папу никто не знает. Он отверженный. Разве вы не слышали?

— Как жаль, что ни вы, ни я не умеем петь, — сказал я. В Суиндоне мы свернули с шоссе и некоторое время ехали между коттеджами из тесаного камня, стоявшими за низкими оградами из светлого песчаника. Солнце поднималось все выше. Часов в одиннадцать Себастьян неожиданно съехал с дороги на какую-то тропу и затормозил. Уже припекало настолько, что самое время было укрыться в тени. На ощипанном овцами пригорке под сенью раскидистых вязов мы съели землянику и выпили вино — которое, как и сулил Себастьян, с земляникой оказалось восхитительным, — раскурили толстые турецкие сигареты и лежали навзничь — Себастьян глядя вверх в густую листву, а я вбок, на его профиль, между тем как голубовато-серый дым подымался над нами, не колеблемый ни единым дуновением, и терялся в голубовато-зеленой тени древесной

кроны и сладкий аромат табака смешивался ароматами лета, а пары душистого золотого вина словно приподнимали нас на палец над землей, и мы парили в воздухе, не касаясь травы.

— Самое подходящее место, чтобы зарыть горшок золотых монет, — сказал Себастьян. — Хорошо бы всюду, где был счастлив, зарывать в землю что-нибудь ценное, а потом в старости, когда станешь безобразным и жалким, возвращаться, откапывать и вспоминать.

Я был студентом уже третий семестр, но свою жизнь в Оксфорде я датирую со времени моего знакомства с Себастьяном, происшедшего случайно в середине предыдущего семестра. Мы числились в разных колледжах и были выпускниками разных школ. Я вполне мог провести в университете все три или четыре года и никогда с ним не встретиться, если бы не случайное стечение обстоятельств: однажды вечером он сильно напился в моем колледже, а я жил на первом этаже, и мои окна выходили на внутренний дворик.

Об опасностях этого жилища меня специально предупреждал мой кузен Джаспер; когда я обосновался в Оксфорде, он один — из всех наших родственников счел меня достойным объектом для своего руководства. Отец никаких советов

мне не давал. Он, как всегда, уклонился от серьезного разговора. Единственный раз он завел речь на эту тему, когда до моего отъезда в университет оставалось каких-нибудь две недели, заметив как бы вскользь и не без ехидства;

— Я говорил о тебе. Встретил в „Атенеуме“ твоего будущего ректора. Мне хотелось говорить об идее бессмертия у этрусков, а ему — о популярных лекциях для рабочих, вот мы и пошли на компромисс и разговаривали о тебе. Я спросил его, какое содержание тебе назначить. Он ответил: „Три сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство“. Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и, насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого значения для популярности и веса в обществе. У меня была сначала мысль определить тебе шестьсот фунтов, — сказал мой отец, слегка посапывая, как он делал всегда, когда что-то казалось ему забавным, — но я подумал, что, если ректор случайно об этом узнает, он может усмотреть здесь нарочитую невежливость. Поэтому даю тебе пятьсот пятьдесят.

Я поблагодарил его.

— Да-да, конечно, я тебя слишком балую, но это все деньги из капитала, так что… А теперь я, видимо, должен дать тебе наставления. Мне самому никто наставлений не давал, не считая твоего дяди Элфрида. Вообрази себе, летом перед моим поступлением в университет твой дядя Элфрид специально приехал в Боутон, чтобы дать мне совет. И знаешь, что это был за совет? „Нед, — сказал он мне, — об одном я тебя настоятельно прошу. Всегда носи по воскресеньям цилиндр. Именно по цилиндру судят о человеке“. И ты знаешь, — продолжал мой отец, все явственнее сопя носом, — я так и делал. Одни носили цилиндры, другие нет. И я никогда не замечал, чтобы между теми и этими существовала разница. Но сам я всегда носил по воскресеньям цилиндр. Это показывает, какую пользу может принести разумный совет, умело и вовремя преподанный. Хотелось бы и мне дать тебе столь же полезный совет, но мне тебе нечего посоветовать.

Зато кузен Джаспер восполнил этот пробел с лихвой; он был сыном старшего брата моего отца, которого отец нередко называл — наполовину в шутку, наполовину всерьез — „главой рода“; Джаспер учился в Оксфорде четвертый год и в прошлом семестре едва не сподобился быть

включенным в университетскую восьмерку. Он был секретарем клуба „Кеннинг“ и председателем ораторского кружка — фигура в колледже довольно значительная. В первую же неделю моего пребывания в Оксфорде он нанес мне официальный визит и остался к чаю. Воздав должное медовым плюшкам, гренкам с анчоусами и щедро отведав орехового торта от Фуллера, он закурил трубку и, откинувшись в соломенном кресле, стал излагать правила поведения, кажется, на все случаи жизни; я и сегодня могу повторить слово в слово едва ли не все его наставления.

— …Ты на историческом? Вполне солидный факультет. Самый трудный экзамен — английская литература, за ней идет современная филология. Сдавать надо на высший балл или на низший. Все, что в промежутке, не стоит труда. Время, потраченное на получение заслуженной двойки, потрачено впустую. Ходить надо на самые лучшие лекции, например на аркрайтовский курс по Демосфену, независимо от того, на каком факультете они читаются… Теперь платье. Одевайся, как в загородном доме. Никогда не носи твидовый пиджак с фланелевыми брюками, а только костюмы. И шей у лондонского портного — там и крой лучше, и кредит долгосрочнее… Клубы.

Поступить теперь в „Карлтон“, а в начале второго курса — в „Грид“. Если захочешь выдвинуть свою кандидатуру в Союз — затея вовсе не бессмысленная, — составь себе сначала репутацию в „Чэтеме“ или, скажем, в „Кеннинге“ и начни с выступлений по поводу газеты… Кабаний холм[3] обходи стороной… — Небо над крутоверхими крышами напротив моих окон зарделось, потом погасло; я подсыпал угля в камин, зажег лампу, осветив во всей красе его безупречные брюки гольф от лондонского портного и леандровский галстук… — Не обращайся с ассистентами, как с учителями, держись с ними, как дома с приходским священником… На втором курсе тебе придется употребить львиную долю своего времени на то, чтобы избавиться от нежелательных знакомств, которые приобрел на первом… Остерегайся англокатоликов, они все содомиты и говорят с неприятным акцентом. Вообще держись в стороне от всяких религиозных групп: от них один вред.

В заключение, уже прощаясь, он сказал:

— И последнее. Смени комнаты. — Это были просторные комнаты с глубокими нишами окон

---

[3] Примечания: 3

Район Оксфорда, где группировались женские колледжи.

и крашеными деревянными панелями XVIII века; редко кому из первокурсников доставались такие. — Мне известно немало случаев, когда человек погибал оттого, что занимал комнаты в нижнем этаже окнами на внутренний дворик, — продолжал мой кузен в тоне сурового предостережения. — Сюда станут заходить люди. Оставлять свои мантии, потом брать их по дороге в столовую; ты начнешь угощать их хересом. И так, не успеешь оглянуться, а у тебя уже не квартира, а бесплатный бар для всех нежелательных лиц из твоего колледжа.

Ни одному из этих советов я, по-моему, не последовал. Комнаты я, во всяком случае, не сменил; там под окнами цвели белые левкои, даря мне летними ночами свой восхитительный аромат.

Задним числом несложно приписать себе в юности разум не по годам и неиспорченность вкусов, которой не было; несложно подтасовать даты, прослеживая свой рост по отметкам на дверном косяке. Мне приятно думать — и я иногда в самом деле думаю, — будто я украсил тогда свои комнаты гравюрами Морриса и слепками из Арунделевской коллекции и будто книжные полки у меня были уставлены фолиантами XVII века и французскими романами времен Второй

империи, в переплетах из сафьяна и муарового шелка. Но это было не так. В первый же день я гордо повесил над камином репродукцию ванговских „Подсолнечников“ и поставил экран с провансальским пейзажем Роджера Фрая, который я купил по дешевке на распродаже в мастерских „Омеги“. Еще у меня висела афиша работы Мак-Найта Кауффера и гравированные листы со стихами из книжного магазина „Поэзия“, но хуже всего была фарфоровая статуэтка Полли Пичем, стоявшая на камине между двумя черными подсвечниками. Книги мои были немногочисленны и неоригинальны: „Вид и план“ Роджера Фрая, иллюстрированное издание „Шропширского парня“, „Выдающиеся викторианцы“, несколько томиков „Поэзии георгианской эпохи“, „Унылая улица“ и „Южный ветер“; и мои первые знакомые вполне соответствовали такой обстановке. Это были: Коллинз, выпускник Винчестера и будущий университетский преподаватель, обладавший изрядной начитанностью и младенческим чувством юмора; и небольшой кружок факультетских интеллектуалов, державшихся среднего курса между ослепительными „эстетами“ и усердными „пролетариями“, которые самозабвенно и кропотливо овладевали

фактами, засев у себя в меблированных комнатах на Иффли-роуд и Веллингтон-сквер. В этот кружок был я принят с первых дней, и здесь нашел ту же компанию, к какой привык в школе, к какой школа меня заранее подготовила; но уже в первые дни, когда самая жизнь в Оксфорде и собственная квартира и собственная чековая книжка были источником радости, я в глубине души чувствовал, что это еще не все, что этим не исчерпываются прелести оксфордской жизни.

При появлении Себастьяна серые фигуры моих университетских знакомых отошли на задний план и затерялись в окружающем ландшафте, словно овцы в туманном вереске взгорий. Коллинз опровергал передо мной положения новой эстетики:

— Идею „значимой формы“ следует либо принять, либо отвергнуть in toto[4]. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля…

Но истина открылась мне только в тот день, когда Себастьян, листая от нечего делать „Искусство“ Клайва Белла, прочел вслух: „Разве кто-ни-

---

[4] Примечания: 4
В целом (лат.)

будь испытывает при виде цветка или бабочки те же чувства, что и при виде собора или картины?“ — и сам ответил: „Разумеется. Я испытываю“.

Я знал Себастьяна в лицо задолго до того, как мы познакомились. Это было неизбежно, так как с первого дня он сделался самым заметным студентом на курсе благодаря своей красоте, которая привлекала внимание, и своим чудачествам, которые, казалось, не знали границ. Впервые я увидел его, столкнувшись с ним на пороге парикмахерской Джермера, и был потрясен не столько его внешностью, сколько тем обстоятельством, что он держал в руках большого плюшевого медведя.

— Это был лорд Себастьян Флайт, — объяснил мне брадобрей, когда я уселся в кресло. — Весьма занятный молодой джентльмен.

— Несомненно, — холодно согласился я.

— Второй сын маркиза Марчмейна. Его брат, граф Брайдсхед, окончил курс в прошлом семестре. Вот он был совсем другой, на редкость тихий, уравновешенный джентльмен, просто как старичок. Знаете, зачем лорд Себастьян приходил? Ему нужна была щетка для его плюшевого мишки, непременно с очень жесткой щетиной, но, сказал лорд Себастьян, не для того, чтобы его

причесывать, а чтобы грозить ему, когда он раскапризничается. Он купил очень хорошую щетку из слоновой кости и отдал выгравировать на ней „Алоизиус“ — так зовут медведя.

Этот человек, которому за столько лет вполне могли бы уже прискучить студенческие фантазии, был явно пленен. Я, однако, отнесся к молодому лорду неодобрительно и в дальнейшем, видя его мельком на извозчике или за столиком у „Джорджа“, обедающим в накладных бакенбардах, не изменил своего отношения, хотя Коллинз, штудировавший в это время Фрейда, объяснил мне все в самых научных терминах.

Да и обстоятельства нашего знакомства, когда оно наконец состоялось, были не слишком благоприятны. Дело было в начале марта, незадолго до полуночи; я угощал у себя факультетских интеллектуалов разогретым вином с пряностями; комната была жарко натоплена, в воздухе густо стоял табачный дым и запах специй, и голова моя шла кругом от умных разговоров. Я распахнул окно, и с университетского дворика ко мне донесся довольно обычный здесь пьяный смех и нетвердый звук шагов.

— Постойте-ка, — проговорил один голос. Другой буркнул: — Ладно, идемте.

— Полно времени… — не очень внятно возразил третий. — Пока Том не пробьет последний раз…[5]

И тут еще один голос, более звонкий и чистый, чем остальные, произнес:

— Знаете, я ощущаю совершенно непонятную дурноту. Простите, принужден покинуть вас на минуту.

Через мгновенье в моем окне появилось лицо, в котором я узнал лицо Себастьяна, но не такое, каким я видел его раньше, оживленное и светлое; он мгновение смотрел на меня невидящими глазами, затем перегнулся через подоконник поглубже в комнату, и его стошнило.

Подобные завершения дружеских ужинов не были у нас в диковину; на такие случаи существовал даже определенный тариф вознаграждения служителей; мы все методом проб и ошибок учились пить и знать меру. И была какая-то трогательная чистоплотность наизнанку в том, как Себастьян в своей крайности поспешил к открытому окну. Но все-таки, что там ни говори, знакомство было не из приятных.

Товарищи выволокли его из ворот, и через

---

[5] Примечания: 5

Часы на оксфордской колокольне Большой Том бьют в полночь 101 раз.

несколько минут студент, задававший пирушку, приветливый итонец с моего курса, вернулся, чтобы принести извинения. Он тоже был сильно пьян, и речи его носили характер повторяющийся, а под конец еще и слезливый.

— Беда в том, что вина были слишком разные, — объяснял он — ни количество, ни качество тут ни при чем. Все дело в смеси. Уразумейте это, и вы постигнете корень зла. Понять — значит простить.

— Да-да, — ответил я, однако на следующее утро, выслушивая упреки Ланта, все еще испытывал досаду.

— Кувшин-другой подогретого вина на пятерых, — ворчал Лант, — и вот, пожалуйста. Не успели даже до окна добежать. Кто не умеет пить, пусть не берется, я так считаю.

— Это не мы, Лант. Это один человек не из нашего колледжа.

— Мне от этого не легче вывозить всю эту мерзость.

— Там для вас пять шиллингов на буфете.

— Видел и благодарю, но по мне лучше уж не надо денег и чтоб не было этого безобразия.

Я надел университетскую мантию и оставил его в одиночестве делать свое дело. В те дни я еще

посещал лекции и домой вернулся незадолго до полудня. Моя гостиная была завалена цветами, во всех углах, на всех столах, полках и подоконниках, во всех мыслимых сосудах стояло столько цветов, что казалось — и в действительности так и было, — сюда перекочевало содержимое целого цветочного магазина. Когда я вошел, Лант как раз заворачивал в бумагу последний букет, который собирался унести с собой.

— Что это все означает, Лант?

— Вчерашний джентльмен, сэр. Он оставил вам записку. Записка была написана цветным карандашом поперек целого листа моего лучшего ватмана: „Я жестоко раскаиваюсь. Алоизиус не хочет со мной разговаривать, пока не убедится, что я прощен, поэтому, пожалуйста, приходите ко мне сегодня обедать. Себастьян Флайт“. Как это на него похоже, подумал я, считать, что я знаю, где он живет; впрочем, я и в самом деле знал.

— Занятный молодой джентльмен, и убирать за ним одно удовольствие. Я так понимаю, вас сегодня к обеду дома не будет, сэр? Я предупредил мистера Коллинза и мистера Партриджа — они хотели прийти сегодня к нам обедать.

— Да, Лант, сегодня я к обеду не буду.

Этот званый обед — ибо там оказалось еще

несколько гостей — знаменовал начало новой эры в моей жизни. Но подробности его стерлись в моей памяти, на него наслоились воспоминания о многих ему подобных, которые следовали друг за другом весь этот и следующий семестры, точно хоровод купидончиков на ренессансном фризе.

Я шел туда не без колебания, ибо то была чужая территория, и какой-то вздорный внутренний голос предостерегающе нашептывал мне на ухо с характерной интонацией Коллинза, что достойней было бы воздержаться. Но я в ту пору искал любви, и я пошел, охваченный любопытством и смутным, неосознанным предчувствием, что здесь наконец я найду ту низенькую дверь в стене, которую, как я знал, и до меня уже находили другие и которая вела в таинственный, очарованный сад, куда не выходят ничьи окна, хоть он и расположен в самом сердце этого серого города.

Себастьян жил в колледже Христовой церкви, на верхнем этаже Медоу-Билдингс. Я застал его одного, он стоял и обколупывал бекасиное яйцо, которое вынул из большого, выложенного мохом гнезда, украшавшего середину стола.

— Я их пересчитал, — объяснил он, — и вышло по пять на каждого и два лишние. Эти два я взял

себе. Умираю с голоду. Я безоговорочно отдался в руки господ Долбера и Гудолла и теперь чувствую себя так упоительно, словно все вчерашнее было лишь сном. Умоляю, не будите меня.

Он был волшебно красив той бесполой красотой, которая в ранней юности, словно звонкая песня, зовет к себе любовь, но вянет при первом же дыхании холодного ветра.

В его гостиной были собраны самые неуместные предметы — фисгармония в готическом ящике, корзина для бумаг в виде слоновьей ноги, груда восковых плодов, две несуразно огромные севрские вазы, рисунки Домье в рамках, — и все это выглядело особенно странно рядом с простой университетской мебелью и большим обеденным столом. На камине толстым слоем лежали пригласительные карточки от хозяек лондонских салонов.

— Этот злодей Хобсон запер Алоизиуса в спальне, — сказал он. — Впрочем, наверное, и к лучшему, потому что бекасиных яиц на него не хватит. Знаете, Хобсон питает вражду к Алоизиусу. Я вам завидую — у вас прекрасный служитель. Сегодня утром он был со мною очень добр, когда другие могли бы выказать строгость.

Собрались гости. Это были три итонских вы-

пускника, ныне первокурсники, элегантные, слегка рассеянные, томные юноши; накануне они все вместе побывали на каком-то балу в Лондоне и сегодня говорили о нем, словно о похоронах близкого, но нелюбимого родственника. Каждый, входя, прежде всего бросался к бекасиным яйцам, потом замечал Себастьяна и наконец меня — со светским отсутствием какого-либо интереса, словно говоря: „У нас и в мыслях нет оскорбить вас хотя бы намеком на то, что вы с нами незнакомы“.

— Первые в этом году, — говорили они. — Где вы их достаете?

— Мама присылает из Брайдсхеда. Они для нее всегда рано несутся.

Когда с яйцами было покончено и мы приступили к ракам под ньюбургским соусом, появился последний гость.

— Мой милый, — протянул он. — Я не мог вырваться раньше. Я обедал со своим н-н-немыслимым н-н-наста-вником. Он нашел весьма странным, что я ухожу. Я сказал, что должен переодеться перед ф-ф-футболом.

Он был высок, тонок, довольно смугл, с огромными влажными глазами. Мы все носили грубошерстные костюмы и башмаки на толстой

подошве. На нем был облегающий шоколадный в яркую белую полоску пиджак, замшевые туфли, большой галстук-бабочка, и, входя, он стягивал ярко-желтые замшевые перчатки; полугалл, полуянки, еще, быть может, полуеврей; личность полностью экзотическая.

Это был — мне не нужно было его представлять — Антони Бланш, главный оксфордский эстет, притча во языцех от Чаруэлла до Сомервилла. Мне много раз на улице показывали его, когда он вышагивал своей павлиньей поступью; мне приходилось слышать у „Джорджа“ его голос, бросающий вызов условностям, и теперь, встретив его в очарованном кругу Себастьяна, я с жадностью поглощал его, точно вкусное, изысканное блюдо.

После обеда он вышел на балкон и над толпой студентов в свитерах и теплых кашне, спешащих мимо на реку, в рупор, странным образом оказавшийся среди безделушек Себастьяна, завывающим голосом декламировал отрывки из „Бесплодной земли“[6].

— А я, Тиресий, знаю наперед, — рыдал он над ними из-под сводов венецианской галереи, —

---

[6] Примечания: 6

Поэма Т. С Элиота (1888–1965) — американского и английского поэта Перевод А. Сергеева.

Все, что бывает при таком визите,
Я у фиванских восседал ворот
И брел среди отверженных в Аиде.

И тут же, возвратясь в комнату, весело:

— Как я их удивил! Для меня каждый гребец — это еще одна доблестная Грейс Дарлинг[7].

Мы еще долго сидели за столом, попивая восхитительный куантро, и самый, томный и рассеянный из итонцев распевал:

„И павшего воина к ней принесли…“, аккомпанируя себе на фисгармонии.

Разошлись мы в пятом часу.

Первым поднялся Антони Бланш. Он галантно и сердечно простился с каждым по очереди. Себастьяну он сказал:

— М-мой милый, я хотел бы утыкать вас стрелами, как подушечку для булавок. А меня заверил:

— Это просто изумительно, что Себастьян вас откопал. Где вы таитесь? Вот я доберусь до вашей норы и выкурю вас оттуда, как с-с-старого г-г-горностая.

Вскоре после него ушли и остальные. Я хотел было раскланяться вместе с ними, но Себастьян

---

[7] Примечания: 7

Английская девушка, дочь смотрителя маяка, спасшая в 1837 году вдвоем с отцом экипаж тонувшего в скалах судна.

сказал:

— Выпьем еще немного куантро. — И я остался. Позже он объявил:

— Я должен идти в Ботанический сад.

— Зачем?

— Посмотреть плющ.

Дело показалось мне достаточно важным, и я пошел вместе с ним. Под стенами Мертона он взял меня под руку.

— Я ни разу не был в Ботаническом саду, — признался я.

— О, Чарльз, сколько вам еще предстоит увидеть! Там красивая арка и так много разных сортов плюща, я даже не подозревал, что их столько существует. Не знаю, что бы я делал без Ботанического сада.

Когда я в конце концов очутился опять у себя и нашел свою квартиру точно такой же, какой оставил ее утром, я ощутил в ней странную безжизненность, которой не замечал прежде. В чем дело? Все, кроме желтых нарциссов, казалось ненастоящим. Может быть, причина в экране? Я повернул его к стене. Стало немного лучше.

Это был конец экрана. Лант всегда его недолюбливал и через день или два отнес в какую-то таинственную каморку под лестницей, где у него

хранились тряпки и ведра.

Тот день положил начало моей дружбе с Себастьяном — вот как получилось, что роскошным июньским утром я лежал рядом с ним в тени высоких вязов и провожал взглядом облачко дыма, срывающееся с его губ и тающее вверху среди ветвей.

Потом мы поехали дальше и через час проголодались. Мы остановились в деревенской гостинице, которая была также фермерским домом, и позавтракали яичницей с ветчиной, солеными орехами и сыром и выпили пива в затененной комнате, где в полумраке тикали старинные часы, а в нерастопленном очаге спала кошка.

Поев, мы продолжили путь и задолго до вечера прибыли к месту нашего назначения: витая чугунная решетка ворот на краю деревенской улицы, две классически одинаковые башенки, аллея, еще одни ворота, просторный парк, поворот на подъездную аллею — и вдруг перед нами развернулся совершенно новый, скрытый от посторонних взглядов ландшафт. Отсюда начиналась восхитительная зеленая долина, и в глубине ее, в полумиле от нас, залитые предвечерним солнцем, серо-золотые в зеленой сени, сияли

колонны и купола старинного загородного дома.

— Ну? — спросил Себастьян, остановив автомобиль. Еще дальше, позади дома, виднелись нисходящие ступени водной глади, и со всех сторон, охраняя и пряча, его обступали плавные холмы. — Ну как?

— Вот бы где жить! — вырвалось у меня.

— Вам надо посмотреть цветники у фасада и фонтан. — Он наклонился и включил скорость. — Здесь живет наша семья.

Даже тогда, захваченный чудесным зрелищем, я ощутил на мгновение, словно ветер шелохнул тяжелые занавеси, зловещий холодок от этих его слов: не „это мой дом“, а „здесь живет наша семья“.

— Не беспокойтесь, — продолжал он, — их никого нет. Вам не придется с ними знакомиться.

— Но мне бы этого хотелось.

— Ну, как бы то ни было, их все равно нет. Они в Лондоне. — Мы объехали дом и очутились в боковом дворике. — Все заперто, войдем отсюда. — Мы поднялись по каменным ступеням заднего крыльца и прошли под крепостными сводами коридоров людской части дома. — Я хочу познакомить вас с няней Хокинс. Мы для этого и приехали. — И мы пошли вверх по тщательно

вымытой деревянной лестнице, потом по каким-то коридорам, вдоль которых строго посредине тянулась узкая шерстяная дорожка, и по другим коридорам, застланным линолеумом, минуя несколько лестничных клеток поменьше и ряды желто-красных пожарных ведер, поднялись еще по одной лестнице, запирающейся вверху решетчатыми створками, и очутились наконец в детской, расположенной под самой крышей, в центре главного здания.

Няня Себастьяна сидела у раскрытого окна; перед нею был фонтан, пруды, беседка и, перечеркнув дальний склон, сверкал обелиск; разжатые руки ее покоились на коленях, между ладонями лежали четки; она спала. Утомительная работа в молодости, непререкаемый авторитет в зрелые годы, покой и довольство в старости — все запечатлелось на ее морщинистом безмятежном лице.

— Вот так сюрприз, — сказала она, просыпаясь. Себастьян поцеловал ее.

— А это кто? — спросила она, глядя на меня. — Что-то я его не помню.

Себастьян представил нас друг другу.

— Вот кстати приехали. Как раз Джулия здесь. В городе у них столько хлопот! А без них здесь скуч-

но. Одна только миссис Чэндлер да две девушки и старый Берт. А потом они уезжают на курорт, да еще в августе здесь котел менять будут, вы собираетесь в Италию к его светлости, остальные по гостям, глядишь, раньше октября здесь никого и не жди. Да ведь должна же и Джулия получить все удовольствия, что и остальные барышни, хотя зачем это придумали уезжать в Лондон в самую летнюю пору, когда сады в цвету, никогда не могла понять. Прошлый вторник был здесь отец Фиппс, я так ему прямо и сказала, — заключила она, словно тем самым ее суждение оказалось освящено его авторитетом.

— Ты говоришь, Джулия здесь?

— Да, голубчик, вы, верно, с ней разминулись. Она у Консервативных женщин. Должна была с ними заняться ее светлость, но ей что-то неможется. Джулия долго там не пробудет, только произнесет приветствие и уедет, еще до чая.

— Боюсь, мы с ней опять разминемся.

— А вы покуда еще не уезжайте, голубчик, то-то она удивится, когда вас увидит, хотя к чаю ей все-таки лучше бы остаться, я ей так и сказала, ведь Консервативные женщины ради этого и собираются. Ну а какие у вас новости? Прилежно ли вы занимаетесь?

— Боюсь, что не очень, няня.

— Ну конечно, целые дни играете в крикет, как ваш брат. Но он все же выбирал и для занятий время. С самого Рождества его здесь не было, теперь, надо полагать, скоро приедет на аграрную выставку. Видели вы, что в газетах про Джулию напечатано? Это она сама мне привезла. Конечно, она-то и не того еще заслуживает, но написано очень даже хорошо: „Прелестная дочь, которую леди Марчмейн вывозит в этом сезоне… столь же остроумна, сколь и хороша собой… пользуется самым большим успехом“. Ну что ж, все это чистая правда, хотя ужасно жаль, что она отрезала волосы; такие были чудесные волосы, совсем как у ее светлости. Я сказала отцу Фиппсу, что, по-моему, это противоестественно. А он говорит „Монахини стригутся“. А я говорю: „Надеюсь, вы не хотите сделать монахиню из нашей леди Джулии? Подумать только!“

Они с Себастьяном продолжали разговор. Уютная комната имела необычную форму, отвечающую изгибам центрального купола. Узор на обоях состоял из лент и роз. В углу дремала лошадка-качалка, над камином висела олеография Иисусова сердца, пустой очаг скрывали связки сухого камыша, а на комоде была аккуратно раз-

ложена целая коллекция подарков, привезенных няне в разное время ее детьми: раковины и куски лавы, тисненая кожа, крашеное дерево, фарфор, мореный дуб, кованое серебро, синий флюорит, алебастр, кораллы — сувениры многочисленных каникулярных поездок.

Спустя какое-то время няня сказала:

— Позвоните, голубчик, мы выпьем вместе чаю. Обычно я спускаюсь к миссис Чэндлер, но сегодня мы будем пить чай здесь. Моя прежняя девушка уехала в Лондон вместе со всеми. А новая только что из деревни. Ничего не знала и не умела поначалу, но делает успехи. Позвоните.

Но Себастьян сказал, что нам пора уезжать.

— А как же мисс Джулия? Она, когда узнает, ужасно расстроится. Вот бы для нее был сюрприз!

— Бедная няня, — сказал Себастьян, когда мы вышли. — Ей очень скучно живется. Я всерьез подумываю взять ее жить к себе в Оксфорд, только она все время будет требовать, чтобы я ходил в церковь. Нам надо торопиться, пока не возвратилась моя сестра.

— Кого вы стыдитесь, ее или меня?

— Самого себя, — серьезно ответил Себастьян. — Я не хочу, чтобы вы знакомились с моими родны-

ми. Они все такие немыслимо обаятельные. Всю мою жизнь они у меня все отбирали. Из-за этого их обаяния. Стоит только вам попасть к ним в лапы, и они сделают вас своим другом, а не моим. А я этого не хочу.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я удовлетворен. Но может быть, мне будет позволено осмотреть дом?

— Я же сказал, все заперто. Мы приехали навестить няню. В тезоименитство королевы Александры доступ открыт, цена один шиллинг. Ну ладно, пойдемте, если вам так хочется.

Через обитую сукном дверь он провел меня по темному коридору с лепным сводчатым потолком и золотым карнизом, почти неразличимым во мраке; затем, распахнув тяжелые резные двери красного дерева, ввел меня в высокий полутемный зал. Свет просачивался только сквозь щели ставен. Одну из них Себастьян, подняв щеколду, отодвинул, и мягкий предвечерний свет хлынул внутрь, заливая голый пол, два одинаковых мраморных скульптурных камина, высокий купол потолка, покрытый фресками, изображающими античных богов и героев, зеркала в золотых фигурных рамах, пилястры из искусственного мрамора и островки зачехленной мебели. Это

был не более как мимолетный взгляд, какой удается иногда бросить из проезжающего автобуса в окно освещенного бального зала, — в следующее мгновение Себастьян закрыл ставню.

— Ну вот, — сказал он. — В таком роде.

У него заметно испортилось настроение с тех пор, как мы пили вино под нашими вязами, а потом резко свернули по аллее, и он спросил: „Ну как?“

— Сами видите, смотреть совершенно нечего. Когда-нибудь я покажу вам две-три хорошенькие вещички. Но только не сейчас. Впрочем, есть еще часовня — надо вам на нее взглянуть. Она в стиле модерн.

Последний архитектор, приложивший руку к Брайдсхеду, построил колоннаду и два боковых флигеля. Один из них и был часовней. Мы вошли в нее через публичный притвор, другая дверь вела прямо в дом; Себастьян окунул концы пальцев в чашу со святой водой, перекрестился и встал на колени; я последовал его примеру.

— Зачем вы это сделали? — раздраженно спросил он:

— Из вежливости.

— Если ради меня, то совершенно напрасно. Вы хотели смотреть, вот и смотрите.

Весь старый интерьер был распотрошен и наново декорирован в духе последнего десятилетия девятнадцатого века. Ангелы в длинных цветастых мантиях, вьющиеся розы, усеянные цветами луга, резвящиеся ягнята, библейские тексты, выведенные кельтской вязью, святые в рыцарских латах покрывали стены замысловатыми узорами ярких холодных тонов. У стены стоял резной триптих из светлого дуба, которому нарочно был придан вид лепнины. Светильник в алтаре и все металлические детали были из бронзы, покрытой ручной чеканкой так густо, что ее поверхность напоминала старую сморщенную кожу; на ступенях алтаря лежал ковер цвета луговой травы с белыми и золотыми ромашками.

— Ух ты! — сказал я.

— Это папин свадебный подарок маме. А теперь, если вы насмотрелись, идемте.

По аллее навстречу нам проехал закрытый „роллс-ройс“, за рулем сидел шофер в ливрее, а сзади мелькнула девическая фигурка, и кто-то посмотрел через окно автомобиля нам вслед.

— Джулия, — сказал Себастьян. — Чуть было не попались.

Потом мы остановились поболтать с каким-то велосипедистом („Это старина Бэт“, — объяснил

Себастьян), а затем выехали из ворот, обогнули башенку и пустились по шоссе в обратный путь к Оксфорду.

— Простите меня, — сказал Себастьян через некоторое время. — Боюсь, я был нелюбезен с вами сегодня. Брайдсхед часто оказывает на меня такое действие. Но я должен был познакомить вас с няней.

„Зачем?“ — подумал я, но ничего не сказал. Жизнь Себастьяна была подчинена целому кодексу подобных необходимостей:

„Мне непременно нужна оранжевая пижама“, „Я не могу встать с кровати, пока солнце не дойдет до моего окна“, „Я обязательно должен сегодня выпить шампанского!“

— А на меня он оказал действие прямо противоположное, — только заметил я.

Себастьян довольно долго хранил молчание, потом обиженно сказал:

— Я же не расспрашиваю о вашей семье.

— И я не расспрашиваю.

— Но у вас вид заинтригованный.

— Естественно. Вы так загадочно молчите о ней.

— Я думал, что обо всем молчу загадочно.

— Пожалуй, меня действительно занимают

чужие семьи — видите ли, сам я плохо знаю, что такое семья. Мы только двое с отцом. Какое-то время за мной приглядывала тетка, но отец прогнал ее за границу. А мама погибла на войне.

— О… как необыкновенно.

— Она была в Сербии с Красным Крестом. Отец с тех пор не совсем в себе. Живет в Лондоне один как сыч и коллекционирует какую-то дребедень.

Себастьян сказал:

— Вы и не подозреваете, от чего вы избавлены. А нас уйма. Можете посмотреть в Дебретте.

Он снова повеселел. Чем дальше отъезжали мы от Брайдсхеда, тем полнее освобождался он от своей подавленности — от какой-то тайной нервозности и раздражительности, которые им там владели. Солнце светило на шоссе прямо нам в спину, мы ехали, словно догоняя собственную тень.

— Сейчас половина шестого. К обеду мы как раз доберемся до Годстоу, потом завернем и выпьем в „Форели“, оставим Хардкаслу его машину и вернемся пешком по берегу. Ведь верно, так будет лучше всего?

Вот мой подробнейший отчет о первом кратком посещении Брайдсхеда; мог ли я знать тогда, что память о нем вызовет слезы на глазах пожилого

пехотного капитана?

Глава вторая

На исходе летнего семестра кузен Джаспер удостоил меня последним визитом и великой ремонстрацией. Накануне я сдал последнюю экзаменационную работу по новейшей истории и был свободен от занятий; темный костюм Джаспера в сочетании с белым галстуком красноречиво свидетельствовал о том, что у моего кузена, напротив, сейчас самые жаркие денечки, и на лице у него было усталое, но не умиротворенное выражение человека, сомневающегося в том, что он сумел показать себя наилучшим образом в вопросе о дифирамбике Пиндара. Долг и только долг привел его в тот день ко мне, хотя лично ему это было крайне неудобно — и мне, надо сказать, тоже, ибо он застал меня в дверях, я торопился сделать последние распоряжения в связи со званым ужином, который давал в тот вечер. Это должен был быть ужин из серии мероприятий, предназначенных умилостивить Хардкасла, чей автомобиль мы с Себастьяном оставили на улице и тем навлекли на него серьезные неприятности с прокторами.

Джаспер отказался сесть: он пришел не для

дружеской беседы; он встал спиной к камину и начал говорить со мной, по его собственному выражению, „как дядя с племянником“.

— За последнюю неделю или две я несколько раз пытался с тобой увидеться. Признаться, у меня даже возникло ощущение, что ты меня избегаешь. И если это так, Чарльз, то ничего удивительного я в этом не нахожу.

Ты, вероятно, считаешь, что я лезу не в свое дело, но я в каком-то смысле за тебя отвечаю. Ты не хуже моего знаешь, что после… после войны твой отец несколько утратил связь с жизнью и живет как бы в собственном мире. Не могу же я сидеть сложа руки и смотреть, как ты совершаешь ошибки, от которых тебя могло бы оградить вовремя сказанное слово предостережения.

На первом курсе все делают ошибки. Это неизбежно. Я сам чуть было не связался с совершенно невозможными людьми из Миссионерской лиги, они в летние каникулы организовали миссию для сборщиков хмеля, но ты, мой дорогой Чарльз, сознательно или по неведению, не знаю, угодил со всеми потрохами в самое дурное общество, какое есть в университете. Ты, может быть, думаешь, что, живя на частной квартире, я не вижу, что делается в колледже, зато я слышу. И слышу,

пожалуй, даже слишком много. В „Обеденном клубе“ я по твоей вине вдруг сделался предметом насмешек. К примеру, этот тип, Себастьян Флайт, с которым ты так неразлучен. Может быть, он и неплох, не знаю. Его брат Брайдсхед был человек положительный. Хотя этот твой приятель, на мой взгляд, держится престранно, и он вызывает толки. Правда, у них вся семья странная. Ведь Марчмейны с начала войны живут врозь. Это всех страшно поразило, их считали такой любящей четой, но он вдруг в один прекрасный день уехал со своим полком во Францию и так с тех пор и не вернулся. Словно погиб на войне. А она католичка, поэтому не может получить развода, вернее, не хочет, я так понимаю. В Риме за деньги можно получить что угодно, а они феноменально богаты. Флайт, может быть, и неплох, допускаю, но Антони Бланш — для этого человека нет и не может быть абсолютно никаких оправданий.

— Мне и самому он не особенно нравится, — сказал я.

— Но он постоянно вертится здесь, и в колледже этого не одобряют. Его здесь терпеть не могут. Вчера его опять окунали. Ни один из твоих теперешних приятелей не пользуется у себя в колледже ни малейшим весом, а это самый верный

показатель. Они воображают, что, раз они могут сорить деньгами, значит, им все дозволено.

Кстати, и об этом. Мне не известно, какое содержание назначил тебе дядюшка, но держу пари, ты расходуешь в два раза больше. Вот это все, — он обвел рукой обступившие его признаки расточительности. Он был прав: моя комната сбросила свое строгое зимнее одеяние и, пренебрегая постепенностью, сменила его на более пышные одежды. — Оплачено ли это? (Сотня португальских сигар в богатой коробке на столике.) Или вот это? (Кипа новых книг легкого содержания.) Или это? (Хрустальный графин с бокалами.) Или этот вопиющий предмет? (Человеческий череп, приобретенный совсем недавно на медицинском факультете, а теперь лежащий в широкой вазе с позами и являющийся в настоящее время главным украшением моего стола; на лобной кости был выписан девиз: „Et in Arcadia ego“).

— О да, — сказал я, радуясь возможности отвести хоть одно обвинение. — За череп потребовали наличными.

— Науками ты, конечно, не занимаешься. Это, правда, не так уж и важно, особенно если ты предпринимаешь в интересах своей карьеры что-то другое, но предпринимаешь ли ты что-ни-

будь? Выступал ли ты хоть раз в Студенческом союзе или в каком-нибудь клубе? Связан ли с каким-нибудь журналом? Приобрел ли по крайней мере положение в Университетском театральном обществе? А твоя одежда! — продолжал мой кузен. — Когда ты приехал, я, помнится, посоветовал тебе одеваться, как в загородном доме. Сейчас на тебе такой костюм, словно ты собрался то ли в театр смотреть утренний спектакль, то ли за город выступать в самодеятельном хоре.

И потом вино. Никто не скажет худого слова, если студент слегка напьется раз или два в семестр. Более того, в некоторых случаях это необходимо. Но тебя, как я слышал, постоянно встречают пьяным среди бела дня.

Он выполнил свой тяжкий долг и перевел дух. Предэкзаменационные заботы сразу же снова легли ему на сердце.

— Мне очень жаль, Джаспер, — сказал я. — Я понимаю, что тебе это может причинять затруднения, но мне, к несчастью, нравится мое дурное общество. И мне нравится напиваться среди бела дня, и хотя я еще не истратил денег вдвойне против моего содержания, до конца семестра, безусловно, истрачу. А в это время дня я обычно выпиваю бокал шампанского. Не составишь ли

мне компанию?

Кузен Джаспер признал себя побежденным и, как я узнал впоследствии, написал о моих излишествах своему отцу, который в свою очередь написал моему отцу, а он не придал этому значения и не предпринял никаких мер, отчасти потому, что уже без малого шестьдесят лет питал к брату неприязнь, а отчасти потому, что, как сказал Джаспер, после смерти моей матери жил теперь как бы в собственном мире.

Так Джаспер описал в общих чертах мое житье в первый год студенчества. К этому можно прибавить еще кое-какие подробности в том же духе.

Я еще раньше сговорился провести пасхальные каникулы с Коллинзом, и хотя без колебаний нарушил бы слово при первом же знаке Себастьяна, однако от него знака не последовало, и, соответственно, мы с Коллинзом провели две недели в Равенне — поездка, весьма полезная в познавательном отношении и отнюдь не обременительная для кармана. Пронизывающий ветер с Адриатики гулял среди величественных гробниц. В номере гостиницы, рассчитанном на более теплую погоду, я писал длинные письма Себастьяну и ежедневно заходил на почту за ответами. Он прислал мне два, с разными обратными адреса-

ми и без каких-либо определенных сведений о себе, поскольку писал в стиле остраненно-фантастическом („…У мамы и двух пажей-поэтов три насморка, поэтому я приехал сюда. Завтра праздник святого Никодима Тиатирского, который принял мученическую смерть от гвоздей, каковыми ему прибили к темени кусок овчины, и потому почитается патроном плешивцев. Скажите это Коллинзу, который, я уверен, облысеет раньше нас. Здесь чересчур много людей, но у одного — хвала небу — в ухе слуховая трубка, и от этого у меня хорошее настроение. А теперь бегу — я должен поймать рыбу. Слать ее вам слишком далеко, потому я сохраню хребет…“), и от этих писем я только еще больше мрачнел. Зато Коллинз делал заметки для своей будущей работы о преимуществах фотографических снимков со знаменитых мозаик над оригиналами. Здесь было посеяно семя будущего урожая всей его жизни. Много лет спустя, когда вышел в свет первый увесистый том его по сей день не завершенного труда о византийском искусстве, я с умилением прочел в списке лиц, коим приносилась авторская признательность, свою фамилию „…Чарльзу Райдеру, чье всевидящее око помогло мне впервые увидеть мавзолей Галлы Плацидии

и Сан-Витале“.

Я часто думаю, что, если бы не Себастьян, я, возможно, пошел бы по той же дороге, что и Коллинз, и тоже крутил бы всю жизнь водяное колесо истории. Отец мой в юности держал экзамен в колледж Всех Усопших и в те годы жаркой конкуренции провалился; позже к нему пришли другие успехи и почести, но та первая неудача наложила печать на его душу, а через него и на мою, так что я поступил в университет с твердым ошибочным убеждением, что именно в этом естественная цель всякого разумного существования. Я бы, без сомнения, тоже провалился, но, провалившись здесь, возможно, проник бы в какие-нибудь менее высокие академические круги. Возможно, и все же, думается мне, маловероятно, ибо горячий ключ анархии, зарождаясь в глубинах, где не было ничего твердого, вырывался на солнце, играя всеми цветами радуги, и силе его порыва не могли противостоять даже скалы.

Как бы там ни было, но те пасхальные каникулы составили недлинный ровный участок на моем головокружительном пути под откос, о котором говорил мой кузен Джаспер. Впрочем, вел ли этот путь вниз или, может быть, вверх? Мне кажется, что с каждым днем, с каждой при-

обретенной взрослой привычкой я становился моложе. Я провел одинокое детство, обобранное войной и затененное утратой; к холоду сугубо мужского английского отрочества, к преждевременной солидности, насаждаемой школами, я добавил собственную хмурую печаль. И вот теперь, в тот летний семестр с Себастьяном, я словно получил в подарок малую толику того, чего никогда не знал: счастливого детства. И хотя игрушками этого детства были шелковые сорочки, ликеры, сигары, а его шалости значились на видном месте в реестрах серьезных прегрешений, во всем, что мы делали, была какая-то младенческая свежесть, радость невинных душ. В конце семестра я сдал курсовые экзамены — это было необходимо, если я хотел остаться в Оксфорде, и я их сдал, на неделю запершись от Себастьяна в своих комнатах, где допоздна просиживал за столом с чашкой холодного черного кофе и тарелкой ржаного печенья, набивая себе голову так долго остававшимися в небрежении текстами. Я не помню из них сегодня ни единого слова, но другие, более древние познания, которые я в ту пору приобрел, останутся со мною в том или ином виде до моего смертного часа.

„Мне нравится это дурное общество и нравится

напиваться среди бела дня“ — тогда этого было довольно. Нужно ли прибавлять что-нибудь сейчас?

Когда теперь, через двадцать лет, я оглядываюсь назад, я не нахожу ничего, что мне хотелось бы изменить или отменить совсем. Против петушиной взрослости кузена Джаспера я мог выставить бойца не хуже. Я мог бы объяснить ему, что наши проказы подобны спирту, который смешивают с чистым соком винограда, — этому крепкому, таинственному составному веществу, которое одновременно придает вкус и задерживает созревание вина, делая его на какое-то время непригодным для питья, так что оно должно выдерживаться в темноте еще долгие годы, покуда наконец не придет его срок быть извлеченным на свет и поданным к столу.

Я мог бы объяснить ему также, что знать и любить другого человека — в этом и есть корень всякой мудрости. Но меня нисколько не тянуло вступать с ним в препирательство, я просто сидел и смотрел, как он, прервав свою битву с Пиндаром, облаченный в темный костюм, белый галстук и студенческую мантию, произносит передо мною грозные речи, меж тем как я потихоньку наслаждаюсь запахом левкоев, цветущих

у меня подокном. У меня была тайная и надежная защита, талисман, который носят на груди и, нащупывая, крепко сжимают в минуту опасности. Вот я и сказал ему то, что было, между прочим, совершенной неправдой — будто в этот час я обычно выпиваю бокал шампанского, — и пригласил его составить мне компанию.

На следующий день после великой ремонстрации Джаспера я получил еще одну — в совсем других выражениях и из совершенно неожиданного источника.

В течение всего семестра я виделся с Антони Бланшем несколько чаще, чем это вызывалось моим к нему расположением. Я жил среди его знакомых, но наши встречи с ним происходили по его инициативе, а не по моей, ибо я относился к нему с некоторым испугом.

Он был едва ли старше меня годами, но казался умудренным опытом, как Вечный Жид. К тому же он был кочевник, человек без национальности. В детстве, правда, из него попытались было сделать англичанина, и он провел два года в Итоне, но затем, в разгар войны, презрев вражеские подводные лодки, уехал к матери в Аргентину; и к свите, состоящей из лакея, горничной, двух шоферов, болонки и второго мужа, прибавился умненький,

нахальный мальчик. С ними он изъездил вдоль и поперек весь мир, день ото дня совершенствуясь в пороках, точно Хогартов паж. Когда война кончилась, они вернулись в Европу — в гостиницы и меблированные виллы, на воды, в казино и на пляжи. В возрасте пятнадцати лет он на пари переоделся девушкой и играл за большим столом в Жокейском клубе Буэнос-Айреса; он обедал с Прустом и Жидом, был в близких отношениях с Кокто и Дягилевым; Фербэнк дарил ему свои романы с пламенными посвящениями; он послужил причиной трех непримиримых фамильных ссор на Капри; занимался черной магией в Чефалу; лечился от наркомании в Калифорнии и от эдипова комплекса в Вене. Мы часто казались детьми в сравнении с Антони — часто, но не всегда, ибо он был хвастуном и задирой, — а эти свойства мы успели изжить в наши праздные отроческие годы на стадионе и в классе; его пороки рождались не столько погоней за удовольствиями, сколько желанием поражать, и при виде его изысканных безобразий мне нередко вспоминался уличный мальчишка в Неаполе, с откровенно непристойными ужимками прыгавший перед изумленными английскими туристами; когда он повествовал о вечере, проведенном в тот раз за

игорным столом, можно было представить себе, как он украдкой косился на убывавшую груду фишек с той стороны, где сидел его отчим; в то время как мы катались в грязи на футбольном поле или объедались свежими плюшками, Антони на субтропических пляжах натирал ореховым маслом спины увядающих красавиц и потягивал аперитив в фешенебельных барах, и потому дикарство, уже усмиренное в нас, еще бушевало в его груди. И он был жесток мелочной, мучительной жестокостью маленьких детей и бесстрашен, точно первоклассник, который бросается, сжав кулачки и пригнув голову, на великовозрастного верзилу. Он пригласил меня на ужин, и я с некоторым смущением обнаружил, что ужинать мы будем вдвоем, он и я.

— Мы поедем в Тем, — объявил он мне. — Там есть восхитительный ресторанчик, по счастью, не во вкусе „Буллинг-дона“. Будем п-пить рейнвейн и воображать с-с-себя… где? Во всяком случае, не среди этих р-р-резвящихся п-п-приказчи-ков. Но сначала выпьем аперитив.

У „Джорджа“ в баре он заказал четыре коктейля „Александр“. И, выставив в ряд перед собою стаканы, так громко причмокивал, что привлек к себе негодующие взоры всех присутствующих.

— Вы, мой любезный Чарльз, вероятно, предпочли бы херес, но, увы, хереса вы не получите. Восхитительное зелье, не правда ли? Вам не нравится? Тогда я выпью и ваши. Раз, два, три-с, по дорожке вниз. Ах, как эти студенты на нас оглядываются!

И он повел меня туда, где ждал нанятый автомобиль.

— Надеюсь, там студентов не будет. У меня с ними в настоящее время отношения несколько натянутые. Вы не слышали, как они обошлись со мною в прошлый вторник? Очень невежливо. К счастью, на мне была моя самая старая пижама и вечер был удушающе жаркий, не то бы я всерьез рассердился.

У Антони была привычка, разговаривая, придвигать лицо к собеседнику, на меня дохнуло молочно-сладким запахом коктейля, и я поскорее отодвинулся.

— Вообразите меня, мой милый, одиноко сидящим за книгой. Накануне я купил одну довольно отталкивающую книгу под названием „Шутовской хоровод“, и мне необходимо было прочитать ее к воскресенью, потому что я собирался к Гарсингтону и знал, что там обязательно все будут говорить о ней, а отвечать, что ты не читал по-

следнего модного романа, когда ты его в самом деле не читал, — это банально. Можно было бы, видимо, просто не ездить к Гарсингтону, но такой выход пришел мне в голову только сейчас. А потому, мой милый, я поужинал омлетом, персиком и бутылкой минеральной воды, облачился в пижаму и приступил к чтению. Должен признаться, что мысли мои блуждали, но я продолжал переворачивать страницы и любовался угасанием дня, а это у нас на Пекуотерском дворике, право же, зрелище впечатляющее: с приближением темноты кажется, что камни положительно рассыпаются прямо у вас на глазах. Это напомнило мне облупленные фасады старого порта в Марселе. И вдруг меня потревожили вопли и улюлюканье небывалой оглушительности, и я увидел внизу, на нашем дворике, человек двадцать ужасных юнцов. Как бы вы думали, что они кричали? „Антони Бланша! Антони Бланша!“ Такое громкое общественное признание. Ну, я понял, что на сегодня с мистером Хаксли покончено, и должен сказать, что я как раз достиг той степени скуки, когда любое отвлечение — благо. Их завывания меня слегка взволновали, но, знаете ли, чем громче они кричали, тем больше робели. Слышны были возгласы:

„Где Бой?“, „Бой Мулкастер с ним знаком!“, „Пусть Бой его приведет!“ Вы, конечно, знаете этого бодрого юношу Боя Мулкастера? Он постоянно вертится возле милейшего Себастьяна. Это типичный английский лорд, каким его представляем себе мы, латиняне. Сплошная импозантность. Кумир всех лондонских девиц. Говорят, он с ними так высокомерен. Со страху, мой милый, просто со страху. Дубина стоеросовая этот Мулкастер, и к тому же еще хам. Он приезжал на пасху в Ле-Туке, и каким-то необъяснимым образом вышло так, что я пригласил его погостить. Представьте, он проиграл в карты мизерную сумму и считал, что за это я обязан всюду за него платить; так вот, Мулкастер находился в этой толпе, я видел сверху его нескладную фигуру и слышал, как он говорил: „Пустое дело. Его нет дома. Может, пойдем лучше выпьем?“ Тогда я высунул голову в окно и позвал: „Добрый вечер, Мулкастер, пиявка и приживальщик! Что же вы прячетесь среди этих юнцов? Вы, наверное, пришли отдать мне триста франков, которые я одолжил вам на ту жалкую шлюху, что вы подцепили в Казино? Это была нищенская плата за ее труды, Мулкастер, и какие труды! Подымитесь же сюда и возвратите мне долг, жалкий хулиган!“

Это, мой милый, немного их расшевелило, и они, топоча, ринулись вверх по лестнице. Человек шесть ворвалось ко мне в комнату, остальные топтались и пускали слюни за дверью. Мой милый, что у них был за вид! Они явились прямо со своего идиотского клубного ужина и все были в цветных фраках — наподобие ливреи. „Мои милые, — сказал я им, — вы похожи на ватагу очень уж разгулявшихся лакеев“. Тогда один из них, довольно аппетитный юноша, обвинил меня в противоестественном грехе. „Мой милый, — ответил я, — я, может быть, и извращен, но не ненасытен. Возвращайтесь, когда будете один“. Тогда они стали крайне неприятно ругаться, и я вдруг тоже разозлился. Право, я подумал, после всего, что было, когда герцог де Венсанн (старик Арман, разумеется, а не Филип) вызвал меня в семнадцать лет на дуэль из-за сердечного дела (и гораздо больше, чем просто сердечного, могу вас уверить) с герцогиней (Стефани, разумеется, а не старушкой Поппи), — терпеть теперь подобную наглость от этих прыщавых пьяненьких девственников… Я оставил легкий, шутливый тон и позволил себе сказать им несколько обидных слов. Тогда они начали повторять: „Хватай его. Тащи его к Меркурию!“ А у меня, как вы знае-

те, есть две скульптуры Бранкузи и несколько хорошеньких вещичек, которые я ценю, и я не мог допустить, чтобы они буянили, поэтому я миролюбиво сказал: „Мои очаровательные недоумки, если бы вы хоть самую малость смыслили в сексуальной психологии, вы бы понимали, что мне будет более чем приятно очутиться у вас в руках, толстомясые вы юнцы. Это доставит мне наслаждение самого предосудительного свойства. Поэтому того, кто из вас готов быть моим партнером в удовольствии, прошу меня схватить. С другой стороны, если вами самими движет менее изученная и не столь распространенная сексуальная потребность видеть меня купающимся, сделайте милость, любезные олухи, тихо и мирно последуйте за мной к фонтану“.

И знаете, у них был довольно идиотский вид, когда я им это сказал. Я спустился с ними во дворик, но ни один из них ко мне даже не приблизился. Я забрался в фонтан, купание, поверьте, меня приятным образом освежило, я плескался и принимал разные позы, пока наконец они с унылым видом не побрели прочь, и я слышал, как Бой Мулкастер сказал: „Все-таки мы его окунули под Меркурия!“ И знаете, Чарльз, именно это они будут говорить и через тридцать лет.

Когда у них у всех будут костлявые курицы-жены и кретины сыновья, такие же скоты, как их папаши, они, напившись все в том же клубе на том же ежегодном ужине, облаченные все в те же цветные фраки, будут все так же говорить, лишь только кто-нибудь упомянет мое имя: „Да-да, мы один раз окунули его под Меркурия“, а их скотницы-дочери будут хихикать и думать, что, мол, вот ведь какой баловник были папаша когда-то, жаль, он теперь такой неинтересный. O, la fatigue du Nord![8]

Насколько мне было известно, Антони уже приходилось и прежде принимать подобные ванны, но последний эпизод, как видно, произвел на него сильное впечатление, потому что за ужином он снова к нему вернулся.

— А вот вы не можете себе представить, чтобы подобная неприятность произошла с Себастьяном, верно?

— Верно, — сказал я. Представить себе этого я не мог.

— Да, у Себастьяна обаяние. — Он поднял к свету бокал с рейнвейном и повторил— Бездна обаяния. Знаете, назавтра я зашел к Себастьяну.

---

[8] Примечания: 8
О, северная скука! (франц.)

Думал позабавить его повестью о моих злоключениях. И что бы вы думали, я там нашел, помимо его столь забавного игрушечного медведя? Боя Мулкастера и еще двоих его вчерашних дружков. Вид у них был совершенно идиотский, а С-с-себастьян, невозмутимый, как миссис Понсоби де Томкинс из „Панча“, говорит: „Вы, конечно, знакомы с лордом Мулкастером“, и эти кретины поспешили объяснить: „Ах, мы только зашли на минутку узнать, как поживает Алоизиус“, потому что они находят игрушечного медведя таким же забавным, как и мы, или, скажем честно, самую чуточку более забавным, чем мы. Словом, они убрались. А я сказал: „С-с-се-бастьян, разве вы не знаете, что эти с-с-скользкие с-сикофанты нанесли мне вчера вечером оскорбление и, если бы не благоприятная погода, могли бы п-п-причинить мне сильную п-п-про-студу?“ На что он мне ответил: „Бедняги. Вероятно, они были пьяны“. Да, он найдет для каждого доброе слово. У него ведь такое обаяние.

Я вижу, вас, мой милый Чарльз, он покорил совершенно. Ну что ж, это не удивительно. Конечно, вы знакомы с ним не так давно, как я. Я вместе с ним учился в школе. Вы не поверите, но тогда говорили, что он просто маленькая дрянь. Не все,

понятно, а только некоторые злые мальчишки, которые его хорошо знали. В Итонском клубе, разумеется, он пользовался всеобщей любовью, и учителя его тоже обожали. Я думаю, все дело просто в зависти. Он всегда выходил сухим из воды. Всех остальных постоянно по самым незначительным поводам самым жестоким образом били. Себастьяна — никогда. Он был единственным мальчиком в моем корпусе, которого вообще ни разу не били. Помню как сейчас, каким он был в пятнадцать лет. Ни единого пятнышка на коже, когда все остальные, естественно, страдали прыщами. Бой Мулкастер ходил положительно весь в золотухе. А Себастьян — нет. Или был у него один-единственный упрямый нарывчик на шее сзади? Да, пожалуй, один был. Нарцисс с единственным прыщиком. Мы с ним оба были католики и вместе ходили к мессе. Он столько времени проводил в исповедальне, что я диву давался, ведь он никогда не делал ничего дурного, ничего определенно дурного, во всяком случае, не получал наказаний. Возможно, он просто источал обаяние сквозь решетку исповедальни. Я оставил школу при обстоятельствах, бросавших на меня тень, как принято говорить, хотя, откуда пошло такое выражение, непонятно,

по-моему, это весьма яркий и нежелательный свет, и процедура, предшествовавшая моему отъезду, включала несколько доверительных бесед с моим наставником. Я был весьма смущен, обнаружив, как хорошо осведомлен этот добрый старец. Ему были известны обо мне такие вещи, которых не знал никто — кроме разве Себастьяна. Это послужило мне уроком никогда не доверять добрым старцам — или, может быть, обаятельным школярам?

Возьмем еще одну бутылочку этого вина? Или чего-нибудь другого? Чего-нибудь другого, да? Скажем, старого доброго бургундского? Вот видите, Чарльз, мне известны ваши вкусы в любой области. Вам надо поехать со мной во Францию, мой милый, и попить тамошних вин. Мы поедем к сбору винограда. Я отвезу вас погостить к Венсаннам. Мы уже давно с ними в мире, а у герцога лучший винный погреб во Франции — у него и у князя де Портайона, к нему я вас тоже отвезу Мне кажется, они вас позабавят, а от вас они, безусловно, будут без ума. Я хочу познакомить вас со всеми моими друзьями. Я рассказывал о вас Кокто, он горит нетерпением. Понимаете ли, мой милый Чарльз, вы представляете собою весьма редкое явление, которому имя — Художник. Да-да,

не принимайте скромного вида. Под этой холодной, флегматичной английской наружностью вы — Художник. Я видел ваши рисунки, которые вы прячете у себя в спальне. Они изысканны. А вот вы, милый Чарльз, как бы это выразиться, вы не изысканны, отнюдь. Художникам как людям не свойственна изысканность. Изыскан я, Себастьян по своему тоже, но Художник — это земной тип, волевой, целеустремленный, зоркий и в глубине души с-с-страст-ный, верно, Чарльз?

Но у кого пользуетесь вы признанием? На днях я разговаривал о вас с Себастьяном. „Чарльз — художник, — сказал я ему. — Он рисует, как молодой Энгр“. И вы знаете, что ответил Себастьян? „Да да, Алоизиус тоже очень недурно рисует, но, конечно, он гораздо современнее“. Так обаятельно, так забавно.

Конечно, те, у кого есть обаяние, в мозгах не нуждаются. Стефани де Венсанн четыре года назад покорила меня совершенно. Мой милый, я даже красил ногти на ногах тем же лаком, что и она. Я говорил ее словами, прикуривал сигарету, как она, и разговаривал по телефону совершенно ее голосом, так что герцог вел со мною длинные интимные беседы, принимая меня за нее. Это, главным образом, и натолкнуло его на столь

старомодные мысли о пистолетах и шпагах. Мой отчим считал, что мне это послужит превосходным уроком. Он надеялся, что таким путем я изживу мои, как он выражался, „английские привычки“. Бедняга, у него такие латиноамериканские взгляды. Так вот, я ни от кого ни разу не слышал о Стефани худого слова, исключая герцога, понятно; а ведь она, мой милый, женщина положительно безмозглая.

Увлеченный рассказом о старой любви, Антони забыл про свое заикание. Вспомнил он о нем в тот же миг, как был подан кофе с ликером.

— Настоящий з-з-зеленый шартрез, созданный еще до изгнания монахов. Стекая по языку, он пять раз меняет вкус. Словно глотаешь п-призрак. Вам хотелось бы, чтобы Себастьян был сейчас с нами? Ну, разумеется, хотелось бы. А мне? П-право, не знаю. Как, однако, наши мысли настойчиво возвращаются к этой бутоньерке очарования. Вы, наверное, гипнотизируете меня, Чарльз. Я привожу вас сюда — удовольствие, мой милый, которое влетит мне в копеечку, — с единственной целью поговорить о самом себе и не говорю ни о чем, кроме Себастьяна. А это странно, потому что, в сущности, в нем нет ничего загадочного, загадочно только одно: как он умудрился родиться в

такой зловещей семье.

Не помню, вы знакомы с их семейством? Едва ли он вас когда-нибудь допустит до знакомства с ними. Он слишком хорошо все понимает. Это люди, безусловно, страшные. Вам никогда не казалось, что в Себастьяне есть что-то чуточку страшное? Нет? Может быть, это мое воображение; просто временами он бывает с виду так похож на своих родных.

Во-первых, Брайдсхед. Существо архаическое, прямо из пещеры, замурованной тысячу лет. У него такое лицо, словно ацтекский скульптор попытался высечь портрет Себастьяна. Это ученый изувер, церемонный варвар, лама, отрезанный от мира ледниками, — можете считать как угодно Потом Джулия. Вы знаете, какова она собой. Не знать этого невозможно. Ее фотографии появляются в иллюстрированных газетах с постоянством рекламы „Пилюль Бичема“. Безупречно прекрасное лицо женщины флорентийского Кватроченто; с такой внешностью любая пошла бы на сцену, любая, но не леди Джулия; она — великосветская красавица такого же толка, как… ну, скажем, как Стефани. И ни на йоту богемы. Всегда корректная, жизнерадостная, непринужденная. Собаки и дети ее обожают, другие женщины то-

же; мой милый, она душегубка, хладнокровная, корыстная, хитрая и беспощадная. Может быть, в помыслах и кровосмесительница, не знаю. Вряд ли. Все, что ей нужно, — это власть. Следовало бы устроить специальный суд святой инквизиции и сжечь ее. Там есть, если не ошибаюсь, еще одна сестрица, ребенок. О ней пока ничего не известно, за исключением того, что недавно ее гувернантка потеряла рассудок и утопилась. По-видимому, прелестное дитя. Так что, сами понимаете, бедному Себастьяну, в сущности, ничего и не остается, как быть милым и обаятельным.

Но настоящая бездна отверзается, когда доходишь до родителей Это такая чета, мой милый! „Как леди Марчмейн это удается?“ — таков один из кардинальных вопросов века. Вы ее не видели. Очень, очень красивая женщина, никаких ухищрений, элегантные серебряные пряди в волосах, естественный очень бледный цвет лица, огромные глаза — просто диву даешься, какими большими они кажутся и как удачно просвечивают голубые жилки на веках, где всякой другой понадобилось бы наложить тени; жемчуга и несколько крупных, как звезды, бриллиантов — фамильные драгоценности в старинной оправе; и голос, мягкий, как молитва, и такой же

властный. И — лорд Марчмейн, слегка, быть может, располневший, но о-очень импозантный, magnifico[9], сластолюбец, скучающий байронический тип, заразительно праздный, совсем не из тех, кто дает себя в обиду. И эта рейнхардовская монашенка, мой милый, просто изничтожила его — да-да, совершенно. Он нигде не решается показаться. Это последний в истории достоверный случай, когда человека в буквальном смысле изгнали из общества. Брайдсхед не хочет с ним видеться, барышням с ним видеться не дозволено, Себастьян, правда, к нему открыто ездит ввиду своей обаятельности. Но больше с ним никто знаться не желает. Да вот, не далее как в сентябре леди Марчмейн гостила в Венеции в палаццо Фольере. Сказать вам по правде, она была там самую чуточку смешна. К „Лидо“ она, естественно, даже близко не подходила, а целыми днями разъезжала в гондоле по каналам с сэром Адрианом Порсоном — и такие позы, мой милый, просто мадам Рекамье; я как-то однажды ехал навстречу и переглянулся с гондольером из палаццо, который мне, естественно, знаком, — мой милый, как он мне подмигнул! Где бы она ни

---

[9] Примечания: 9
Великолепный (итал.)

бывала, она всюду появлялась в эдаком полупрозрачном коконе, словно персонаж из кельтского фольклора или героиня Метерлинка, и каждый день ходила в церковь. А как вы знаете, Венеция — единственный город в Италии, где в церковь ходить абсолютно не принято. Словом, она вызывала улыбки. И вдруг кто бы, вы думали, прибыл в город на яхте Молтонов? Несчастный лорд Марчмейн. Он заранее снял небольшой палаццо, но, вы думаете, его туда впустили? Лорд Молтон, не дав ему дух перевести, погрузил его вдвоем с лакеем в утлую лодчонку и в два счета отвез на пристань и посадил на триестский пароход. А он был даже без своей любовницы. В это время года она как раз уезжает отдыхать. Откуда им стало известно, что в городе леди Марчмейн, никто не знает. И все-таки лорд Молтон целую неделю ходил тише воды ниже травы, словно впал в высочайшую немилость. Да так оно и было. Принчипесса Фольере давала бал, и лорд Молтон не получил приглашения, ни он сам и никто из его гостей, даже де Паньозы. Как леди Марчмейн это удется? Она убедила свет, что лорд Марчмейн — чудовище. А что было на самом деле? Они прожили в браке лет пятнадцать, а потом лорд Марчмейн уехал на войну и не вернулся, вступив в связь

с одной очень талантливой балериной. Таких случаев тысячи. Она отказалась дать ему развод, так как она, видите ли, очень набожна. И такие случаи бывали. Обычно сочувствие оказывалось на стороне неверного мужа, но лорду Марчмейну не было сочувствия. Можно подумать, что старый распутник избивал свою несчастную жену, обездолил ее и вышвырнул за дверь, что он потрошил, жарил и пожирал своих детей и наконец ударился в пляс, увитый гирляндами всех цветов Содома и Гоморры. А в действительности? Он родил с ней четырех прекрасных детей, отдал ей Брайдсхед и Марчмейн-хаус на Сент-Джемской площади и денег сколько ее душеньке угодно, а сам сидит в белоснежной крахмальной манишке за столиком у Ларю с немолодой почтенной дамой — и все в самом что ни на есть респектабельном эдвардианском стиле. А она, между прочим, содержит при себе маленькую свиту бесправных, изможденных рабов, которыми пользуется исключительно для собственного удовольствия. Она сосет из них кровь. У Адриана Порсона плечи испещрены следами ее зубов — это всем видно, когда он купается. А он, мой милый, был некогда величайшим, можно сказать единственным, поэтом нашего времени. Она выпила из него все

соки, ничего не осталось. У нее есть еще человек пять или шесть, разного возраста и пола, которые как тени следуют за ней по пятам. Стоит ей однажды впиться в человека зубами, и он уже от нее не уйдет. Это ведьмовство, мой милый, другого объяснения нет.

Так что мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает немножко придурковат, ну, да ведь вы его и не вините, правда, Чарльз? При таком мрачном антураже что же ему еще оставалось, как не простота и обаяние? Тем более что на чердаке у него не очень-то богато. Этого мы не станем отрицать, как бы мы его ни любили, верно?

Признайтесь откровенно, слышали ли вы хоть раз, чтобы Себастьян сказал что-нибудь, что остается в памяти хотя бы на пять минут? Знаете, его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину под названием „Мыльные пузыри“. Разговор, как я его понимаю, подобен жонглированию. Взлетают шары, мячики, тарелки — вверх и вниз, туда и назад, колесом, кувырком, — обыкновенные, весомые вещи, которые искрятся в огнях рампы и падают с громким стуком, если их не подхватить. Но когда разговаривает наш дорогой Себастьян,

кажется, будто это маленькие мыльные пузыри отрываются от старой глиняной трубки, летят куда попало, переливаясь радугой, и через секунду — пшик! — исчезают, и не остается ничего, ровным счетом ничего.

Потом Антони говорил о жизненном опыте, который полезен для художника, о понимании, критике и поддержке, которых он вправе ждать от друзей, о риске, на который он может идти ради богатства эмоций, и еще о чем-то в таком же духе, но я, охваченный внезапной сонливостью, перестал прислушиваться к его рассуждениям. Наконец мы поехали домой, и на Магда-линином мосту он снова вернулся напоследок к лейтмотиву нашего ужина:

— Ну-с, мой милый, я нисколько не сомневаюсь, что завтра, едва открыв глаза, вы побежите к Себастьяну и перескажете ему все, что я о нем говорил. В связи с чем я хочу сказать вам две вещи: это нисколько не повлияет на его отношение ко мне, а во-вторых, мой милый, — помяните мои слова, хотя я и так уже заговорил вас до обморока, — он сразу же переведет разговор на этого своего забавного игрушечного медведя. Покойной ночи. Желаю вам спать праведным сном.

Но я спал плохо. Сонный, я сразу бухнулся в по-

стель, однако уже через час проснулся и больше не мог уснуть — меня мучила жажда и непонятное волнение попеременно окатывало меня то холодом, то жаром. Я много выпил за ужином, но ни александровский коктейль, ни шартрез, ни „Шалость Мавродафны“, ни даже то, что я просидел весь вечер в неподвижности и почти полном безмолвии, вместо того чтобы, как обычно, „спускать пары“ в ребяческих развлечениях, не могли бы послужить причиной глубокой тоски, охватившей меня в ту мучительную ночь. Мне не снились кошмары, представляющие в зловещем искажении образы минувшего вечера. Я лежал с широко открытыми глазами и совершенно ясной головой. И только беззвучно повторял про себя слова Антони с его интонацией, с его паузами и распевом, видя перед собой в темноте его бледное, освещенное свечами лицо, как оно маячило против меня за ресторанным столиком. Один раз в эти ночные часы я встал и принес рисунки, хранившиеся у меня в гостиной, и долго сидел с ними у раскрытого окна. В университетском дворике было темно и тихо-тихо, только часы на башнях, пробуждаясь, вызванивали четверти над крутоверхими крышами колледжей. Я пил содовую воду, курил и томился, пока не стало

светать и поднявшийся предутренний ветерок не загнал меня обратно в постель.

Когда я проснулся, в открытых дверях стоял Лант.

— Я дал вам отоспаться, — сказал он. — Я так решил, что вы не пойдете к общему причастию.

— И правильно решили.

— Первокурсники пошли чуть ли не все, и со второго и третьего курса тоже кое-кто пошел. И все из-за нового священника. Раньше ни о каком общем причастии не слыхали — просто святое причастие для желающих и службы — обедня и вечерня.

Было последнее воскресенье в семестре, последнее воскресенье в году. Проходя в ванную, я видел, как университетский двор заполняют выходящие из церкви студенты в мантиях и белых стихарях церковного хора. Когда я возвращался, они стояли группками, курили; среди прочих был и кузен Джаспер, прикативший из своей квартиры на велосипеде, чтобы не остаться в стороне.

Я шел по безлюдной Брод-стрит в маленькую чайную напротив Баллиоля, где обычно завтракал по воскресеньям. На всех колокольнях звонили, воздух был полон гуденьем колоколов, и солнце, перекидывая на открытых местах длин-

ные узкие тени, легко развеяло страхи минувшей ночи. В чайной было тихо, как в библиотеке; несколько студентов-одиночек из Баллиоля и, Святой Троицы — они были прямо в комнатных туфлях — подняли головы, когда я входил, но тут же снова зарылись в воскресные газеты. Я съел неизменную яичницу и порцию джема с жадностью, которая в юные годы неизменно следует за бессонной ночью. Потом закурил сигарету и сидел, глядя; как студенты из Святой Троицы и Баллиола один за другим расплачивались и уходили, шаркая туфлями, через улицу к себе в колледж. Когда я вышел из чайной, было без малого одиннадцать, перезвон над городом вдруг смолк, и вместо него зазвучал стройный благовест, оповещающий жителей о начале службы.

На улицах не осталось никого, кроме идущих на молитву — студенты, преподаватели, жены, торговцы шли тем особым, чисто английским шагом, каким ходят только в церковь, с одинаковым успехом избегая торопливости и праздной медлительности; шли, неся в руках переплетенные в черную кожу или обернутые в белый пергамент молитвенники десятка враждующих между собою сект: шли к святому Барнабасу и к святой Колумбе, к святому Алоизию и к святой

Марии, в Пьюзи-хаус, в Блэкфрайерс и бог знает куда еще— к памятникам реставрированной норманнской архитектуры и возрожденной готики, к строениям в ложновенецианском и псевдоафинском стиле, шли в этот летний солнечный день, каждый в храм своего племени. Только четыре гордых язычника открыто провозглашали свою независимость: четыре индуса вышли из ворот Баллиоля в свежих фланелевых брюках, выутюженных спортивных куртках и в белоснежных тюрбанах, неся в пухлых коричневых руках разноцветные подушки, корзинки для пикника и „Неприятные пьесы“ Бернарда Шоу, и зашагали по направлению к реке.

На Корнмаркет-стрит на ступенях „Кларендон-отеля“ я увидел группу туристов, с помощью дорожной карты втолковывавших что-то своему шоферу, а напротив, из-под старинной арки „Золотого креста“, выходило, несколько моих знакомых студентов, которые завтракали там и задержались, чтобы выкурить по трубке на увитом плющом дворике. Вприпрыжку, забыв о строе, промчался на молитву отряд бойскаутов с пестрыми ленточками и значками на груди, а на Карфаксе мне навстречу попалась направляющаяся к проповеди в городскую церковь

процессия членов муниципалитета с мэром во главе — все в алых мантиях, с золотыми цепями, предшествуемые жезлоносцами и провожаемые невозмутимыми взорами. На Сент-Олдейтс-стрит мимо меня прополз крокодил попарно семенящих мальчиков-певчих в крахмальных воротниках и забавных круглых шапочках, они шли в кафедральный собор у Томгейт. Так, через целый мир благочестия, шел я к Себастьяну. Его не оказалось дома. Я прочитал письма, которыми был завален его письменный стол, но они ничего мне не говорили, пересмотрел пригласительные карточки на каминной полке — там не было ни одной новой. Тогда я сел и читал „Лисьи чары“ до тех пор, пока он не пришел.

— Я был на мессе в Старом Дворце, — сказал он. — Я не ходил целый семестр, и на прошлой неделе монсеньер Белл два раза приглашал меня на обед, а это уж я знаю, что значит. Ему писала мама. Вот я и пошел, сел в передний ряд, на самом виду у него, и положительно орал „Богородица, дево, радуйся“, когда кончилась служба; так что теперь с этим покончено. Ну, как вы поужинали с Антуаном? О чем разговаривали?

— Разговаривал главным образом он. Скажите мне, вы были с ним знакомы в Итоне?

— Его исключили через полгода после моего поступления. Я помню его. Он всегда был заметной фигурой.

— Он ходил с вами к мессе?

— Не помню, по-моему, нет. А что?

— А с вашей семьей он знаком?

— Чарльз, какой вы нынче странный, право. Нет. Насколько мне известно, не знаком.

— И с вашей матерью в Венеции не встречался?

— По-моему, она что-то такое рассказывала. Только не помню что. Кажется, она гостила у наших итальянских родственников Фольере, а Антони со своей мамашей приехал и остановился в гостинице, и был какой-то вечер у Фольере, куда их не пригласили. Мама мне что-то об этом рассказывала, когда я сказал, что знаком с ним. Не знаю, зачем ему непременно хотелось быть на вечере у Фольере, княгиня так гордится тем, что в ее жилах течет английская кровь, она ни о чем другом говорить не может. Да против Антуана никто ничего не имел, по крайней мере всерьез, как я понял. Затруднения были связаны с его мамашей.

— А кто такая герцогиня де Венсанн?

— Поппи?

— Стефани.

— Об этом вам лучше расспросить Антуана. Он утверждает, что имел с ней интрижку.

— Правда имел?

— Вероятно. В Каннах это, по-моему, обязательно для всех. Почему это вас интересует?

— Просто я хочу знать, много ли правды в том, что Антони говорил мне вчера вечером.

— Ни слова, я думаю. В этом его обаяние.

— Вы, может быть, считаете, что это очень мило, а по-моему, это настоящая чертовщина. Да вы знаете ли, что он весь вчерашний вечер пытался настроить меня против вас и это ему почти удалось?

— Вот как? Ну и глупо. Алоизиус бы этого никак не одобрил, верно я говорю, старый чванливый медведь? И тут пришел Бой Мулкастер.

Глава третья

На долгие каникулы я приехал домой — без определенных планов и совершенно без денег. Для покрытия послеэкзаменационных расходов я продал Коллинзу за десять фунтов Фрайевский экран, и из них у меня теперь оставалось четыре; мой последний чек с перебором в несколько шиллингов исчерпал мой счет в банке, и я получил предупреждение, что больше без подписи отца выписывать счетов не должен. Новая сумма причиталась мне только в октябре, так что перспективы мои были достаточно мрачны, и, обдумывая положение, я испытывал нечто отдаленно напоминающее раскаяние в собственной недавней расточительности.

Когда начинался семестр, все взносы за учение и содержание в университете у меня были уплачены и больше ста фунтов оставалось на руках. И все это ушло, да еще там, где можно было пользоваться кредитом, мною не было выплачено ни пенса. Особых причин для этих трат не было, не было погони за какими-то необыкновенными удовольствиями, которых иначе как за деньги не добудешь; деньги транжирились просто так, ни

на что. Себастьян часто смеялся надо мною: „Вы швыряетесь деньгами, как букмекер“, — но все, что я тратил, было потрачено на него или вместе с ним. Его собственные финансы были постоянно в неопределенно-расстроенном состоянии. „Деньги проходят через руки юристов, — беспомощно жаловался он. — И вероятно, они кое-что присваивают. Во всяком случае, мне достается немного. Мама, разумеется, всегда даст мне, сколько я ни попрошу“.

— Почему бы вам тогда не попросить ее увеличить ваше содержание?

— Нет, она любит делать подарки. У нее такое доброе сердце, — пояснил Себастьян, добавляя еще один штрих к портрету, который складывался в моем воображении.

И вот теперь Себастьян удалился в этот свой особый мир, куда меня не приглашали, и я остался один во власти скуки и раскаяния.

Как несправедливо редко в зрелые годы вспоминаем мы добродетельные часы нашей юности, ее дни видятся на расстоянии непрерывной чередой легкомысленных солнечных беспутств. История молодой жизни не будет правдивой, если в ней не найдут отражения тоска по детским понятиям о добре и зле, угрызения совести и ре-

шимость исправиться, черные часы, которые, как зеро на рулетке, выпадают с грубо предсказуемой регулярностью.

Так и я провел первый день в отчем доме, бродя по комнатам, выглядывая из окон то в сад, то на улицу, в состоянии черного недовольства собой.

Отец, как мне было известно, находился дома, но вход к нему в библиотеку был заповедан, и только перед самым ужином он вышел, и мы поздоровались. В то время ему не было и шестидесяти, но у него была странная страсть прикидываться стариком; на вид ему можно было дать лет семьдесят, а голос, которым он говорил, звучал как у восьмидесятилетнего. Он вышел мне навстречу нарочито шаркающей походкой китайского мандарина, со слабой улыбкой привета на губах. В те дни, когда он ужинал дома — то есть практически каждый вечер, — он садился за стол в бархатной куртке, отделанной шнуром, какие были модны за много лет до этого и должны были впоследствии опять войти в моду, но в то время представляли собой подчеркнутый анахронизм.

— Мой дорогой мальчик, мне никто не сообщил, что ты уже приехал. Наверное, устал с дороги? Тебе тут дали чаю? Как же ты поживаешь? Надеюсь, хорошо? А я недавно сделал одно довольно смелое

приобретение — купил у Зонершайнов терракотового быка пятого века. И вот рассматривал его в библиотеке и забыл о твоем приезде. Тесно было в вагоне? Удалось ли тебе занять место в углу? (Он сам так редко ездил, что путешествия других вызывали у него глубокое сочувствие.) Хейтер принес тебе вечернюю газету? Новостей, конечно, никаких — все один вздор.

Объявили, что ужин подан. По старой привычке отец взял с собой к столу книгу, но, вспомнив о моем присутствии, украдкой уронил ее под стул.

— Что ты пьешь? Хейтер, что мы можем предложить мистеру Чарльзу?

— Есть немного виски, сэр.

— Есть немного виски. Или ты предпочел бы что-нибудь другое? Что еще у нас есть?

— Больше в доме ничего нет, сэр.

— Больше ничего нет. Скажи Хейтеру, чего бы тебе хотелось, и он распорядится завезти. Я теперь не держу в доме вина. Мне его пить запрещено, а гости у меня не бывают. Но на то время, пока ты здесь, нужно, чтобы у тебя было все по вкусу. Ты надолго?

— Пока еще не знаю, папа.

— Эти каникулы очень-очень длинные, — сказал он с тоской. — В мое время мы отправлялись

компанией куда-нибудь в горы. Считалось, что читать книги. Почему? Почему, — повторил он ворчливо, — альпийский пейзаж должен побуждать человека к занятиям?

— Я думал позаниматься на каких-нибудь курсах живописи — по живой натуре.

— Дорогой мой, все курсы сейчас закрыты. Желающие обучаться едут в Барбизон и тому подобные места и пишут на открытом воздухе. В мое время было такое учреждение, которое называлось „Клуб рисунка“, — мужчины и женщины вместе (сопение), велосипеды (снова сопение), брюки гольф в мелкую клетку, полотняные зонты и, по всеобщему мнению, свободная любовь (сильное сопение) — все один вздор. Я думаю, они и теперь существуют. Поинтересуйся.

— Главная проблема каникул — это деньги, папа.

— О, на твоем месте я бы не стал беспокоиться смолоду о таких вещах.

— Видишь ли, я несколько поиздержался.

— Вот как, — отозвался отец без всякого интереса в голосе.

— По правде сказать, я не очень-то представляю себе, как прожить эти два месяца.

— Ну, я в таких вопросах наихудший советчик.

Мне никогда не случалось „поиздержаться“, как ты весьма жалобно это называешь. А с другой стороны, как иначе можно выразиться? Быть в затруднительном положении? В стесненных обстоятельствах? Без гроша в кармане? (Сопение.) Или сидеть на мели? Или, может быть, в калоше? Скажем, что ты сидишь в калоше, и на том остановимся. Твой дедушка говорил мне: „Живи по своим средствам, но если окажешься в затруднении, приди ко мне, не ходи к евреям“. Все один вздор. Ты попробуй. Сходи на Джермин-стрит к этим господам, которые дают ссуды под собственноручную расписку клиента. Мой дорогой мальчик, они не дадут тебе ни соверена.

— Что же ты тогда советуешь мне делать?

— Твой кузен Мельхиор был неосторожен с капиталовложениями и оказался в очень глубокой калоше. Так он уехал в Австралию.

Я не помнил отца таким довольным с тех пор, как он когда-то нашел две страницы папируса второго века между листами Ломбардского часослова.

— Хейтер, я уронил книгу.

Книга была поднята с пола, раскрыта и прислонена к графину. Остальное время обеда он провел в молчании, иногда нарушаемом веселым сопе-

нием, которого, как мне казалось, не мог вызвать штудируемый им трактат.

Потом мы покинули столовую и расположились в зимнем саду, и здесь он непритворно забыл о моем существовании; мысли его, я знал, витали далеко, в тех давних столетиях, где он чувствовал себя непринужденно, где время измерялось веками и у всех фигур были стертые лица и имена, которые на самом деле оказывались искаженными словами с совершенно другим значением. Он сидел в позе, которая для всякого, кроме него, была бы вопиюще неудобной — боком в своем высоком кресле, держа у самого лица повернутую к свету книгу. Время от времени он брался за карандаш в золотом футлярчике, висевший у него на цепочке от часов, и делал заметки на полях. За распахнутыми окнами сгущались летние сумерки; тиканье часов, отдаленный шум уличного движения на Бейсуотер-стрит и шелест переворачиваемых отцом страниц были единственными звуками. Поначалу объявив себя банкротом, я счел разумным воздержаться от курения сигары, но теперь, отчаявшись, сходил в свою комнату и принес одну гавану. Отец даже не взглянул в мою сторону. Я обрезал ее, закурил и, подкрепив свою храбрость, сказал:

— Папа, ты ведь не хочешь, чтобы я прожил у тебя все каникулы?

— А? Что?

— Разве тебе не осточертеет за столько времени мое общество?

— Надеюсь, я никогда не обнаружил бы подобных чувств, даже если бы их испытывал, — кротко ответил отец и вновь погрузился в чтение.

Вечер прошел. Из всех углов часы разнообразных систем мелодично пробили одиннадцать. Отец закрыл книгу и снял очки.

— Здесь тебе всегда очень рады, мой мальчик, — сказал он. — Живи сколько хочешь.

В дверях он замедлил шаги и обернулся.

— Твой кузен Мельхиор заработал себе проезд в Австралию „на баке“ (сопение). Что это за бак, интересно было бы знать?

В течение последовавшей знойной недели отношения мои с отцом резко ухудшились. Днем я почти не видел его; он часами отсиживался у себя в библиотеке, только изредка делая вылазки, и тогда я слышал, как он кричит с лестницы: „Хейтер, вызовите мне кэб!“ Уезжал он иногда на полчаса и даже меньше, иногда на весь день; что у него были за дела, не объяснял. Случалось, я видел, как ему в библиотеку относили на подносе

убогие детские лакомства: сухарики, стакан молока, бананы. Если мы сталкивались в коридоре или на лестнице, он рассеянно смотрел на меня и бормотал: „Да-да“, или „Очень жарко“, или „Чудесно, чудесно“. Но вечером, спускаясь в зимний сад в своей бархатной куртке, он весьма вежливо со мною здоровался.

Обеденный стол был полем нашего сражения.

Во второй вечер я взял с собой к столу книгу. Его рассеянный, кроткий взгляд остановился на ней с внезапным интересом, и по пути в столовую он украдкой оставил свою на столике в прихожей. Когда мы сели за стол, он жалобно сказал:

— Право, Чарльз, ты мог бы и поговорить со мной. У меня был очень трудный день, и я надеялся отдохнуть за приятной застольной беседой.

— Конечно, папа, пожалуйста. О чем мы будем разговаривать?

— Ободри меня. Развлеки, — с обидой в голосе, — расскажи о новых спектаклях.

— Но ведь я не был ни на одном.

— И напрасно, вот что я тебе скажу, нужно ходить. Это неестественно, когда молодой человек все вечера проводит дома.

— Но, папа, я же объяснял тебе, что у меня нет денег на театры.

— Мой дорогой, не следует так подчиняться денежным соображениям. Подумай только, твой кузен Мельхиор в этом возрасте принимал участие в финансировании целого музыкального спектакля. Это было одно из его немногих удачных предприятий. Посещение театра тебе следует рассматривать как составную часть образования. Если ты посмотришь жизнеописания выдающихся людей, окажется, что не меньше половины из них впервые познакомились с драмой, стоя на галерее. Мне говорили, что это ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно там встречаются настоящие ценители и критики. Это так и называется: „в эмпиреях с богами“. Расходы пустячные, а развлечения начинаются еще на улице, при входе, когда ты оказываешься в толпе истинных театралов. Как-нибудь мы с тобой вместе проведем вечер „в эмпиреях с богами“. Как ты находишь стряпню миссис Эйбл?

— Без перемен.

— Она вдохновлена твоей теткой Филиппой. Твоя тетка составила десять вариантов меню, которые и выполняются неукоснительно. Когда я один, я не замечаю, что ем, но теперь, когда здесь ты, необходимо внести разнообразие. Чего бы тебе хотелось? На какие деликатесы сейчас

сезон? Раков ты любишь? Хейтер, скажите миссис Эйбл, чтобы она приготовила нам завтра вечером раков.

В тот вечер обед состоял из белого безвкусного супа, пережаренного рыбного филе под розовым соусом, бараньих котлет, уложенных вокруг горки картофельного пюре, и желе с персиками на каком-то губчатом пироге.

— Я обедаю так основательно только из уважения к твоей тетке Филиппе. Она постановила, что обед из трех блюд — это мещанство. „Стоит только дать слугам волю, — говорила она, — и сам не заметишь, как будешь есть на обед одну баранью котлету“. На мой вкус, ничего не может быть лучше. Я, собственно, так и поступаю, когда миссис Эйбл выходная и я обедаю в клубе… Но твоя тетка распорядилась, чтобы дома мне на обед подавался суп и еще три блюда; иногда это рыба, мясо и острая закуска, в других случаях — мясо, закуска, десерт; предусмотрен целый ряд допустимых перестановок. Замечательно, как некоторые люди умеют излагать свои мнения в лапидарной форме. У твоей тетки как раз был такой дар. Трудно себе представить, что когда-то она и я каждый вечер вместе обедали за этим столом — как мы сейчас с тобой, мой мальчик.

Вот она так неустанно старалась развлечь меня. Рассказывала мне о книгах, которые читала. Забрала себе в голову, что этот дом должен стать ее домом, видите ли. Считала, что у меня появятся странности, если я останусь один. Возможно, что они у меня и появились, как ты находишь? Но у нее ничего не вышло. В конце концов я ее выдворил.

В последних его словах явно слышалась угроза. Я оказался непрошеным гостем в родном доме, и во многом это произошло из-за тети Филиппы. После гибели моей матери она переселилась к нам с несомненным намерением сделать, как сказал отец, этот дом своим домом. Тогда я ничего не знал о ежевечерних терзаниях за обеденным столом. Тетя проводила время со мною, и я принимал это как должное. Так продолжалось год. Первым признаком перемены было то, что она открыла свой дом в Суррее, хотя раньше собиралась его продать, и стала жить в нем, пока я находился в школе, приезжая в Лондон только на несколько дней за покупками и по светским делам. Летом мы с нею вместе жили где-нибудь на побережье. Потом, когда я уже был в последнем классе, она уехала за границу. „Я ее выдворил“, — сказал он с насмешкой и торжеством про эту добрую

женщину, зная, что я услышу в его словах вызов самому себе.

Когда мы выходили из столовой, отец сказал:

— Хейтер, вы уже передали миссис Эйбл относительно раков, которые я заказал на завтра?

— Нет, сэр.

— И не передавайте.

— Очень хорошо, сэр.

Мы расположились в креслах в зимнем саду, и тогда он заметил:

— Интересно, собирался ли Хейтер вообще говорить миссис Эйбл про раков? Знаешь, я думаю, нет. Он, по-моему, решил, что я шучу.

На следующий день мне в руки неожиданно попало оружие. Я встретил старого школьного товарища и сверстника по фамилии Джоркинс. Я никогда не питал к нему особой симпатии. Однажды, еще во времена тети Филиппы, он был у нас к чаю, и она вынесла над ним приговор, найдя, что в душе он, быть может, и хороший человек, но внешне непривлекателен. Теперь я искренне ему обрадовался и пригласил к нам ужинать. Он пришел. Он нисколько не переменился. Отца, по-видимому, предупредили, что у нас к ужину гость, потому что вместо обычной бархатной куртки он явился во фраке; фрак и черный жилет

вместе с очень высоким воротничком и очень узким белым галстуком составили его вечерний костюм; он носил его с меланхолическим видом, словно придворный траур, надетый в молодости, пришедшийся по вкусу и с тех пор неснимаемый. Смокингов у него вообще не водилось.

— Добрый вечер, добрый вечер. Очень любезно с вашей стороны, что ради нас вы проделали такой путь.

— О, мне ведь недалеко, — ответил Джоркинс, который жил на Сассекс-сквер.

— Наука сокращает расстояния, — загадочно заметил отец. — Вы здесь по делам?

— Ну, я вообще-то занимаюсь делами, если вы об этом.

— У меня был кузен, тоже делец — вы его знать не могли, это было еще до вас. Я только на днях рассказывал о нем Чарльзу. В последнее время он у меня не выходит из головы. Так вот он, — отец сделал паузу перед непривычным выражением, — сел в лужу.

Джоркинс нервно хихикнул. Отец устремил на него укоризненный взгляд.

— Вы находите в его несчастье повод для смеха? Или, быть может, я употребил непонятное для вас выражение? Вы, я полагаю, сказали бы просто

„прогорел“.

Отец оказался полным хозяином положения. Он сочинил для себя, что Джоркинс — американец, и весь вечер вел с ним тонкую одностороннюю игру, объясняя ему всякий чисто английский термин, который встречался в разговоре, переводя фунты в доллары и любезно адресуясь к нему с фразами вроде:

„Разумеется, по вашим меркам…“, „Мистеру Джоркинсу это, без сомнения, покажется весьма провинциальным…“, „На огромных пространствах, к которым привыкли у вас…“, — а мой гость явно чувствовал, что его принимают за кого-то другого, но никак не мог устранить недоразумение. В течение всего ужина он искательно заглядывал отцу в глаза, надеясь найти в них простое подтверждение того, что это всего только изощренная шутка, но встречал взгляд, исполненный столь безмятежного добросердечия, что оставался сидеть совершенно обескураженный.

Один раз мне показалось, что отец зашел уж слишком далеко. Он сказал Джоркинсу:

— Боюсь, что, живя в Лондоне, вы очень скучаете без вашей национальной игры.

— Без моей национальной игры? — переспросил Джоркинс, сначала ничего не поняв, но потом

сообразив, что ему открывается наконец возможность поставить все на свои места.

Отец перевел с него на меня взгляд, ставший на мгновение из доброго злобным, потом обратил его, опять подобревший, на Джоркинса. Это был взгляд игрока, открывающего против фуля покер.

— Без вашей национальной игры, — любезно подтвердил он. — Я имею в виду крикет. — И безудержно засопел носом, весь трясясь и утирая глаза салфеткой. — Работа в Сити, вероятно, почти не оставляет вам времени на крикет?

На пороге столовой он с нами простился.

— Всего доброго, мистер Джоркинс, — сказал он. — Надеюсь, вы опять посетите нас, когда в следующий раз будете в нашем полушарии.

— Послушай, что это твой папаша тут наговорил? Ей-богу, он, кажется, считает меня американцем.

— У него бывают странности.

— Зачем он мне советовал сходить в Вестминстерское аббатство? Чудно как-то.

— Да. Я сам не всегда его понимаю.

— Ей-богу, мне показалось, что он меня разыгрывает, — озадаченно признался Джоркинс.

Контратака отца последовала через несколько

дней. Он разыскал меня и спросил:

— Мистер Джоркинс все еще здесь?

— Нет, папа, конечно, нет. Он был у нас только к ужину.

— Жаль, жаль. Я думал, что он у нас гостит. Такой разносторонний молодой человек. Но ты, я надеюсь, ужинаешь дома?

— Да.

— Я пригласил сегодня гостей, чтобы внести немного разнообразия в твое унылое домоседство. Как ты думаешь, миссис Эйбл справится? Нет, конечно. Но гости будут не очень придирчивы. Ядро, если можно так выразиться, составят сэр Катберт и леди Орм-Херрик. После ужина будут, надеюсь, музицировать. Я включил для тебя в число приглашенных кое-кого из молодежи.

Реальность превзошла опасения. По мере того как гости собирались в гостиной, которую мой отец, не боясь показаться смешным, именовал галереей, я убеждался, что их подбирали со специальной целью досадить мне. „Молодежью“ оказались мисс Глория Орм-Херрик, обучающаяся игре на виолончели, ее жених, лысый молодой человек из Британского музея, и мюнхенский издатель-моноглот. Я видел, как отец, сопя, поглядывал на меня из-за стеклянного шкафа с

керамикой. В тот вечер он носил на груди, точно рыцарский боевой значок, маленькую алую бутоньерку.

Ужин был длинный и явно рассчитанный, как и состав гостей, служить тонким издевательством. Меню не было произведением тети Филиппы, но восходило к гораздо более ранним временам, когда отец еще обедал в детской. Блюда отличались орнаментальностью и были попеременно одни красными, другие белыми. На вкус они и поданное к столу вино оказались одинаково пресны. После ужина отец подвел немца-издателя к роялю, а сам, пока тот музицировал, удалился с сэром Катбертом Орм-Херриком в галерею смотреть этрусского быка.

Это был вечер кошмаров, и, когда наконец гости разъехались, я с удивлением обнаружил, что еще только самое начало двенадцатого. Отец налил себе стакан ячменного отвара и заметил:

— Какие у меня, однако, скучные знакомые! Знаешь, если бы меня не побуждало твое присутствие, я едва ли раскачался бы пригласить их. В последнее время я вообще пренебрегал светскими обязанностями. Теперь, когда ты находишься здесь с таким долгим визитом, я буду часто устраивать подобные приемы. Понравилась ли тебе

мисс Орм-Херрик?

— Нет.

— Нет? Что же в ней вызвало твое неодобрение: маленькие усики или очень большие ноги? Потвоему, она приятно провела у нас время?

— Нет.

— Мне тоже так показалось. Боюсь, что никто из наших гостей не отнесет сегодняшний вечер к числу счастливейших в своей жизни. Этот молодой иностранец, по-моему, играл из рук вон плохо. Где я мог с ним познакомиться? С ним и с мисс Констанцией Сметуик? Ума не приложу. Но законы гостеприимства следует соблюдать. Пока ты здесь, ты у меня скучать не будешь.

В последующие две недели между нами развернулась война не на жизнь, а на смерть, и я нес в ней более тяжелые потери, потому что у отца было больше резервов и шире пространство для маневрирования, я же был заперт на узком плацдарме между горами и морем. Он не объявлял целей своих военных действий, и я до сего дня не знаю, были ли они чисто карательными — имелись ли у него геополитические соображения насчет того, чтобы выдворить меня за границу, как в свое время были выдворены тетя Филиппа в Бордигеру и кузен Мельхиор в Порт-

Дарвин, — или же, что более вероятно, он воевал просто из любви к сражениям, в которых он, надо признаться, блистал.

От Себастьяна я получил одно письмо — большой, бросающийся в глаза конверт; его подали мне при отце, когда мы сидели за завтраком, я заметил его любопытный взгляд и унес письмо с собою, чтобы прочесть в одиночестве. Оно было написано на листе плотной траурной почтовой бумаги времен королевы Виктории, с черными коронами и черным обрезом, и вложено в такой же конверт. Я с жадностью приступил к чтению.

„Замок Брайдсхед,
Уилтшир не знаю, какого числа
Дорогой Чарльз!

Я нашел целую пачку этой бумаги в глубине одного ящика и непременно должен написать Вам, так как я оплакиваю мою погибшую невинность. С самого начала видно было, что она не жилец на этом свете. Врачи давно отчаялись.

Я скоро уезжаю в Венецию и буду гостить у папы в его дворце зла. Жаль, что Вас не будет там со мною. Жаль, что Вас нет со мною сейчас.

Здесь я ни минуты не бываю один. Члены моего семейства постоянно приезжают, берут сундуки и чемоданы и снова уезжают, но белая малина уже поспела.

Я, пожалуй, не возьму Алоизиуса в Венецию. Не хочу, чтобы он якшался с невоспитанными итальянскими медведями и перенимал у них дурные манеры.

С приветом или чем угодно

С.“

Мне были знакомы его письма: я получал их еще в Равенне и теперь не должен был бы испытывать досады. Но в то утро, бросая в корзину разорванный надвое кусок плотной бумаги и печально глядя в окно на задымленные дворы и разномастные задние фасады Бейсуотера с их лабиринтом водосточных труб и пожарных лестниц, я видел перед своим мысленным взором лицо Антони Бланша, белеющее в листве деревьев, как оно белело в свете свечей Томского ресторана, и слышал в приглушенном шуме уличного движения его отчетливую речь: „…мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает придурковат… Его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину

под названием „Мыльные пузыри“.

Много дней после этого я считал, что ненавижу Себастьяна; потом, в одно прекрасное воскресенье, от него пришла телеграмма, разогнавшая эти тени, но взамен отбросившая тень еще мрачнее прежних.

Отец как раз отлучился из дому и, вернувшись, застал меня в состоянии лихорадочного возбуждения. Он остановился в холле, не сняв даже панамы с головы, и улыбался мне самым благожелательным образом.

— Вот уж не догадаешься, где я провел сегодня день. В зоопарке! Весьма приятное времяпрепровождение. Звери так радуются солнцу.

— Папа, я должен немедленно уехать.

— Вот как?

— Мой большой друг… с ним случилось ужасное несчастье. Я должен срочно ехать к нему. Хейтер уже пакует мои вещи. Через полчаса поезд.

И я показал ему телеграмму, в которой стояло: „Искалечен срочно приезжайте Себастьян“.

— Н-да, — сказал мой отец. — Сожалею, что ты так расстроен. По этой телеграмме я бы не сказал, что несчастье столь уж велико, как оно тебе представляется, — в противном случае она едва ли была бы подписана самим пострадавшим. Но ко-

нечно, вполне возможно, что он в сознании и при этом слеп или лежит с переломанным позвоночником. А почему, собственно, твое присутствие так необходимо? Ты не обладаешь медицинскими познаниями, не носишь духовного сана. Ты что, имеешь виды на наследство?

— Я же сказал, что это мой большой друг.

— Ну, Орм-Херрик тоже мой большой друг, но я бы не ринулся сломя голову к его смертному одру в такой солнечный воскресный день. Едва ли леди Орм-Херрик была бы мне особенно рада. Однако ты, как я вижу, не испытываешь сомнений. Мне будет недоставать тебя, мой дорогой мальчик, но из-за меня, пожалуйста, не торопись обратно.

Паддингтонский вокзал в этот августовский воскресный вечер, залитый косыми лучами солнца, пробивающимися сквозь запыленную стеклянную крышу, с запертыми газетными киосками и редкими пассажирами, не спеша шагающими в сопровождении носильщиков, непременно успокоил бы душу менее взволнованную, чем моя. Поезд отошел почти пустой. Я велел поставить чемодан в угол в третьем классе, а сам отправился в вагон-ресторан.

— Первая очередь ужинов после Ридинга, сэр,

в начале восьмого. Что прикажете вам пока подать?

Я заказал джин с вермутом; мне подали, и в это время поезд тронулся; ножи и вилки затеяли свой обычный перезвон; солнечный пейзаж поплыл, разворачиваясь, за окном. Но душа моя была невосприимчива к этим приятным впечатлениям; страх бродил в ней, подобно дрожжевой закваске, и наверх, пузырясь, выскакивали картины несчастья. То это было заряженное ружье, неосторожно оставленное у живой изгороди; то лошадь, взвившаяся на дыбы и опрокинувшаяся на спину; то полузатопленная коряга в тенистом пруду; то внезапно обломившийся сук старого вяза или автомобиль, врезавшийся в стену, — целый каталог опасностей цивилизованного мира неотступно вставал передо мною; я даже рисовал себе маниакального убийцу, в темноте замахнувшегося обрезом свинцовой трубы. Нивы и леса проносились за окном, залитые медвяным вечерним солнцем, а у меня в ушах перестук колес настойчиво твердил одно:

„Ты поздно приехал! Ты поздно приехал! Его уже нет! Уже нет! Нет!“

Я поужинал, пересел на уилтширскую ветку и в сумерках прибыл на станцию моего назначения

— Мелстед Карбери.

— В Брайдсхед, сэр? Пожалуйте туда. Леди Джулия ждет вас на вокзальной площади.

Она сидела за рулем открытой машины. Я узнал ее с первого взгляда, ошибиться было невозможно.

— Вы мистер Райдер? Садитесь! Ее голос был голосом Себастьяна, и манера речи была тоже его.

— Как он?

— Себастьян? Прекрасно. Вы ужинали? Ну, все равно, наверное, что-нибудь несъедобное. Мы с Себастьяном одни, поэтому решили с ужином подождать вас.

— Что с ним случилось?

— А разве он не написал? Наверное, побоялся, что вы не приедете, если будете знать. Он сломал какую-то косточку в лодыжке, такую малюсенькую, что у нее даже нет названия. Но вчера ему сделали просвечивание и велели целый месяц держать ногу кверху. Ему это ужасно досадно, полетели все его планы. Он просто вне себя от огорчения… Все разъехались. Он хотел, чтобы я с ним осталась. Вы ведь знаете, как он умеет разжалобить. Я уже было согласилась, но в последнюю минуту мне пришло в голову: „Неужели ты никого не можешь к себе выписать?“ Он сказал, что все

заняты или уехали и вообще нет никого подходящего. В конце концов он согласился попытать счастья с вами, а я обещала, что останусь, если и это не получится, так что можете себе представить, как я рада вашему прибытию. Должна признать, это очень благородно с вашей стороны — приехать так издалека по первому зову.

Но когда она произносила эти слова, я услышал — или вообразил, будто слышу, — в ее голосе еле различимую нотку презрения за то, что я проявил такую безотказную готовность к услугам.

— Как это с ним случилось?

— Представьте, во время игры в крокет. Он разозлился и в сердцах споткнулся о дужку. Не бог весть какое почетное увечье.

Она была так похожа на Себастьяна, что рядом с нею в сгущающихся сумерках меня смущала двойная иллюзия — знакомого и незнакомого. Так, глядя в сильный бинокль на человека, находящегося на большом расстоянии, видишь до мельчайших подробностей его лицо и одежду, и кажется, протяни руку, и ты его достанешь, и странно, почему он не слышит тебя и не оглядывается, а потом, посмотрев на него невооруженным глазом, вдруг спохватываешься, что ты для него лишь едва различимая точка, неизвестно даже,

человек или нет. Я знал ее, а она меня не знала. Ее темные волосы были не длиннее, чем у Себастьяна, и ветер так же раздувал их со лба; ее глаза, устремленные на сумеречную дорогу, были его глазами, только больше, а накрашенный рот не так приветливо улыбался миру. На запястье у нее был браслет с брелоками, в ушах — золотые колечки. Из-под светлого пальто выглядывал цветастый шелковый подол, юбки тогда носили короткие, и ее вытянутые ноги на педалях автомобиля были длинными и тонкими, что тоже предписывалось модой. Ее пол воплощал для меня всю разницу между знакомым и незнакомым в ней, и потому я ощущал ее особенно женственной, как никогда еще не ощущал ни одну женщину.

— Ужасно боюсь водить машину вечером, — сказала она. — Но дома, кажется, не осталось никого, кто бы умел водить автомобиль. Мы с Себастьяном просто как на зимовке. Надеюсь, вы не ожидали застать здесь веселое общество?

Она потянулась к ящику на переднем щитке за пачкой сигарет.

— Нет, спасибо.

— Прикурите для меня, если не трудно.

Ко мне впервые в жизни обратились с подобной

просьбой, и вынимая из своего рта курящуюся сигарету и вкладывая ей в губы, я услышал тонкий, как писк летучей мыши, голос плоти, различимый только для меня одного.

— Спасибо. Вы здесь уже были. Няня рассказала. Мы обе нашли очень странным, что вы не остались выпить со мной чаю.

— Это Себастьян.

— Вы, кажется, слишком уж позволяете ему командовать собой. И напрасно. Ему это вредно.

Мы уже свернули на подъездную аллею; свет померк в небе и на лесистых склонах, и дом темнел, словно рисованный тушью, только в середине светился золотой квадрат раскрытой двери. Навстречу вышел человек и взял мой багаж.

— Вот и приехали.

Она поднялась со мной по ступеням, вошла в холл, швырнула пальто на мраморный столик и наклонилась погладить выбежавшую к ней собаку.

— С Себастьяна станется, что он уже сел ужинать. В этот момент в дальнем конце холла между двух колонн появился Себастьян в инвалидном кресле. Он был в пижаме и халате, и одна нога у него была забинтована.

— Ну вот, дорогой, привезла тебе твоего дружка, — сказала Джулия опять с едва слышной ноткой презрения в голосе.

— Я думал, вы при смерти, — проговорил я, ощущая в эту минуту, как и все время, с тех пор как приехал, не облегчение, а главным образом досаду, что не состоялась великая трагедия, к которой я мысленно подготовился.

— Я и сам так думал. Боль была невыносимая. Джулия, как по-твоему, если ты попросишь, может быть, Уилкокс даст нам сегодня шампанского?

— Терпеть не могу шампанское, да и мистер Райдер уже ужинал.

— Мистер Райдер? Мистер Райдер пьет шампанское в любое время дня и ночи. Понимаешь, когда я смотрю на свою огромную запеленутую ногу, мне все время представляется, будто у меня подагра, и поэтому очень хочется шампанского.

Мы ужинали в комнате, которую они называли „Расписная гостиная“. Это был просторный восьмиугольник более поздней отделки, чем остальной дом, его восемь стен украшали венки и медальоны, а по высокому своду потолка пасторальными группами располагались условные фигуры помпейских фресок. Эти фрески, и мебель

атласного дерева с бронзой, и ковер, и золоченые висячие канделябры, и зеркала, и светильники — все вместе составляло единую композицию, законченное произведение великолепного мастера.

— Мы обычно ужинаем здесь, когда никого нет, — сказал Себастьян. — Здесь так уютно.

Они ужинали, а я съел персик и рассказал им о войне, которую вел с отцом.

— По-моему, он душка, — сказала Джулия. — А теперь, мальчики, я вас покину.

— Куда это ты?

— В детскую. Я обещала няне последнюю партию в „уголки“.

Она поцеловала Себастьяна в макушку. Я распахнул перед нею двери.

— Покойной ночи, мистер Райдер, и до свидания. Завтра мы, наверно, не увидимся. Я уезжаю рано утром. Не могу передать, как я вам признательна, что вы сменили меня у постели больного.

— Моя сестра сегодня что-то уж очень напыщенно выражается, — заметил Себастьян, когда она исчезла.

— Мне кажется, я ей не нравлюсь, — сказал я.

— Ей никто особенно не нравится. Я ее люблю.

Она ужасно на меня похожа.

— Правда?

— Внешне, разумеется, и манерой говорить. Я бы не мог любить человека, который похож на меня характером.

Мы допили портвейн, и я прошел рядом с креслом Себастьяна через холл с колоннами в библиотеку, где мы просидели весь тот вечер и почти все вечера последовавшего месяца. Она была расположена в дальнем конце дома, обращенном к прудам; все окна здесь были распахнуты звездам, и ночным ароматам, и сине-серебристому лунному свету, заливающему дали, и плеску падающей воды в фонтане.

— Мы чудесно будем жить здесь одни, — сказал Себастьян, и, когда на следующее утро я, бреясь, выглянул в окно своей ванной и увидел, как Джулия в автомобиле с багажом на запятках выехала со двора и вскоре скрылась за холмом, не бросив назад ни единого прощального взгляда, меня посетило чувство освобождения и покоя, подобное тому, что мне предстояло испытать много лет спустя, когда после тревожной ночи сирены выли „отбой“.

Глава четвертая

Блаженная лень молодости! Как неповторима она и как важна. И как быстро, как невозвратимо проходит! Увлечения, благородные порывы, иллюзии, разочарования — эти признанные атрибуты юности остаются с нами в течение всей жизни. Из них составляется самая жизнь; но блаженное ничегонеделание — отдохновение еще не натруженных жил, огражденного, внутрь себя обращенного ума — принадлежит только юности и умирает вместе с ней. Быть может, в чертогах чистилища души героев одаряются им взамен райского блаженства; в котором им отказано, быть может, самое райское блаженство имеет нечто общее с этим земным состоянием; я, во всяком случае, ощущал себя почти на небесах все те блаженные дни в Брайдсхеде.

— Почему этот дом зовется „Замок“?

— Он и был замком, пока его не перенесли.

— То есть как это?

— Да так. У нас был замок, он стоял в миле отсюда, рядом с деревней. Потом нам приглянулась эта долина, мы разобрали замок, перевезли сюда камни и здесь построили новый дом. Я этому

рад. А вы?

— Если бы он был мой, я не жил бы больше нигде.

— Но, Чарльз, он ведь не мой. Сейчас, правда, он принадлежит мне, но обычно в нем кишат алчные звери. Вот если бы так могло быть всегда — всегда лето, всегда ни живой души, и фрукты созрели, и Алоизиус в хорошем настроении…

Вот так мне нравится вспоминать его — в инвалидном кресле, среди летнего великолепия обследующим вместе со мною заколдованный замок, нравится вспоминать, как он катит свое кресло по садовым дорожкам между двумя рядами вечнозеленого кустарника, разыскивая поспевшую клубнику и срывая теплые фиги, как протискивается из теплицы в теплицу, из аромата в аромат, из климата в климат, чтобы срезать гроздь мускатного винограда и выбрать орхидеи для наших бутоньерок, как он с притворным трудом ковыляет вверх по лестнице в бывшую детскую и сидит там рядом со мной на вытертом цветастом ковре, разложив вокруг по полу все содержимое старого ящика для игрушек, а няня Хокинс мирно штопает в углу и негромко говорит: „Хороши, что один, что другой! Малые дети, право. Этому, что ли, вас в колледже учат?“ Или

как он лежит навзничь на разогретой каменной ступени колоннады, а я сижу рядом на стуле и пытаюсь зарисовать фонтан.

— А купол тоже Иниго Джонса? По виду он более поздний.

— Ах, Чарльз, не будьте таким туристом. Не все ли равно, когда он построен? Важно, что он красивый.

— Меня такие вещи интересуют.

— О боже, я думал, мне удалось отучить вас от всего этого, непобедимый мистер Коллинз.

Жить в этих стенах, бродить по комнатам, переходить из Соуновской библиотеки в китайскую гостиную, где голова шла кругом от золоченых пагод и кивающих мандаринов, живописных свитков и чиппендейльской резьбы, из помпейского салона в большой, увешанный гобеленами зал, который простоял таким, каким был создан, вот уже два с половиной столетия, просиживать долгие часы на затененной террасе — все это служило само по себе бесценным эстетическим уроком.

Эта терраса была венцом, завершением всего здания, она выходила на пруды и покоилась на мощных каменных опорах, так что с порога казалось, будто она нависла прямо над водой и

можно, стоя у балюстрады, ронять камешки в пруд у себя под ногами. Справа и слева ее охватывали два крыла колоннады, завершающиеся павильонами, от которых липовые рощи уводили к лесистым склонам. Пол террасы местами был замощен плитами, в других местах были разбиты клумбы и причудливо расставлены ящики с карликовым буксом; букс повыше рос в виде живой изгороди широким овалом с углублениями, в которых стояли статуи, а посредине, главенствуя над всем, высился фонтан — фонтан, который должен был бы стоять где-нибудь на пьяцце южноитальянского города, фонтан, который и был столетие назад замечен в каком-то южноитальянском городе одним из предков Себастьяна, замечен, куплен, привезен и вновь установлен в чужом, но гостеприимном краю.

Мысль нарисовать его подал мне Себастьян. Задача не из легких для любителя — овальный бассейн с островком стилизованных скал посредине, на скалах росли каменные тропические растения и естественные веера дикого английского папоротника; меж ними лились несчетные струи ручьев, среди них резвились фантастические африканские звери, верблюды, жирафы, свирепый лев, и каждый изрыгал потоки воды;

а сверху, на скалах высотой почти до крыши дома, высился египетский обелиск из красного песчаника, — но по какому-то странному случаю, хоть это и было выше моих возможностей, рисунок удался, правда, я принужден был опускать некоторые детали и кое-где пойти на небольшие хитрости, но получилось в конце концов вполне приличное подражание Пиранези.

— Подарить вашей матери? — спросил я.

— Зачем? Вы же с ней не знакомы.

— Из вежливости. Я гощу в ее доме.

— Подарите лучше няне, — сказал Себастьян.

Я так и сделал, и она присоединила рисунок к своей коллекции на комоде, заметив при этом, что фонтан получился совсем как настоящий, хотя, в чем его красота, которой все так восторгаются, она лично, хоть убей, никогда не понимала.

Для меня его красота была открытием.

Со школьных лет, когда я разъезжал на велосипеде по окрестным приходам, разбирая надписи на древних надгробьях и фотографируя старинные купели, я питал любовь к архитектуре, но, хотя умом я давно сделал характерный для моего поколения скачок от пуританизма Джона Рескина к пуританизму Роджера Фрая, однако в душе

мои пристрастия оставались чисто английскими и средневековыми.

И вот теперь совершилось мое обращение в барокко. Здесь, под этим высоким и дерзким куполом, под этими ячеистыми потолками, здесь, гуляя под этими карнизами и арками, проходя по этой тенистой колоннаде и часами сидя перед этим фонтаном, ощупывая взглядом его затененные извилины, следуя мысленно за линиями его неумолчного эха и радуясь этим собранным воедино прихотливым дерзаниям и свершениям, я чувствовал, как во мне рождается новая способность восприятия, словно вода, бьющая и катящаяся среди его камней, была воистину живой водой.

Как-то в одном из шкафов мы нашли большую черную лакированную жестянку с масляными красками, еще вполне пригодными к употреблению.

— Это мама купила года два назад. Кто-то ей сказал, будто по-настоящему оценить красоту мира можно, только пытаясь изобразить ее. Мы над мамой тогда ужасно смеялись; Она совершенно не умеет рисовать, а краски, даже самые яркие, к тому времени, как она кончала их смешивать, превращались в однородную массу

цвета хаки. — Несколько высохших грязно-серых пятен на палитре подтверждали это. — Корделии поручалось мытье кистей. В конце концов мы все восстали и убедили маму бросить это занятие.

Краски подсказали нам мысль расписать „контору“. Так называлась небольшая комната, выходившая на колоннаду; когда-то она использовалась для ведения дел поместья, но теперь была в запустении, там стояли лишь ящики с садовыми играми да кадка с высохшим кустом алоэ; как видно, задумана она была для целей более высоких — для вечерних чаепитий или уединенных штудий, ибо оштукатуренные стены были украшены изящными медальонами в стиле рококо, а потолок красиво уходил вверх крестовым сводом. На стене этой комнаты в одном из небольших овалов я набросал романтический пейзажик и в последующие дни занялся его расцвечиванием. Работа эта по воле случая и настроения мне удалась. Кисть словно сама делала все, что от нее требовалось. Это был летний пейзаж без фигур, композиция из белых облаков и синих далей, с увитыми плющом руинами на переднем плане, скалами и водопадом и уходящими к горизонту купами деревьев. Я совсем не умел писать маслом и обучался этому ремеслу, по мере того как

работал. Когда по прошествии недели картинка была закончена, Себастьян стал настаивать, чтобы я поскорее взялся за медальон побольше. Я сделал несколько набросков. Ему хотелось, чтобы это был fete champetre[10] с качелями в лентах, и пажом-негритенком, и пастушком, играющим на свирели, но картина не выходила. Я хорошо сознавал, что с пейзажиком мне просто повезло и что такая сложная стилизация мне никак не по плечу.

В другой раз мы вместе с Уилкоксом спустились в винный подвал и видели пустые ниши, в которых некогда хранились огромные запасы вина. Теперь был заполнен только один трансепт, там в ларях покоились бутылки с вином, иные урожаев пятидесятилетней давности.

— Новых поступлений у нас не было со времени отъезда его светлости, — сказал Уилкокс. — Многие старые вина пора уже выпить. Нам следовало бы заложить восемнадцатый и двадцатый год. Я получил об этом несколько писем от виноторговцев, но ее светлость отсылает меня к лорду Брайдсхеду, а он отсылает к его светлости, а его светлость велит обращаться к адвокатам. Вот мы

---

[10] Примечания: 10
Деревенский праздник (франц.)

и дошли до такого состояния. По теперешнему расходу здесь хватит на десять лет, но что с нами будет потом?

Наш интерес Уилкокс приветствовал; были принесены бутылки из каждого ларя, и в эти безмятежные дни, проведенные в обществе Себастьяна, состоялось мое первое серьезное знакомство с вином и были посеяны семена той богатой жатвы, которой предстояло служить мне поддержкой и опорой в течение долгих бесплодных лет. Мы усаживались с ним в „Расписной гостиной“, перед нами на столе стояли три раскупоренные бутылки и по три бокала против каждого. Себастьян разыскал где то книгу о дегустации вин, и мы неукоснительно следовали всем ее наставлениям. Бокал слегка разогревали над пламенем свечи, на треть наполняли вином, вращая, взбалтывали, грели в ладонях, смотрели на свет, вдыхали аромат, осторожно потягивая, набирали в рот, перекатывали на языке, и вино звенело о небо, словно монета о прилавок, потом запрокидывали головы и ждали, пока оно стечет тонкой струйкой по горлу. А потом мы говорили о нем, заедая печеньем, и переходили к следующему вину; затем от него возвращались к первому, затем к третьему, и вот уже все три оказывались

в обращении, и мы путали бокалы и спорили, который из-под какого вина, и передавали их друг другу, и вот уже в обращении оказывалось шесть бокалов, иные из них содержали смесь, так как мы наполнили их по ошибке не из той бутылки, и в конце концов мы принуждены были начинать сначала, взяв опять по три чистых бокала, и бутылки пустели, а наши высказывания о их содержимом становились вдохновенней и прихотливей. …Это вино робкое и нежное, как газель…

— Как малютка эльф. …вся в белых яблоках на гобеленовом лугу. — Как флейта над тихой рекой.

— …А это старое мудрое вино.

— Пророк в пещере.

— …А это жемчужное ожерелье на белой шее.

— Как лебедь.

— Как последний единорог.

Мы покидали золотой свет свечей нашей столовой ради света звезд на террасе и сидели на краю фонтана, остужая ладони в воде и пьяно слушая ее плеск и журчанье среди искусственных скал.

— По-вашему, обязательно нам каждый вечер напиваться? — спросил меня как-то утром Себастьян.

— По моему, обязательно.

— И по моему, тоже.

Мы почти ни с кем не виделись. Несколько раз на нашем пути встречался управляющий, тощий дряблокожий джентльмен в чине полковника. Один раз он даже был к чаю. Но обычно нам удавалось прятаться от него. По воскресеньям из близлежащего монастыря приезжал монах, служил мессу и оставался с нами завтракать. Это был первый мой знакомый католический священник; я заметил, как сильно он отличается от пастора, но Брайдсхед был полон для меня такого очарования, само собой разумелось, что все здесь должно быть необыкновенным и ни на что не похожим; отец Фиппс оказался, в сущности, простым и добродушным человечком, питавшим живейший интерес к местному крикету и упрямо полагавшим, несмотря на разуверения, что мы его разделяем.

— А ведь знаете, отец, мы с Чарльзом не имеем о крикете ни малейшего представления.

— Хотелось бы мне посмотреть, как Теннисон в прошлый четверг выбил пятьдесят восемь. Вот это, верно, был удар! В „Таймсе“ был прекрасный репортаж. Вы видели его в матче против южноафриканцев?

— Нет, я его вообще никогда не видел.

— Я тоже. Уже много лет не видел хорошего матча, последний раз отец Грейвз повел меня, когда мы возвращались через Лидс из Эмплфорта, где присутствовали при рукоположении нового настоятеля. А в Лидсе в тот день играли с Ланкаширом, и отец Грейвз высмотрел такой поезд, что в нашем распоряжении оставалось добрых три часа до пересадки. Вот это была игра! Я помню каждую подачу. А с тех пор все только слежу по газетам. Вы часто бываете на крикете?

— Никогда не бываю, — ответил я, и он посмотрел на меня с тем детским недоумением, которое я впоследствии не раз встречал на лицах религиозных людей: мол, вот человек подвергает себя опасностям мирской жизни, а так мало пользуется ее многообразными радостями.

Себастьян всегда ходил к мессе, хотя больше там почти никто не присутствовал. Брайдсхед не был старинным католическим центром. Леди Марчмейн привезла с собой нескольких слуг-католиков, но большинство домочадцев и все арендаторы, если вообще молились, то в серой деревенской протестантской церквушке, среди могильных плит Флайтов.

В те времена вера Себастьяна была для меня

тайной, но разгадывать ее меня не тянуло. Сам я был чужд религии. В раннем детстве меня водили в церковь по воскресеньям, в школе я каждый день присутствовал на молебнах, но зато, когда я приезжал на каникулы домой, мне разрешалось не ходить в церковь по воскресеньям. Учителя, преподававшие закон божий, внушали мне, что библейские тексты крайне недостоверны. Никто никогда не предлагал мне молиться. Отец в церковь не ходил, если не считать дней особых семейных событий, но даже и тогда не скрывал своего издевательского отношения к обрядам. Мать, как я понимаю, была набожной. Мне в свое время казалось странным, что она сочла долгом оставить отца и меня и поехать на санитарной машине в Сербию, чтобы там погибнуть от истощения в снегах Боснии. Но позже я открыл нечто подобное и в своем характере. Позже я также пришел к признанию того, о чем тогда, в 1923 году, не считал нужным даже задуматься, и принял сверхъестественное как реальность. Но в то лето в Брайдсхеде эти потребности были мне неведомы.

Часто, едва ли не каждый день с начала нашего знакомства какое-нибудь случайное слово в разговоре напоминало мне, что Себастьян — ка-

толик, но я относился к этому, как к чудачеству вроде его плюшевого мишки. Мы не говорили о религии, но однажды в Брайдсхеде, на второй неделе моего там пребывания, когда мы сидели на террасе после ухода отца Фиппса и просматривали воскресные газеты, Себастьян вдруг удивил меня, со вздохом сказав:

— О господи, как трудно быть католиком.

— Разве это для вас имеет значение?

— Конечно. Постоянно.

— Вот не замечал. Вы что же, боретесь с соблазнами? По-моему, вы не добродетельнее меня.

— Я гораздо, гораздо порочнее вас, — с негодованием возразил Себастьян.

— В чем же тогда дело?

— Кто так молился: „Боже, сделай меня добродетельным, но не сегодня“? Не помните?

— Нет. Вы, наверное.

— Я-то конечно. Каждый вечер. Но не в этом дело. — Он снова вернулся к разглядыванию страниц „Всемирных новостей“. — Опять скандал с вожатым бойскаутов.

— Вас, наверно, заставляют верить во всякую чепуху.

— А точно ли это все чепуха? Мне иногда она кажется до жути разумной.

— Но дорогой Себастьян, не можете же вы всерьез верить во все это?

— Во что?

— Ну, вот в Рождество, и звезду, и волхвов, и быка с ослом.

— Нет, отчего же, я верю. По-моему, это красиво.

— Но нельзя же верить во что-то просто потому, что это красиво.

— Но я именно так и верю.

— И в молитвы верите? Что можно стать на колени перед статуей и произнести несколько слов — не обязательно даже вслух, а просто в уме — и этим изменить погоду? Или что одни святые более влиятельны, чем другие, и нужно правильно выбрать святого для каждого дела?

— Да, конечно. Помните, в прошлом семестре я брал с собою Алоизиуса и оставил неизвестно где? Я все утро молился как сумасшедший святому Антонию Падуанскому, и сразу же после обеда я сталкиваюсь в Кентерберийских воротах с мистером Николсом, и у него в руках Алоизиус, и он говорит, что, оказывается, я забыл его у него в пролетке.

— Ну хорошо, — сказал я, — если вы способны верить во все это и не стремитесь быть доб-

родетельным, в чем же тогда трудность быть католиком?

— Раз вы не понимаете, то, значит, и не поймете.

— Нет, но все-таки?

— Ах, Чарльз, не будьте таким нудным. Я хочу прочитать про женщину из Гулля, которая употребляла инструмент.

— Вы сами начали разговор. Я только успел заинтересоваться.

— Больше не обмолвлюсь ни словом… При рассмотрении дела было принято в соображение тридцать восемь аналогичных случаев, и приговор — шесть месяцев. Вот это да!

Но он обмолвился еще раз — дней через десять, когда мы лежали на крыше, принимали солнечные ванны и смотрели в телескоп на аграрную выставку, устроенную внизу под нами, в парке. Это была скромная двухдневная выставка для жителей соседних приходов, давно утратившая значение как центр серьезной конкуренции и сохранившаяся лишь в качестве ярмарки и местного праздника. Был выгорожен флагами широкий круг и по краю разбиты палатки разных размеров; здесь же установили судейскую трибуну и сколотили несколько загонов для скота;

под самым большим навесом был устроен буфет, и там собирались местные фермеры. Подготовительные работы шли целую неделю. „Придется нам спрятаться, — сказал Себастьян, когда подошел назначенный день. — Завтра приедет мой брат. Он здесь самый главный“. И мы залегли на крыше за балюстрадой.

Брайдсхед приехал с утренним поездом и позавтракал с полковником-управляющим. Мы вышли к нему поздороваться. Описание Антони Бланша оказалось удивительно точным: у него действительно было лицо Флайтов, высеченное скульптором-ацтеком. Теперь, в телескоп, нам видно было, как он неловко ходит среди арендаторов, останавливается, здоровается с членами жюри на трибуне, перегнувшись через загородку, разглядывает скот в загоне.

— Странная личность мой брат, — сказал Себастьян.

— Кажется вполне нормальным человеком.

— Да, но это только кажется. В сущности, он самый безумный из нас всех, просто по нему не заметно. А внутри он весь перекручен. Вы знаете, что он хотел стать священником?

— Откуда мне знать? Я думаю, у него это и теперь не прошло. Он чуть не стал иезуитом, когда

только вышел из Стонихерста. Для мамы это был страшный удар.

Отговаривать его она, понятно, не могла но это был ей просто нож острый. Что сказали бы люди — старший сын, и вдруг... Другое дело, если бы это был я. А бедному отцу каково? Он и без того настрадался от церкви. Ужасные это были дни — монахи и монсеньеры рыскали по комнатам, точно мыши, а Брайдсхед сидел хмурый и твердил про божью волю. Понимаете, он тяжелее всех нас переживал переезд отца за границу, по правде сказать, гораздо тяжелее, чем мама. В конце концов его уговорили поступить в Оксфорд и за три года все хорошенько обдумать. И теперь он в нерешительности. То говорит, что поступит в гвардию, то хочет в палату общин, то собирается жениться. Сам не знает, что ему нужно. Я, вероятно, был бы таким же, если бы учился в Стонихерсте. Я и должен был учиться там, только папа к этому времени уже уехал за границу, и первое его требование было, чтобы меня послали в Итон.

— А ваш отец отказался от религии?

— Ну, это, в общем-то, само собой получилось. Он ведь принял католичество, только когда женился на маме. А когда уехал, то оставил его, как

и всех нас. Вам надо с ним познакомиться. Он очень приятный человек.

Никогда до этого Себастьян не говорил серьезно о своем отце.

Я сказал:

— Вы, наверное, все тяжело пережили уход отца?

— Кроме Корделии. Она была совсем маленькая. Меня это потрясло совершенно. Мама попыталась нам, троим старшим, что-то объяснить, чтобы мы не возненавидели папу. Не возненавидел только я один. Мне кажется, ей это неприятно. Я был его любимцем. Я должен был бы теперь гостить у него, если бы не эта проклятая нога. Я только один к нему и езжу. Почему бы и вам не поехать со мною? Он бы вам понравился.

Внизу человек с рупором объявил результаты очередного соревнования; голос его слабо доносился до нас.

— Так что, как видите, у нас семья религиозно не однородная. Брайдсхед и Корделия — оба истые католики; он несчастен, она весела как птица; мы с Джулией полуязычники; я счастлив, Джулия, по-моему, нет; мама считается в обществе святой, папа отлучен от церкви, были ли он или она когда-либо счастливы, бог знает. И

вообще, как ни посмотри, к счастью все это имеет весьма отдаленное касательство, а мне только его и нужно… К сожалению, католики мне не особенно нравятся.

— По-моему, такие же люди, как все.

— Мой дорогой Чарльз, вот именно, что нет, совсем не такие, как все, особенно в этой стране, где их так мало. И дело не в том, что они составляют особую группу — в сущности говоря, их по меньшей мере четыре группы, занятые почти исключительно тем, чтобы порочить одна другую, — но у них совершенно особое отношение к жизни, и они придают значение совсем не тому, чему остальные. Они стараются по мере сил скрывать это, но секрет то и дело выходит наружу. Конечно, им ничего другого и не остается. Но полуязычникам вроде меня и Джулии приходится нелегко.

В этом месте наш необычно серьезный разговор был прерван громким детским голосом, раздавшимся где-то поблизости, за трубами:

— Себастьян! Себастья-ан!

— Боже милосердный! — пробормотал Себастьян, хватаясь за одеяло. — Кажется, это моя сестра Корделия. Скорее прикройтесь.

— Где вы?

Из-за труб появилась толстая румяная девочка лет десяти или одиннадцати; она имела те же фамильные черты, но в иной, менее выигрышной комбинации — откровенная дурнушка со вздернутым носом и двумя тугими старомодными косами за спиной.

— Уходи, Корделия. Мы не одеты.

— Отчего? У вас вполне приличный вид. Я так и догадалась, что вы здесь. А ты не знал, что я приехала, да? Я приехала вместе с Брайди и зашла проведать Фрэнсиса Ксавье. — Мне: — Это моя свинья. Потом мы завтракали с полковником Фендером, а потом было открытие выставки. Фрэнсис Ксавье был особо упомянут. А первую премию получил этот противный Рэндел со своей беспородной хрюшкой. Голубчик Себастьян, я так рада тебя видеть! Как твоя бедная нога?

— Поздоровайся сначала с мистером Райдером.

— Ой, простите. Здравствуйте, мистер Райдер. — В ее улыбке было все семейное обаяние. — Они там внизу все напились, вот я и ушла. Послушай, а кто это разрисовал контору? Я зашла за складным табуретом и увидела.

— Осторожней выражайся. Работа мистера Райдера.

— Но по-моему, это прелестно! Неужели правда

вы? Вот здорово. Послушайте, ну почему бы вам обоим не одеться и не спуститься вниз? Никого нет.

— Брайди непременно приведет членов жюри.

— Да нет же. Я слышала, он не собирается. Он сегодня ужасно не в духе. Не хотел, чтобы я ужинала вместе с вами, мы едва договорились. Ну, пошли. Когда примете пристойный вид, я буду в детской.

В тот вечер за столом собралась небольшая и сумрачная компания. Одна Корделия веселилась от души, радуясь вкусной еде, разрешению позже лечь спать, обществу братьев. Брайдсхед был тремя годами старше нас с Себастьяном, но казался человеком другого поколения. В его наружности были все те же семейные черты, и его улыбка в тех редких случаях, когда она появлялась, была так же обаятельна, как и у остальных; голос его был их голосом, но речь отличалась такой серьезностью и церемонностью, что, будь это мой кузен Джаспер, производила бы впечатление напыщенной и фальшивой, у него же, очевидно, была естественной и ненарочитой.

— Сожалею, что только теперь могу уделить вам внимание как нашему гостю, — сказал он мне. — За вами здесь хороший уход? Надеюсь,

Себастьян заботится о вине. Уилкокс, если дать ему волю, довольно прижимист.

— Он обошелся с нами очень щедро.

— Рад это слышать. Вы любите вино?

— Очень.

— А я, к сожалению, нет. Оно так сближает людей. В колледже Магдалины я неоднократно пытался напиться, но ни разу не испытал от этого удовольствия. А пиво и виски привлекают меня и того менее. Вследствие этого такие дни, как был сегодняшний, для меня мучительны.

— Я люблю вино, — сказала Корделия.

— Согласно последнему отзыву святых сестер, моя сестра Корделия не только наихудшая из теперешних учениц школы, но также наихудшая изо всех учениц на памяти старейшей из монахинь.

— Потому что я не захотела стать enfant de Marie[11]. Преподобная матушка сказала, что меня нельзя будет принять, если я не стану держать свою комнату в порядке, вот я и ответила, что я и не хочу даже и не верю, чтобы пресвятой деве было хоть сколечко интересно, ставлю я гимнастические туфли слева от бальных или наоборот.

---

[11] Примечания: 11
Дитя Марии (франц.)

Преподобная чуть не лопнула от злости.

— Пресвятой деве интересно, послушна ли ты.

— Не увлекайся богословием, Брайди, — сказал Себастьян. — Среди нас есть атеист.

— Агностик, — поправил я.

— В самом деле? У вас в колледже много таких? У нас в Магдалине их было изрядно.

— А у нас не знаю. Я стал тем, что есть, задолго до поступления в Оксфорд.

— Сейчас это всюду, — сказал Брайдсхед.

В тот день разговор все время возвращался к религии. Мы поговорили немного про выставку. Потом Брайдсхед сказал:

— Я видел на прошлой неделе в Лондоне епископа. Знаете, он хочет закрыть нашу часовню.

— Ой, что ты! — воскликнула Корделия.

— По-моему, мама ему не позволит, — заметил Себастьян.

— Наша часовня слишком отдаленная, — пояснил Брайдсхед. — Под Мелстедом живет десяток семейств, которым сюда не добраться. Он хочет открыть там центр богослужения.

— Но как же мы? — сказал Себастьян. — Неужели нам куда-то ездить зимой по утрам?

— У нас должны быть святые дары здесь, — заявила Корделия. — Я люблю заглядывать в

часовню в разное время дня. И мама любит.

— И я люблю, — сказал Брайдсхед. — Но нас очень мало. Другое дело, если бы мы были старый католический род и все в поместье ходили бы к обедне. Рано или поздно ее все равно придется закрыть, может быть, уже после мамы. Но вопрос в том, не лучше ли, чтобы это произошло теперь. Вот вы художник, Райдер, что вы думаете о ней с точки зрения эстетической?

— Я думаю, что она очень красивая! — со слезами на глазах воскликнула Корделия.

— По-вашему, это произведение искусства?

— Не вполне понимаю, какой смысл вы в это вкладываете, — насторожился я. — Я считаю ее замечательным образцом искусства своего времени. Очень возможно, что через восемь — десять лет ею будут восторгаться.

— Но не может же так быть, чтобы двадцать лет назад она была хороша и через восемьдесят лет будет хороша, а сейчас плоха?

Она, может быть, и сейчас хороша. Просто сегодня няне она не особенно нравится.

— Но разве, если вы считаете вещь хорошей, это не значит, что она вам нравится?

— Брайди, не будь иезуитом, — вмешался Себастьян, но я успел почувствовать, что наше

разногласие не только словесное, что между нами лежит глубокая, непреодолимая пропасть, мы не понимаем друг друга и никогда не сможем понять.

— Но ведь и вы, говоря о вине, допустили такое различие.

— Нет. Мне нравится и представляется хорошей цель, которой вино иногда служит: укрепление взаимных симпатий между людьми. Но в моем случае эта цель не достигается, поэтому вино мне не нравится и я не считаю его хорошим.

— Брайди, пожалуйста, перестань.

— Прошу прощения, — сказал он. — Мне эта тема показалась небезынтересной.

Слава богу, что я учился в Итоне.

После обеда Брайдсхед сказал:

— Боюсь, что мне придется увести Себастьяна на полчаса. Завтра я весь день буду занят и сразу после закрытия выставки должен уехать. А у меня накопилась гора бумаг, которые надо передать отцу на подпись. Себастьян должен будет их захватить и объяснить ему все на словах. Тебе пора спать, Корделия.

— Мне нужно сначала переварить ужин, — отозвалась она. — Я не привыкла так объедаться на ночь. Побеседую немного с Чарльзом.

— С Чарльзом? — одернул ее Себастьян. — Он для тебя не Чарльз, а мистер Райдер, дитя.

— Идемте же, Чарльз.

Когда мы остались одни, она спросила:

— Вы в самом деле агностик?

— А у вас в семье всегда целыми днями говорят о религии?

— Ну, не целыми днями. Но говорить об этом так естественно. Разве нет?

— Естественно? Для меня это вовсе не естественно.

— Ну, тогда вы, должно быть, и в самом деле агностик. Я буду молиться за вас.

— Вы очень добры.

— Все молитвы я за вас, к сожалению, прочесть не смогу Прочту только десяток. У меня такой длинный список людей, я их поминаю по очереди, и на каждого приходится десяток в неделю.

— Это, безусловно, гораздо больше, чем я заслуживаю.

— О, у меня есть и более безнадежные случаи. Ллойд Джордж, и кайзер, и Олив Банке.

— А это кто?

— Ее исключили из монастыря в прошлом семестре. За что, я точно не знаю. Что-то она такое писала, преподобная матушка у нее нашла. А

знаете, если бы вы не были агностиком, я бы попросила у вас пять шиллингов заплатить за черную крестную дочь.

— В вашей религии меня теперь ничем не удивишь.

— О, это один миссионер-священник в прошлом году придумал. Вы посылаете каким-то монахиням в Африку пять шиллингов, и они крестят черненького ребеночка и дают ему ваше имя. У меня уже есть шесть черных Корделий. Мило, правда?

Когда Брайдсхед с Себастьяном освободились, Корделию отправили спать. Брайдсхед вернулся к нашему разговору.

— Вы, конечно, правы, я понимаю, — сказал он. — Вы относитесь к искусству как к средству, а не как к цели. Это строго теологический подход, но для агностика необычный.

— Корделия обещала молиться за меня, — сказал я.

— Она девять дней молилась за свою свинью, — заметил Себастьян.

— Для меня все это крайне непривычно, — признался я.

— Кажется, мы ведем себя неподобающим образом, — заключил Брайдсхед.

В тот вечер я впервые осознал, как мало я, в сущности, знаком с Себастьяном и почему он все время старался не допускать меня в свою другую жизнь. Он был словно друг, с которым сошлись на пароходе в открытом море; и вот теперь мы прибыли в его родной порт.

Брайдсхед и Корделия уехали; в парке убрали палатки и флаги; вытоптанная трава снова постепенно зазеленела; месяц, начавшийся в блаженной лени, теперь стремительно приближался к концу. Себастьян уже ходил без палочки и забыл о своем увечье.

— Я считаю, что вы должны поехать со мною в Венецию, — сказал он.

— Денег нет.

— Это я уже обдумал. Там мы будем жить на папин счет. Дорогу мне оплачивают адвокаты — спальный вагон первого класса. На эти деньги мы оба можем доехать третьим.

И мы поехали; сначала медленным дешевым пароходом до Дюнкерка, сидя всю ночь под безоблачным небом на палубе и следя, как серый рассвет занимается над песчаными дюнами; затем, трясясь на деревянных скамьях, в Париж, где поспешили к „Лотти“, приняли ванну и побрились, пообедали у „Фойо“, где было жарко и

наполовину пусто, сонно побродили по магазинам и еще долго должны были сидеть в каком-то кафе, пока не настанет время отправления нашего поезда; потом пыльным теплым вечером шли на Лионский вокзал к отходу почтового на юг; и опять деревянные скамьи, вагон, в котором полно бедняков, едущих в гости к родственникам и снарядившихся в дорогу так, как принято у бедняков в Северной Европе: с бесчисленными узелками и с выражением покорности начальству на лицах, и матросов, возвращающихся из отпуска. Мы спали урывками, под толчки и остановки, среди ночи сделали пересадку, потом снова спали и проснулись в пустом вагоне, а в окнах мелькали сосновые леса, и вдали маячили горные вершины. Новые мундиры на границе, кофе и хлеб в станционном буфете, вокруг нас люди, по-южному живые и грациозные, и опять путь по широкой равнине, а в окнах вместо хвойных лесов — виноградники и оливковые рощи, пересадка в Милане, чесночная колбаса, хлеб и бутылка „Орвието“, купленные с лотка (мы потратили почти все наши деньги в Париже); солнце в зените и земля, затопленная зноем, вагон, наполненный крестьянами, приливающими и отливающими на каждой станции, и

тошнотворный запах чеснока в жарком вагоне. Наконец вечером мы приехали в Венецию.

На вокзале нас ожидала сумрачная фигура.

— Папин слуга Плендер.

— Я встречал экспресс, — сказал Плендер. — Его светлость думал, что вы по ошибке сообщили не тот номер поезда. Этот поезд значится только от Милана.

— Мы приехали третьим классом. Плендер вежливо поцокал языком.

— Вас дожидается гондола. Я с багажом приеду сразу же вслед на vaporetto[12]. Его светлость отправился в „Лидо“. Он не был уверен, что вернется к вашему приезду, то есть когда мы еще предполагали, что вы приедете экспрессом. Теперь он уже должен быть дома.

Он подвел нас к дожидавшейся лодке. Гондольеры были в бело-зеленых ливреях с серебряными бляхами на груди. Они улыбнулись и поклонились.

— Palazzo. Pronto[13].

---

[12] Примечания: 12
Катер (итал.)

[13] Примечания: 13
Во дворец Живо (итал.)

— Si, signore Plender[14]. И мы отплыли.

— Вы здесь бывали?

— Никогда.

— Я один раз уже был — приезжал морем. Но надо приезжать только так.

— Ecco ci siamo, signori[15].

Дворец был не столь грандиозен, как можно было ожидать, с узким ложноантичным фасадом, замшелыми ступенями и темной аркой из рустованного камня. Один из гондольеров спрыгнул на берег, привязал чалку к столбу и позвонил у дверей. Двери распахнулись; слуга в довольно безвкусной полосатой летней ливрее повел нас вверх по лестнице из полумрака на свет; стены piano nobile[16] в ярких солнечных лучах полыхали фресками школы Тинторетто.

Наши комнаты находились на втором этаже, куда вела крутая мраморная лестница; окна были загорожены ставнями, и сквозь щели пробивался горячий солнечный свет; дворецкий распахнул ставни, и открылся вид на Большой канал. Кро-

---

[14] Примечания: 14
Да, синьор Плендер (итал.)

[15] Примечания: 15
Вот мы и приехали, синьоры (итал.)

[16] Примечания: 16
Бельэтаж (итал.)

вати были завешены москитными сетками.

— Mostica[17] сейчас нет.

В обеих комнатах стояло по маленькому пузатому комоду с тусклым зеркалом в золоченой раме, и больше никакой мебели не было. Полы — голые мраморные плиты.

— Мрачновато, да? — сказал Себастьян.

— Мрачновато? Да вы только поглядите! Я подвел его к окну и к несравненному виду, открывавшемуся перед нами и вокруг нас.

— Нет, о мраке тут говорить не приходится… Ужасный взрыв заставил нас броситься в соседнее помещение. Там оказалась ванная, оборудованная, по-видимому, в бывшем камине. В ней не было потолка, а стены проходили насквозь через третий этаж и открывались прямо в небо. Облако пара почти скрыло дворецкого у старинной колонки. Сильно пахло газом, а из крана бежала тонкая струйка холодной воды.

— Плохи дела.

— Si, si, subito, signori![18]

Дворецкий выбежал на лестницу и стал что-то громко кричать вниз, ему отозвался женский

---

[17] Примечания: 17
Москиты (итал.)

[18] Примечания: 18
Здесь, сейчас, сейчас, синьоры (итал.)

голос, гораздо более пронзительный. Мы с Себастьяном вернулись к созерцанию вида из наших окон. Между тем переговоры подошли к концу, появились женщина и мальчик, они улыбнулись нам, бросили свирепый взгляд на дворецкого и поставили на комод к Себастьяну серебряный таз и такой же кувшин с крутым кипятком. Дворецкий тем временем распаковывал и складывал наши вещи и, перейдя на итальянский, толковал нам о непризнанных достоинствах старинной колонки. Вдруг он насторожился, склонил голову набок, промолвил: „Il marchese“ — и бросился вниз.

— Надо принять благопристойный вид для встречи с папой, — сказал Себастьян. — Смокинги не потребуются. Насколько я понимаю, он сейчас один.

Мне не терпелось поскорее увидеть лорда Марчмейна. Когда же я его наконец увидел, меня прежде всего поразила его обыкновенность, впрочем, как я убедился позже, нарочитая. Он, видимо, сознавал, что имеет байронический ореол, считал это дурным тоном и старался по возможности его скрыть. Он стоял на балконе, и, когда повернулся к нам, лицо его скрыла густая тень. Я видел только высокую, статную фигуру.

— Голубчик папа, — сказал Себастьян, — как ты молодо выглядишь!

Он поцеловал лорда Марчмейна в щеку, а я, который не целовал своего отца с тех пор, как вышел из детской, смущенно стоял сзади.

— А это Чарльз. Ведь верно, папа очень красив, Чарльз? Лорд Марчмейн пожал мне руку.

— Тот, кто смотрел для вас расписание поездов, сделал ошибку, — сказал он, и голос его был голосом Себастьяна. — Такого поезда нет.

— Но мы на нем приехали.

— Быть не может. В это время есть только почтовый из Милана. А я был в „Лидо“. Я теперь по вечерам играю там в теннис с инструктором. Единственное время, когда не слишком жарко. Надеюсь, молодые люди, вам будет удобно наверху. Этот дом, кажется, выстроен в расчете на удобство только для одного человека, и человек этот — я. У меня комната размерами с этот зал и очень приличная гардеробная. Вторую просторную комнату взяла себе Кара.

Я был очарован простотой и свободой, с какими он говорит о своей любовнице; позднее я заподозрил, что это делалось нарочно, чтобы произвести на меня впечатление.

— Как она поживает?

— Кара? Прекрасно, надеюсь. Завтра утром она будет с нами. Поехала погостить к знакомым американцам, которые снимают виллу на Бренте. Где мы сегодня обедаем? Можно поехать в „Луна-отель“, но туда теперь с каждым днем набивается все больше англичан. Вам будет очень скучно, если мы останемся дома? Завтра Кара непременно захочет повезти вас куда-нибудь, а здешний повар, право же, превосходен.

Он отошел от балконной двери и теперь стоял в ярком вечернем свете, четко рисуясь на фоне алых штофных стен. У него было благородное, ухоженное лицо, именно такое, подумал я, каким он предназначил ему быть: слегка усталое, слегка сардоническое, слегка чувственное. Видно было, что человек в расцвете жизни. Мне было странно представить себе, что он всего лишь несколькими годами моложе моего отца.

Мы сели обедать за мраморный стол между окнами, в этом доме все было либо мраморное, либо бархатное, либо тусклое, золоченое.

Лорд Марчмейн спросил:

— А как вы намерены провести здесь время? За купанием или осматриванием достопримечательностей?

— Кое-какие достопримечательности, надеюсь,

мы осмотрим, — ответил я.

— Каре это будет по душе. Она, как вам, несомненно, уже объяснил Себастьян, хозяйка этого дома. Совместить и то и другое вам, поверьте, не удастся. Стоит один раз попасть в „Лидо“, и кончено — садитесь за трик-трак, застреваете в баре, тупеете от зноя. Советую держаться церквей.

— Чарльз большой любитель живописи.

— Да? — Я услышал в его голосе отзвук глубочайшей скуки, которую так хорошо знал по своему отцу. — И у вас есть кто-то из венецианцев специально на примете?

— Беллини, — ответил я более или менее наобум.

— Да? Который же?

— Боюсь, я и не подозревал, что их двое.

— Трое, если уж быть точным. Вы убедитесь, что в великие эпохи живопись была делом преимущественно семейным. Ну, а как там Англия?

— Была прелестна, когда мы ее оставили, — ответил Себастьян.

— В самом деле? Моя трагедия в том, что я терпеть не могу английскую природу… Вероятно, это позор — владеть по наследству землей и не испытывать к ней восторженных чувств. Я именно таков, каким изображают нас социалисты, и моей

партии от меня только неприятности. Ну, да мой старший сын, без сомнения, все это исправит, если, разумеется, ему будет что наследовать… Не понимаю, почему это считается, что итальянские сладости так хороши. При дедушке в Брайдсхеде всегда был кондитер-итальянец. Только отец завел австрийца, и никакого сравнения. Ну а теперь, как я понимаю, там английская матрона с мясистыми локтями.

После обеда мы вышли на улицу и пошли лабиринтом мостов, площадей и переулков к „Флориану“ пить кофе. Взад и вперед у подножия колокольни неторопливо и важно двигались гуляющие толпы.

— Венецианская толпа — единственная в своем роде, — заметил лорд Марчмейн. — Город кишит анархистами, но на днях одна американская дама вздумала появиться здесь в туалете с большим декольте, и они ее прогнали одними взглядами, не издав ни звука; они отходили и возвращались, словно кружащиеся чайки, пока не вынудили ее встать и уйти. Наши соотечественники отнюдь не так величественно выражают моральное осуждение.

В эту минуту со стороны канала вошла компания англичан, направилась было к соседнему с

нами столику, но вдруг повернула и села в другом конце зала. Там они стали о чем-то беседовать, сблизив головы и с любопытством поглядывая в нашу сторону.

— Этого господина и его жену я близко знал, когда занимался политикой. Видный член твоей церкви, Себастьян. Когда мы в тот вечер уходили спать, Себастьян сказал:

— Он душка, верно?

На следующий день приехала любовница лорда Марчмейна. Я был тогда девятнадцатилетним юношей, не имевшим совершенно никакого понятия о женщинах. Я не отличил бы даже проститутку на панели. Поэтому оказаться под одной крышей с четой прелюбодеев было для меня небезразлично. Но я был достаточно взрослым, чтобы не показывать своего интереса. И любовница лорда Марчмейна застала меня исполненным множества разноречивых ожиданий касательно ее особы, ни одно из которых с ее появлением не оправдалось. Она не была ни сладострастной одалиской по Тулуз-Лотреку; ни „пухленькой малюткой“; она была немолодой, хорошо сохранившейся, хорошо одетой дамой с прекрасными манерами; я много раз встречал таких в обществе, а с некоторыми был даже зна-

ком. И клейма общественного остракизма на ней тоже как будто бы не было. В день ее приезда мы обедали в „Лидо“, и с ней здоровались из-за каждого столика.

— Виттория Коромбона приглашает нас всех в субботу к себе на бал.

— Очень любезно с ее стороны. Ты знаешь, что я не танцую, — ответил лорд Марчмейн.

— Но ради мальчиков! Это надо посмотреть — дворец Коромбона, освещенный для бала. Кто знает, много ли еще будет таких балов.

— Мальчики пусть поступают, как им угодно. А мы должны отклонить приглашение.

— И еще я позвала к завтраку миссис Хэкинг Бруннер. У нее очаровательная дочь. Она наверняка понравится Себастьяну и его другу.

— Себастьяна и его друга больше интересует Беллини, чем богатые наследницы.

— Но это как раз то, о чем я мечтала! — воскликнула Кара, сразу же изменив направление атаки. — Я была здесь несчетное количество раз, и Алекс не позволил мне даже заглянуть внутрь Святого Марка. Мы станем туристами, да?

И мы стали туристами; в качестве гида Кара привлекла какого-то знатного карлика-венецианца, перед которым были открыты все двери, и

в его сопровождении, с путеводителем в руке она пустилась в странствие вместе с нами, изнемогая порой, но не отступаясь, — скромная, прозаическая фигура на фоне грандиозного венецианского великолепия.

Две недели в Венеции промелькнули быстро, как сладкий сон — быть может, слишком сладкий; я тонул в меду, забыв о жале. Жизнь то двигалась вместе с гондолой, на которой мы покачивались, плывя по узким каналам под мелодичные птичьи окрики гондольера, то, ныряя, неслась с катером через лагуну, оставляя позади радужный пенный след; от нее остались воспоминания разогретого солнцем песка, и прохладных мраморных покоев, и воды, воды повсюду, плещущей о гладкие камни и отбрасывающей ярких зайчиков на расписные потолки; и ночного бала во дворце Коромбона, какие, быть может, посещал Байрон; и другой байронической ночи — когда ездили ловить scampi[19] на отмелях Chioggia и за пароходиком тянулся по воде фосфоресцирующий след, на корме раскачивался фонарь и невод поднимался на борт, полный водорослей, песка, бьющейся рыбы;

---

[19] Примечания: 19
Омаров (итал.)

и дыни с prosciutto[20] на балконе прохладными утрами; и горячих гренков с сыром и коктейлей с шампанским в баре у „Хэрри“.

Помню, как Себастьян сказал, взглянув на статую Коллеони:

— Грустно думать, что, как бы там ни сложились обстоятельства, нам с вами не придется участвовать в войне.

Но всего отчетливее я помню один разговор, состоявшийся незадолго до нашего отъезда.

Себастьян поехал с отцом играть в теннис, а Кара наконец призналась, что устала до изнеможения. И вот после обеда мы сидели с ней у окон, выходящих на Большой канал, она на диванчике с каким-то рукоделием, я в кресле, праздный. Впервые мы остались с глазу на глаз.

— Мне кажется, вы очень привязаны к Себастьяну, — сказала она.

— Разумеется.

— Я знаю эту романтическую дружбу у англичан и немцев. В латинских странах это не принято. По-моему, такие отношения превосходны, если только они не слишком затягиваются.

Она говорила так спокойно и рассудительно,

---

[20] Примечания: 20
Окороком (итал.)

что невозможно было обидеться; я не нашелся, как ей ответить. Она, видно, и не ждала ответа, а продолжала работать иглой, иногда останавливаясь и подбирая оттенки шелка, который доставала из рабочей корзинки.

— Любовь, которая приходит к детям, еще не понимающим ее значения. В Англии это бывает, когда вы уже почти взрослые мужчины; мне это даже нравится. По-моему, лучше, если такое чувство испытывают к мальчику, а не к девочке. Алекс вот испытывал его к девочке, к своей жене. Как вы думаете, он любит меня?

— Право, Кара, вы задаете совершенно невозможные вопросы. Ну откуда мне знать? Очевидно… — Нет, не любит. Ну нисколечко. А почему он остается со мной? Я скажу вам: потому, что я ограждаю его от леди Марчмейн. Ее он ненавидит, вы даже представить себе не можете, как он ее ненавидит. Кажется, такой спокойный, сдержанный английский милорд, слегка скучающий, с угасшими страстями, сохранивший одно желание — жить в комфорте вдали от всяких тревог, ездящий зимой на юг, а летом на север, и при нем — я, чтобы позаботиться о том, чего сам для себя никто сделать не может. Мой друг, ничего подобного. Это вулкан ненависти. Он не может

дышать одним воздухом с ней. Не желает ступить на английскую землю, потому что там живет она; ему и с Себастьяном трудно, потому что он — ее сын. Но Себастьян тоже ее ненавидит.

— Уверяю вас, здесь вы ошибаетесь.

— Возможно, он не признается в этом вам. Может быть, не признается даже самому себе, но они полны ненависти к своей семье. Алекс и его семья… Почему, вы думаете, он отказывается бывать в обществе?

— Я всегда полагал, что общество его отвергло…

— Мой дорогой мальчик, вы еще очень молоды. Чтобы общество отвергло такого красивого, образованного, богатого мужчину, как Алекс? Да никогда в жизни! Он сам всех распугал. Даже и теперь люди продолжают появляться у нас и неизменно встречают оскорбления и издевательства. А все из-за леди Марчмейн. Он не пожмет руки, которая касалась, быть может, ее руки. Когда у нас бывают гости, я так и вижу, как он думает: „Уж не прямо ли из Брайдсхеда они сюда? Не по пути ли в Марчмейн-хаус? Не вздумают ли рассказывать про меня моей жене? Не звено ли это, связующее меня с той, кого я ненавижу?“ Нет, серьезно, клянусь, именно так он и думает. Он бе-

зумец. И чем же она заслужила такую ненависть? Ничем, если не считать того, что была любима мужчиной, который еще не стал взрослым. Я не знакома с леди Марчмейн, я видела ее только один раз; но, когда живешь с человеком, узнаешь и ту, другую, женщину, которую он когда-то любил. Я знаю леди Марчмейн очень хорошо. Это простая и хорошая женщина, которую неправильно любили. Когда так страстно ненавидят, это значит, что ненавидят что-то в себе самих. Алекс ненавидит все иллюзии своего отрочества — невинность, бога, спасение души. Бедная леди Марчмейн должна за все это расплачиваться. У женщины не бывает столько разных любовей… Ну а ко мне Алекс очень привязан, я ведь ограждаю его от его собственной невинности. Нам хорошо вдвоем.

А Себастьян влюблен в собственное детство. Это принесет ему страдания. Его плюшевый мишка, его няня… И ведь ему девятнадцать лет… — Она приподнялась на диване, пересела так, чтобы в окно видны были проплывающие лодки, и сказала с насмешливым удовольствием: — До чего же хорошо сидеть в холодке и толковать про любовь, — и тут же добавила, опустившись с высот на землю: — Себастьян слишком много пьет.

— Мы оба этим грешим.

— Вы — другое дело. Я наблюдала за вами обоими. У Себастьяна все иначе. Он запьет горькую; если никто не вмешается. Я видела много таких на своем веку. Алекс тоже был почти горьким пьяницей, когда мы познакомились, это у них в крови. Видно по тому, как Себастьян пьет. Вы — совсем другое дело.

Мы приехали в Лондон за день до начала семестра. По пути от Черинг-Кросса я высадил Себастьяна во дворе материнского дома.

— Вот и Марчерс, — вздохнул он, и это означало сожаление об окончившихся каникулах. — Я вас не приглашаю, дом, наверное, полон моими родными. Увидимся в Оксфорде.

И я поехал через парк к себе домой.

Отец встретил меня, как обычно, с терпеливым сожалением на лице.

— Сегодня здравствуй, завтра прощай, — сказал он. — Я почти не вижу тебя. Ну, да наверно, тебе здесь скучно. Иначе и быть не может. Хорошо ли ты провел время?

— Очень. Я ездил в Венецию.

— Да-да. Конечно. И погода была хорошая? Когда после целого вечера безмолвствия мы пошли спать, отец остановился на лестнице и спросил:

— А этот твой друг, о котором ты так беспокоился, он умер?

— Нет.

— Слава богу. Я очень рад. Напрасно ты не написал мне об этом. Я так о нем волновался.

Глава пятая

— Как это по-оксфордски, — сказал я, — начинать новый год с осени.

Повсюду, в садах, на булыжниках, на гравии, на газонах лежали опавшие листья, и дым костров смешивался с влажным речным туманом, переползающим невысокие серые стены; каменные плиты под ногами лоснились, и золотые огни, один за другим загоравшиеся в окнах нашего двора, казались расплывчатыми и далекими; новые фигуры в новеньких мантиях бродили в сумерках под темными сводами, и знакомые колокола вызванивали память прошедшего года.

Осеннее настроение овладело нами обоими, словно буйное июньское веселье умерло вместе с левкоями у меня под окном, чей аромат теперь заменили запахи прелых листьев, тлеющих в куче в углу двора.

Было первое воскресенье нового семестра.

— Я чувствую, что мне ровно сто лет, — сказал Себастьян. Он приехал накануне, на день раньше, чем я, и это была наша первая встреча, с тех пор как мы расстались в такси.

— Сегодня со мной беседовал монсеньер Белл.

Это уже четвертая беседа после возвращения — с наставником, с заместителем декана, с мистером Самграссом из Всех Усопших и вот теперь с монсеньером Беллом.

— А кто такой мистер Самграсс из Всех Усопших?

— Один человек, состоит при маме. Они все говорят, что в прошлом году я очень плохо начал, что на меня обращено внимание и что, если я не исправлю своего поведения, меня исключат. Как это, интересно, исправляют свое поведение? Надо, наверно, вступить в Союз Лиги наций, каждую неделю читать „Изиду“, пить по утрам кофий в кафе „Кадена“ и курить большую трубку, играть в хоккей, таскаться пить чай на Кабаний холм и на лекции в Кибл, разъезжать на велосипеде с кипой тетрадей на багажнике, а вечерами пить какао и научно обсуждать вопросы пола. Ох, Чарльз, что произошло за время каникул? Я чувствую себя таким старым.

— Я чувствую себя пожилым. Это неизмеримо хуже. Кажется, мы уже получили здесь все, на что можно было рассчитывать.

Мы посидели молча при свете камина. Быстро стемнело.

— Антони Бланш ушел из университета.

— Почему?

— Пишет, что снял квартиру в Мюнхене. Он завязал там роман с полицейским.

— Мне будет недоставать его.

— Мне, я думаю, в каком-то смысле тоже.

Мы снова замолчали и так тихо сидели, не зажигая ламп, что человек, зашедший ко мне по какому-то делу, постоял минуту на пороге и ушел, подумав, что в комнате никого нет.

— Так нельзя начинать новый год, — сказал Себастьян; но тот мрачный октябрьский вечер овеял своим холодным влажным дыханием последующие дни и недели. Весь семестр и весь год мы с Себастьяном жили под тенью сгущающихся туч, и, словно фетиш, вначале спрятанный от глаз миссионера, а затем забытый, плюшевый медведь Алоизиус пылился на комоде в Себастьяновой спальне.

Мы оба переменились. Оба утратили чувство новизны, лежавшее в основе нашей прошлогодней анархии. Я начал остепеняться.

Мне, как ни странно, очень не хватало кузена Джаспера, который успешно сдал выпускные экзамены и теперь хлопотливо устраивался в Лондоне на смутьянское житье; без него мне некого было шокировать; сам колледж, каза-

лось, утратил без него свою солидность и теперь уже не вызывал на скандальные выходки, как минувшим летом. К тому же я возвратился пресытившийся и покаянный, твердо решившись умерить свой размах. Я не собирался больше давать пищу юмору отца; его эксцентричные преследования лучше любого выговора убедили меня в неразумности жизни не по средствам. Бесед со мной в этом семестре никто не проводил, успех на предварительном экзамене по истории, а также бетта с минусом за один из ре-фератов обеспечили мне хорошие отношения с моим наставником, которые я без лишних усилий и поддерживал.

Я сохранял связь с историческим факультетом, писал для них по два реферата в неделю, посещал иногда какую-нибудь лекцию. Кроме того, с начала второго курса я записался на Рескинский факультет искусств, мы собирались по утрам два или три раза в неделю (нас было человек двенадцать, из них по меньшей мере половина — дочери северного Оксфорда) среди слепков античных памятников Ашмолейского музея; дважды в неделю мы рисовали обнаженную натуру в маленькой комнате над чайной; были приняты меры, чтобы исключить на этих сеан-

сах непристойные помыслы, молодая женщина, позировавшая нам, приезжала из Лондона на один день и не имела права ночевать в университетском городе; помню, что бок, обращенный к железной печке, был розовый, а другой — в пятнах и пупырышках, словно ощипанный. Здесь, в чаду керосиновой лампы, мы сидели верхом на скамейках и делали беспомощные попытки вызвать призрак Трильби. Мои рисунки никуда не годились; дома я писал хитроумные миниатюры-стилизации, иные из которых, сбереженные моими тогдашними знакомыми, теперь иногда вдруг всплывают на свет, повергая меня в смущение.

Учил нас человек моего возраста, обращавшийся с нами с оборонительной враждебностью, он носил темно-синие рубахи, лимонно-желтый галстук и очки в роговой оправе, и, видя перед глазами такое предостережение, я стал постепенно изменять собственный стиль одежды, приблизившись наконец к тому, что кузен Джаспер счел бы подходящим для человека, гостящего в загородном доме. Так, найдя себе занятия по душе и костюм к месту, я сделался респектабельным членом своего колледжа.

У Себастьяна все складывалось иначе. У него

прошлогодняя анархия отвечала глубокой внутренней потребности бегства от реальности, и теперь, ощущая себя запертым со всех сторон, запертым и там, где он прежде пользовался свободой, он делался равнодушен и угрюм даже со мной.

В тот семестр мы почти все время проводили вдвоем, настолько оба поглощенные друг другом, что не испытывали нужды в других знакомствах. Кузен Джаспер предупреждал, что на втором курсе почти все время уделяют тому, чтобы отделаться от знакомых, приобретенных на первом, и именно так у нас и получилось. У меня почти все знакомые были общие с Себастьяном; и теперь мы вместе избавлялись от них, а новых не заводили. До ссор и разрывов не доходило. Поначалу мы встречались с ними так же часто, как и прошлый год, ходили к ним, когда нас приглашали, но сами устраивали пирушки все реже и реже. У меня не было желания красоваться перед новыми первокурсниками, которые дебютировали в свете, подобно своим лондонским сестрам; новые лица были теперь всюду, куда ни пойдешь, и я, еще полгода назад такой жадный до новых знакомств, чувствовал пресыщение; и даже наш узкий кружок близких друзей, недавно искрив-

шийся весельем в летнем свете солнца, как-то потускнел и притих в мглистом, ползущем с реки тумане, затянувшем для меня в тот год весь мир. Антони Бланш унес с собою что-то важное; запер на замок какую-то дверь и ключ повесил к себе на цепочку; теперь все его знакомцы, среди которых он всегда оставался чужим, больно ощущали его отсутствие.

Вот и кончился любительский спектакль; режиссер застегнул барашковый полушубок и получил гонорар, и безутешные дамы остались без своего руководителя. Лишенные его руководства, они не вовремя подают реплики и перевирают слова; он нужен им, чтобы позвонить к поднятию занавеса, чтобы верно направить огни рампы; им необходим его шепот в кулисах, его властный взгляд, брошенный на дирижера; без него не стало фотографов из иллюстрированных еженедельников, не стало организованного доброжелательства и благосклонного ожидания публики. Все, что их соединяло, было общее служение искусству; и вот золотые кружева и бархат уложены и возвращены костюмеру, и серая униформа буден пришла им на смену. Несколько счастливых часов репетиций, несколько экстатических мгновений спектакля они исполняли

блестящие роли, они были своими собственными великими предками со знаменитых портретов, на которых, как предполагалось, отдаленно походили, и вот теперь все позади, и в хмуром свете осеннего дня они должны вернуться к себе домой: к мужу, который слишком часто приезжает в Лондон; к любовнику, который проигрывается в карты; к ребенку, который слишком быстро растет.

Кружок Антони Бланша распался — вместо него осталась просто дюжина скучных английских подростков. Когда-нибудь, в позднейшие годы, им суждено будет спрашивать друг у друга: „А помните того чудака, с которым мы знались в Оксфорде, — Антони Бланша? Интересно, что с ним теперь?“ Они снова лениво пристали к стаду, из которого их по непонятным признакам отобрали, и день ото дня все больше утрачивали индивидуальные отличия. Эта перемена им самим была не так ясно видна, как нам; от случая к случаю они все еще собирались у нас в комнатах, но мы перестали искать их общества. Зато мы полюбили компании попроще и частенько проводили вечера в маленьких Хогартовских кабачках Сент-Эбба и Сент-Климента или, улиц между старым рынком и каналом, где мы еще

могли веселиться и где нам, смею верить, бывали рады. У „Садовника“, и в „Лошажьей голове“, и в „Голове друида“, что по соседству с театром, и „На адском ипподроме“ мы были признанными завсегдатаями; впрочем, в последнем можно было встретить и других студентов — главным образом весельчаков из Брейзенноуз-колледжа, а Себастьяном постепенно овладела своего рода фобия, какую испытывают те, кто носит форму, к собратьям по профессии, и не один вечер оказывался для нас погублен появлением коллег студентов, из-за которых он оставлял недопитым стакан и хмуро возвращался в свой колледж.

Так застала нас леди Марчмейн, когда в начале Михайлова семестра приехала на неделю в Оксфорд. Она нашла Себастьяна притихшим, а вместо всей его оравы друзей рядом с ним был один я. Она приняла меня как друга Себастьяна, и попыталась сделать также и своим другом. При этом она, того не ведая, нанесла удар по самому основанию нашей дружбы. Таков единственный упрек, который я могу противопоставить всей ее безграничной доброте ко мне.

В Оксфорде у нее было дело к мистеру Самграссу из Всех Усопших, который постепенно начал играть в нашей жизни все более и более

значительную роль. Леди Марчмейн была занята изданием для узкого круга друзей книги в память о своем брате Неде, старшем из троих легендарных героев, павших между Монсом и Пассендейлом; после него осталось много бумаг: стихов, писем, выступлений, статей; подготовка их к публикации, даже самым маленьким тиражом, требовала такта и принятия многих решений, для которых суд обожающей сестры был недостаточно надежным основанием. Признав это, она стала искать помощи со стороны и нашла себе в советчики мистера Самграсса.

Это был молодой преподаватель истории, низенький пухлый человечек с жидкими, прилизанными на большом черепе волосами, аккуратными ручками, маленькими ножками, всегда одетый с иголочки и как бы слишком чисто вымытый. У него были вкрадчивые манеры и своеобразная речь. Нам выпало познакомиться с ним довольно близко.

У мистера Самграсса был особый дар помогать людям в их работе, но он и сам был автором нескольких изящных книжиц. Он имел пристрастие к старинным грамотам и тонкое чутье к живописным эффектам. Себастьян отнюдь не грешил против истины, когда назвал его „одним

человеком, состоящим при маме“. Он становился человеком при каждом, кто мог его чем-то привлечь.

Мистер Самграсс был знаток генеалогий и прав наследования; он обожал свергнутые королевские фамилии и отлично разбирался в правах претендентов на троны; сам человек не религиозный, он был осведомлен о делах католической церкви лучше, чем многие католики; у него были знакомства в Ватикане, и он мог часами толковать о церковных делах и назначениях, о том, кто из духовных лиц сейчас в фаворе, а кто нет, и каковы последние теологические гипотезы, и как тот или иной иезуит или доминиканец в великопостной проповеди вступил на опасную стезю или взял сомнительную ноту; ему не хватало разве только веры, и позднее, в Брайдсхеде, он любил в часовне подходить под благословение и смотреть, как дамы в черных кружевных мантильях грациозно изгибают шеи в молитве; он любил забытые великосветские сплетни и был специалистом по внебрачным детям, он любил прошлое, так он всегда говорил, но у меня было такое чувство, что свое великолепное окружение и в прошлом и в настоящем он втайне считает несерьезным, реальностью для него был один

только мистер Самграсс, все прочее — не более чем маскарадная процессия. Он был туристом викторианской эпохи, самодовольным и снисходительным, и вся эта экзотика служила ему для развлечения. К тому же его перо казалось мне немного слишком бойким, я бы не удивился, окажись у него в квартире запрятанный диктофон.

Я встретил его впервые в обществе леди Марчмейн и тогда же подумал, что она не могла бы найти для себя более разительного контраста, чем этот промышляющий интеллигент, и более выгодного фона для своего очарования. Не в ее обычае было демонстративно вторгаться в чужую жизнь, но на исходе той недели Себастьян хмуро заметил: „Вас с мамой теперь водой не разольешь“, — и тогда я осознал, что меня быстро и незаметно втянули в отношения душевной близости, потому что других отношений между людьми леди Марчмейн просто не признавала. Перед тем как она уехала, я успел дать обещание, что проведу в Брайдсхеде все предстоящие каникулы, кроме рождественских дней.

Недели через две после этого, утром в понедельник, я сидел у Себастьяна и дожидался, когда он вернется с занятий, как вдруг вошла Джулия в сопровождении крупного мужчины, которого

она представила мистером Моттремом, а называла Рексом. Они возвращались в автомобиле от своих знакомых, у которых гостили субботу и воскресенье. Рекс Моттрем в просторном клетчатом пальто с поясом был разгорячен и самоуверен, Джулия в мехах казалась замерзшей и робкой; она прошла прямо к камину и присела на корточки перед огнем.

— Мы мечтали, что Себастьян накормит нас обедом, — сказала она. — Конечно, если его не будет, мы всегда можем податься к Бою Мулкастеру, но лучше было бы все-таки с Себастьяном. Только мы ужасно голодны. Нас два дня просто морили голодом у Чазмов.

— Они с Себастьяном оба обедают у меня. Приходите и вы. Приглашение мое было тут же принято, и вскоре все собрались у меня в комнатах на одну из наших последних оксфордских пирушек. Рекс Моттрем очень старался произвести впечатление. Это был красивый мужчина с густой темной шевелюрой, низким лбом и лохматыми черными бровями. Говорил он с приятным канадским акцентом. Мы сразу же узнали о нем все, что он хотел, чтобы о нем знали: что он удачлив по части денег, что он член парламента, что он игрок и добрый малый, что он играет в гольф с

принцем Уэльским и водит дружбу с „Максом“, и „Эф. И.“, и Герти Лоуренсом, и Огастесом Джоном, и Карпантье — со всяким, кажется, о ком ни заходил разговор. Про университет он сказал:

— Нет, я здесь не учился. Тут просто на три года отстаешь в жизни от других.

Свою жизнь, насколько он ее обнародовал, он начал на войне, которую и окончил с отличной аттестацией, служа в канадских частях и дослужившись до адъютанта при одном из прославленных генералов.

Ему было никак не больше тридцати, но тогда, в Оксфорде, он казался нам глубоким стариком. Джулия обращалась с ним, как она обращалась со всеми на свете, надменно-снисходительно, но как со своей собственностью. Один раз она послала его от стола в машину за сигаретами и раз или два, когда он слишком уж расхвастался, извинилась за него, заметив: „Он ведь из колоний, не забывайте“, — на что в ответ он разражался шумным хохотом.

Когда они уехали, я спросил, кто он.

— Один человек, состоит при Джулии, — ответил Себастьян.

Мы удивились, когда неделю спустя получили от него телеграмму с приглашением нам и Бою

Мулкастеру в Лондон на обед „по случаю какого-то вечера, который устраивает Джулия“.

— Он, наверно, не знаком ни с кем из молодых, — сказал Себастьян. — Все его знакомые — старые толстокожие акулы из Сити и палаты общин. Поедем?

Мы посовещались и решили, что, поскольку жизнь наша в Оксфорде протекает довольно уныло, надо поехать.

— Зачем ему понадобился Бой?

— Мы с Джулией знакомы с ним всю жизнь. Наверно, увидев его у вас за обедом, он решил, что мы дружим.

Мы не очень-то любили Мулкастера, но у всех троих нас было превосходное настроение, когда, получив до утра отпуск в своих колледжах, мы в автомобиле Хардкасла покатили в Лондон.

Ночевать мы должны были в Марчмейн-хаусе. Мы заехали туда переодеться и, пока одевались, успели распить бутылку шампанского, то и дело забегая друг к другу в комнаты, которые были расположены рядом на третьем этаже и выглядели довольно убого в сравнении с роскошными апартаментами внизу. Спускаясь, мы встретили на лестнице Джулию еще в дневном туалете.

— Я опоздаю, — сказала она. — Вы, мальчики,

лучше ступайте сами к Рексу. Изумительно, что вы приехали.

— А но какому случаю званый вечер?

— Да просто благотворительный бал, который я помогаю устраивать. Рекс настоял, чтобы мы дали обед по этому поводу. Увидимся у него.

До Рекса Моттрема от Марчмейн-хауса было рукой подать.

— Джулия опоздает, — объявили мы. — Она только поднялась к себе одеваться.

— Это означает еще час. Надо пока выпить вина. Дама, которую нам отрекомендовали как миссис Чэмпион, возразила:

— Ах, я знаю, Рекс, она хотела бы, чтобы мы начали без нее.

— Ну, все равно, сначала выпьем вина.

— Зачем такая бутыль, Рекс? — раздраженно спросила дама. — Вы все делаете чересчур.

— В самый раз для нас будет, — ответил Рекс, взяв бутыль в руки и вытаскивая пробку.

Среди гостей были две девушки, ровесницы Джулии; они все имели какое-то отношений к устройству благотворительного бала. Мулкастер знал их издавна, и они, как мне показалось, без всякого удовольствия узнали Мулкастера. Миссис Чэмпион разговаривала с Рексом. И мы

с Себастьяном оказались, как всегда, вдвоем над стаканом вина.

Наконец появилась Джулия, спокойная, восхитительная, нисколько не смущенная.

— Напрасно вы позволили ему ждать, — сказала она. — Это все его канадская галантность.

Рекс Моттрем оказался щедрым хозяином, и к исходу обеда мы, трое оксфордцев, были пьяны. Когда мы стояли в холле, поджидая девушек, а Рекс и миссис Чэмпион в стороне вполголоса обменивались колкостями, Мулкастер сказал:

— Послушайте, давайте-ка улизнем с этого гнусного бала и подадимся к мамаше Мейфилд.

— Кто это мамаша Мейфилд?

— Да вы знаете мамашу Мейфилд. Все знают мамашу Мейфилд из „Старой сотни“. У меня там постоянная приятельница — прелестная малютка Эффи. Ух, что будет, если Эффи узнает, чго я был в Лондоне, а к ней не зашел. Поехали к мамаше Мейфилд, я вас познакомлю с Эффи.

— Ладно, — сказал Себастьян, — поехали к мамаше Мейфилд знакомиться с Эффи.

— Прихватим у доброго дяди Моттрема бутылочку шипучего, а потом удерем с этого поганого бала и подадимся в „Сотню“. Идет?

Удрать с бала оказалось делом нетрудным. У

девушек, которых пригласил Рекс, было там много знакомых, и после двух-трех танцев кавалеров за нашим столиком стало прибавляться; Рекс Моттрем заказывал еще и еще вина; и вот мы трое очутились на улице.

— А ты знаешь, где это заведение?

— Конечно. Помой-стрит, номер сто.

— Где это?

— В районе Лестер-сквер. Лучше взять машину.

— Зачем?

— Всегда полезно в таких случаях иметь свой автомобиль. Мы не стали спорить, и в этом заключалась наша роковая ошибка. Машина стояла во дворе Марчмейн-хауса, в ста шагах от отеля, где происходил бал. Мулкастер сел за руль и, немного поплутав, благополучно доставил нас на Помой-стрит. Швейцар по одну сторону от темного подъезда и немолодой господин в смокинге по другую — стоя лицом к стене, он пытался остудить о кирпичи лоб — свидетельствовали о том, что мы добрались до места.

— Не ходите туда, вас отравят, — предостерег немолодой господин.

— Члены? — спросил швейцар.

— Моя фамилия Мулкастер. Виконт Мулкастер.

— Не знаю, спросите внизу, — сказал швейцар.

— Вас ограбят, отравят, заразят и ограбят, — повторял немолодой господин.

В глубине темного подъезда оказалось ярко освещенное окошко.

— Члены? — спросила толстая женщина в вечернем платье.

— Вот это мне нравится, — сказал— Мулкастер. — Пора бы знать меня.

— Да, миленький, — ответила женщина безо всякого интереса. — Десять шиллингов с каждого.

— Послушайте, я никогда раньше не платил.

— Верю, миленький. Сегодня у нас полно, так что платите десять шиллингов. Кто придет после вас, с того по фунту. Ваше счастье.

— Позовите мне миссис Мейфилд.

— Я миссис Мейфилд. Десять шиллингов с каждого. — Вот тебе раз, мамаша, я и не узнал вас в этом параде. Вы ведь знаете меня, верно? Бой Мулкастер.

— Да, душка. Десять шиллингов с каждого. Мы заплатили, и мужчина, стоявший между нами и внутренней дверью, шагнул в сторону. Внутри было жарко и людно, ибо „Старая сотня“ была в ту пору на вершине успеха. Мы нашли столик и

заказали бутылку; официант взял с нас деньги, прежде чем откупорить ее.

— А где сегодня Эффи? — осведомился Мулкастер.

— Которая Эффи?

— Ну Эффи, здешняя девушка. Хорошенькая такая, брюнетка.

— Здесь работает много девушек. Одни блондинки, другие брюнетки. Кое-кто, может, и хорошенькие. Мне недосуг запоминать их по именам.

— Пойду поищу ее, — сказал Мулкастер. Пока он отсутствовал, к нашему столику подошли две девицы. Они смотрели на нас с любопытством.

— Пошли, — сказала одна другой. — Пустая трата времени. Это гомики.

Вернулся торжествующий Мулкастер с Эффи, которой официант, не дожидаясь заказа, сразу же принес тарелку яичницы с беконом.

— Весь вечер во рту куска не было, — пробормотала она, набрасываясь на еду. — Тут только на одних завтраках и держимся, а за день-то как проголодаешься.

— Еще шесть шиллингов, — объявил официант. Насытившись, Эффи подкрасила губы и посмотрела на нас.

— Я тебя не первый раз здесь вижу, верно? — сказала она мне.

— Боюсь, что первый.

— Но тебя-то я видела? — Мулкастеру.

— Еще бы! Ты ведь не забыла тот сентябрьский вечерок?

— Конечно, нет, дорогой. Ты тот самый гвардеец, что порезал себе палец на ноге, угадала?

— Ну, Эффи, зачем ты меня дразнишь?

— Нет, то было в другой раз. Знаю, ты был с Банти в ту ночь, когда полиция устроила облаву и мы все попрятались там, где стоят мусорные ведра.

Эффи любит меня разыгрывать, правда, Эффи? Она обижена за то, что я так долго не приходил, да?

— Что хотите говорите, но я точно знаю, что где-то тебя уже видела.

— Не надо меня дразнить.

— Я вовсе даже и не дразнюсь. Честное слово, у меня и в мыслях не было. Хочешь, потанцуем?

— Сейчас не хочется.

— Слава богу. У меня сегодня туфли жмут, страсть как. Вскоре они с Мулкастером уже вели сердечную беседу. Себастьян откинулся на спинку стула и сказал мне:

— Сейчас я приглашу к нам ту парочку.

Две свободные девицы, раньше обратившие на нас внимание, снова кружили по соседству. Себастьян с улыбкой встал им навстречу, и скоро они обе тоже с жадностью ели за нашим столиком. У одной лицо было похоже на череп, другая казалась болезненным ребенком. Мертвая Голова досталась на мою долю.

— А не устроить ли нам вшестером вечеринку у меня на квартире? — предложила она.

— Чудесно, — сказал Себастьян.

— Когда вы вошли, мы думали, вы гомики.

— Это все наша юная невинность. Мертвая Голова захихикала.

— Ты парень что надо, — сказала она.

— Вы все очень-очень милые, — сказало Больное Дитя. — Пойду предупрежу миссис Мейфилд, что мы уходим.

Было еще сравнительно рано, чуть за полночь, когда мы снова очутились на улице. Швейцар попытался уговорить нас взять такси.

— Я пригляжу за вашим автомобилем, сэр, только на вашем месте я не сел бы за руль, нет, не сел бы.

Но Себастьян решительно уселся на водительское место, девицы устроились по обе стороны от него, чтобы показывать дорогу, Эффи, Мулкастер

и я расположились сзади, и мы поехали. Кажется, отъезжая, мы немножко погорланили.

Далеко мы не уехали. Только свернули на Шафтсбери-авеню в сторону Пикадилли, как тут же чуть было не столкнулись с ехавшим навстречу такси.

— Ради бога смотри, куда едешь, — сказала Эффи. — Ты же нас всех угробишь.

— Неосторожный малый этот водитель, — сказал Себастьян.

— А ты тоже, ишь какой лихач нашелся, — сказала Мертвая Голова. — И потом, мы должны ехать по другой стороне.

— По другой так по другой, — согласился Себастьян, резко поворачивая поперек улицы.

— Вот что, останови машину. Я лучше пешком пойду.

— Остановить? Извольте.

Он дал тормоз, и мы остановились боком поперек улицы. Два полисмена, ускорив шаги, подошли к нам.

— Мое дело сторона, — бросила через плечо Эффи, выскочила из машины и обратилась в бегство. Остальные были пойманы на месте.

— Сожалею, если я препятствую движению, сержант, — старательно выговорил Себастьян, —

но леди пожелала, чтобы я остановил машину и дал ей выйти. Она попросила об этом самым настоятельным образом. Как вы могли заметить, ей было очень некогда. Все нервы, знаете ли.

— Дай-ка я с ним поговорю, — сказала Мертвая Голова. — Будь другом, красавчик, не куксись. Никто ничего не видел, мальчики никому не хотят дурного, я посажу их в такси и тихо-мирно отвезу домой.

Полицейские оглядели нас с головы до ног, составляя собственное мнение. Даже и тогда все еще могло бы сойти благополучно, если бы не ввязался Мулкастер.

— Послушайте, приятель, — сказал он. — Вам совершенно незачем вмешиваться. Мы возвращаемся от мамаши Мейфилд. Я уверен, она выплачивает вам приличный гонорар за то, чтобы вы кое на что смотрели сквозь пальцы. Так вот, можете и на нас смотреть сквозь пальцы и в убытке не останетесь.

Этим были рассеяны последние сомнения, если у полицейских таковые имелись. В кратчайший срок мы очутились за решеткой.

Поездку туда и самое водворение я практически не помню. Мулкастер, кажется, энергично протестовал и, когда нас заставили вывернуть

карманы, обвинил тюремщиков в грабеже. Потом нас заперли, и первое мое отчетливое воспоминание — это кафельные стены, лампа высоко под потолком за толстым стеклом, койка и дверь без ручки. Где-то слева от меня бушевали Мулкастер и Себастьян. По дороге в участок Себастьян твердо держался на ногах и был вполне сдержан, но теперь, когда его заперли, пришел в исступление, колотил в дверь и брал: „Говорю вам, я не пьян, слышите? Провалитесь вы все, я требую доктора! Я не пьян!“ — в то время как Мулкастер из следующей камеры кричал: „Ну погодите, вы еще, клянусь богом, за это заплатите! Имейте в виду, вы делаете большую ошибку. Позвоните министру внутренних дел! Пришлите моих адвокатов! Я требую неприкосновенности личности!“

Из соседних камер неслись негодующие стоны бродяг и карманных воришек, которым не давали спать: „Эй, там! Утихомирьтесь!“, „Дайте людям вздремнуть!“, „Что здесь, каталажка или сумасшедший дом?“ А сержант ходил от двери к двери и увещевал их через зарешеченные окошки: „Вы у меня всю ночь тут просидите, пока не протрезвеете!“

Я в унынии уселся на койку и задремал. Через некоторое время шум стих и раздался голос Се-

бастьяна:

— Чарльз! Чарльз! Вы здесь?

— Здесь.

— Ну и в историю мы попали.

— Может, как-нибудь под залог выбраться? Мулкастер, как видно, спал.

— Я вам скажу, к кому надо обратиться — к Рексу Моттрему. Это по его части.

Мы не без труда связались с Рексом; я целых полчаса ждал, пока дежурный полисмен отзовется на мой звонок. Наконец он недоверчиво согласился позвонить в отель, где все еще продолжался бал. Последовало опять ожидание, и вот двери нашей темницы распахнулись.

В гнилой воздух полицейского участка, в кислую вонь грязи и дезинфекции просочился сладкий аромат гаванской сигары — вернее, двух гаванских сигар, ибо дежурный сержант тоже курил.

В канцелярии как воплощение влиятельности и богатства — и даже как пародия на них — возвышался Рекс Моттрем. На нем была шуба на меху с широкими каракулевыми лацканами и шелковый цилиндр. Полицейские чины держались почтительно и услужливо.

— Мы выполняли свой долг, — объяснили

они. — Взяли молодых джентльменов под стражу ради их же собственного блага.

Мулкастер, мрачный с похмелья, завел было сбивчивую речь об ущемлении своих гражданских прав, но Рекс тихо сказал: „Лучше предоставьте все разговоры мне“.

У меня была совершенно ясная голова, и я с восхищением наблюдал, как Рекс улаживает наше дело. Он ознакомился с протоколами ареста, приветливо поговорил с задержавшими нас полисменами, едва уловимым намеком приоткрыл вопрос о взятке и сразу же закрыл его, выяснив, что дело уже слишком далеко зашло и слишком многие в него посвящены; он дал подписку, что мы предстанем завтра в десять перед мировым судьей и увел нас с собою. Его автомобиль дожидался у подъезда.

— Отложим все обсуждения до утра. Где вы ночуете? — В Марчерсе, — ответил Себастьян. — Лучше поедем ко мне. Я вас устрою на ночь. И все хлопоты предоставьте мне.

Чувствовалось, что он упивается собственной деловитостью. Наутро впечатление это еще усилилось. Я проснулся со смешанным чувством недоумения и испуга в незнакомой комнате и в первые же сознательные секунды ко мне возвра-

тилась память о минувшем вечере, сначала как о кошмаре, потом как о действительности. Камердинер Рекса распаковывал какой-то чемодан. Заметив, что я пошевелился, он подошел к умывальнику и налил что-то в стакан из бутылки.

— По-моему, я все привез из Марчмейн-хауса, — проговорил он. — А за этим мистер Моттрем специально посылал к „Хеппелю“.

Я сделал глоток и почувствовал себя лучше. Человек от „Трампера“ дожидался, чтобы побрить нас. За завтраком к нам присоединился Рекс.

— Важно произвести хорошее впечатление в суде, — сказал он нам. — По счастью, на ваших лицах не видно ни малейших следов вчерашнего кутежа.

После завтрака приезжал адвокат, и Рекс кратко описал нам положение дел.

— Сложнее всего с Себастьяном. Ему полагается до шести месяцев тюрьмы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. К сожалению, судить будет Григг. Он придерживается довольно суровой точки зрения на такие дела. Сегодня мы будем только добиваться для Себастьяна отсрочки, чтобы подготовить защиту. Вы двое признаете себя виновными, выразите сожаление и заплатите по пяти шиллингов. Я посмотрю, что можно будет

сделать с вечерними газетами. „Стар“ может оказаться несговорчивой.

Запомните, самое главное — совершенно не допускать упоминаний о „Старой сотне“. По счастью, девицы были трезвы и соответчиками не являются, но они записаны как свидетели. Если мы попробуем оспорить показания полиции, их тут же призовут. Этого следует избегать любой ценой, поэтому мы примем, не оспаривая, версию полиции и будем взывать к доброте судьи и просить, чтобы он не губил молодого человека из-за одной юношеской оплошности. Все пройдет как по нотам. Понадобится университетский преподаватель, чтобы дать ему хорошую характеристику. Джулия говорит, у вас есть один ручной по фамилии Самграсс. Как раз что надо. Вы же должны просто рассказать, что приехали из Оксфорда, на этот весьма респектабельный бал, не привыкли к вину, выпили лишнего и на пути домой заехали не помните куда. Позже надо будет утрясти это дело с вашим университетским начальством.

— Я им велел пригласить моих адвокатов, — сказал Мулкастер, — и они отказались. Это беззаконие, и я не понимаю, почему надо им это спускать.

— Бога ради не заводите пререканий. Признайте себя виновным и заплатите штраф. Вы поняли?

Мулкастер, ворча, подчинился.

В суде все произошло точно так, как предсказывал Рекс. В половине одиннадцатого мы уже стояли на улице, мы с Мулкастером — свободные люди, Себастьян — под обязательством явиться в суд через неделю. Мулкастер промолчал о своих юридических претензиях; нас с ним пожурили и заставили заплатить каждого по пять шиллингов штрафа и пятнадцать шиллингов судебных издержек. Общество Мулкастера начинало всерьез тяготить нас, и мы с облегчением вздохнули, когда он, сославшись на какие-то дела в городе, наконец нас покинул. Адвокат тоже куда-то спешил, и мы с Себастьяном остались у подъезда в одиночестве и унынии.

— Придется, наверное, сказать все маме, — жалобно проговорил он. — Проклятье! Холодно. Я домой пойду. Мне некуда идти. Давайте уедем тихонько в Оксфорд и подождем, пока, мы им понадобимся.

Жалкие завсегдатаи полицейских участков проходили мимо нас вверх и вниз по ступеням; мы стояли на ветру и не могли принять решения.

— Почему бы не посоветоваться с Джулией?

— Может, мне уехать за границу?

— Мой дорогой Себастьян, вам только сделают внушение и предпишут заплатить несколько фунтов штрафа.

— Да, но вся эта морока — мама, и Брайди, и родственники. и преподаватели. Лучше уж в тюрьму. Если я тихонько улизну за границу, они ведь не смогут меня оттуда выволочь, верно? Так всегда поступают люди, которых преследует полиция. Я знаю, мама повернет дело так, будто вся тяжесть удара досталась ей. — Давайте позвоним Джулии и условимся с ней где-нибудь встретиться.

Мы встретились у „Гантера“ на Беркли-сквер. Джулия по моде того времени была в зеленой шляпе, низко надвинутой на лоб и приколотой бриллиантовой стрелкой; под мышкой она держала крохотную собачку, на три четверти упрятанную в меха. Она выказала к нам гораздо больше интереса, чем обычно.

— Ну, вы и хорошенькая парочка; надо сказать, вид у вас на удивление цветущий. Единственный раз, когда я напилась, я на следующий день не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Неужели вы не могли меня взять с собою? Бал был просто тоска зеленая, а мне всегда так хотелось побывать

в „Старой сотне“. И никто меня не берет. Как там было, восхитительно?

— Значит, ты тоже все уже знаешь?

— Рекс позвонил мне сегодня утром и все рассказал. А какие вам достались барышни?

— Не будь неприличной.

— Моя была похожа, на череп. — А моя на чахоточную.

— Ну и ну!

Нас явно возвысило в глазах Джулии то, что мы ездили к женщинам; для нее весь интерес был именно в этом.

— А мама знает?

— Про ваши черепа и чахоточных — нет. Она знает, что вы были в кутузке. Я ей сказала. Конечно, она отнеслась к этому по-ангельски. Ты ведь знаешь, все, что делал дядя Нед, прекрасно, а он однажды угодил за решетку за то, что привел на митинг, где выступал Ллойд Джордж, живого медведя; поэтому она держится вполне по-человечески. Она ждет вас обоих сегодня к обеду.

— О боже!

— Единственная беда — это газеты и родные. У вас тоже ужасная родня, Чарльз?

— У меня один отец. Он ни о чем не узнает.

— А у нас ужасная. Бедной маме предстоит

вытерпеть от них бог знает что. Они будут слать письма, наносить сочувственные визиты, и все время половина из них в глубине души будет думать: „Вот к чему привело католическое воспитание“, а другая половина будет думать: „Вот к чему привело обучение в Итоне, а не в Стонихерсте“. Бедная мама никак на них не угодит.

Обедали мы у леди Марчмейн. Все случившееся она приняла с веселым смирением. И сделала только один упрек:

— Не понимаю, зачем вам понадобилось ночевать у мистера Моттрема. Разве вы не могли приехать ко мне и все мне рассказать?

— Что мне сказать нашим родным? — вздыхала она. — Они будут шокированы, когда поймут, что огорчены больше моего. Вы знаете мою золовку Фанни Роскоммон? Она всегда считала, что я плохо воспитала детей. Теперь я начинаю думать, что, может быть, она права.

Когда мы вышли, я сказал:

— Она была само доброжелательство. Чего вы боялись?

— Не могу вам объяснить, — уныло ответил Себастьян.

Неделю спустя состоялся суд, и Себастьяна оштрафовали на десять фунтов. Газеты уделили

делу неприятно много внимания, одна даже дала ироническую шапку: „Сын маркиза не привык к вину“. Судья заявил, что лишь благодаря своевременным действиям полиции ему не пришлось предстать перед судом по более тяжкому обвинению. „Чистая случайность, что вы не оказались в ответе за серьезное несчастье…“ Мистер Самграсс засвидетельствовал, что Себастьян пользуется безупречной репутацией и что под угрозой находится блестящая университетская карьера. Эту тему тоже подхватили газеты:

„Будущее образцового студента поставлено на карту“. Судья заявил, что, если бы не свидетельство мистера Самграсса, он бы склонился к тому, чтобы вынести по делу воспитательный приговор; закон ведь один и для оксфордского студента, и для любого юного правонарушителя; даже более того, чем благополучнее дом, тем позорнее проступок…

Мистер Самграсс оказался неоценим не только на Бау-стрит. В Оксфорде он выказал столько же рвения и находчивости, сколько Рекс Моттрем в Лондоне. Он беседовал с начальством, с инспекторами, с помощником ректора; убедил монсеньера Белла съездить к декану Себастьянова колледжа; устроил для леди Марчмейн прием у самого

ректора; и в результате нас троих посадили до конца семестра „под вечерний замок“. Хардкаслу, опять неизвестно по каким мотивам, запретили пользоваться автомобилем, и на том все дело и кончилось. Самой долгой карой была близость с Рексом Моттремом и мистером Самграссом, но так как жизнь Рекса протекала в Лондоне, в мире политики, а мистер Самграсс был в Оксфорде, рядом с нами, от него мы страдали больше.

Он преследовал нас до конца семестра. Оказавшись „под вечерним замком“, мы не могли проводить вечера вместе и с девяти часов находились в одиночестве, на милости мистера Самграсса. Не проходило вечера, чтобы он не заглянул к одному из нас. Он говорил о „нашей маленькой эскападе“ так, словно он тоже посидел за решеткой и это объединяло нас. Один раз я перелез через стену, и мистер Самграсс застал меня у Себастьяна после закрытия ворот и из этого тоже сделал общий секрет, объединяющий его с нами. Поэтому я нисколько не удивился, когда приехал после Рождества в Брайдсхед и нашел там мистера Самграсса, который словно поджидал меня, сидя один у камина в комнате, которую они называли Гобеленовым залом.

— Вы застаете меня здесь единственным вла-

дельцем, — сказал он мне, и когда он встал мне навстречу и гостеприимно протянул руку, действительно казалось, будто он владеет этим залом и темными сценами охоты, развешанными по его стенам, владеет кариатидами по обе стороны камина, владеет мною самим. — Нынче утром, — продолжал он, — здесь был смотр марчмейнской своры, восхитительно архаическое зрелище, и сейчас все наши юные друзья уехали на лисью охоту, включая даже Себастьяна, который, как вы сами понимаете, был на редкость элегантен в своем розовом казакине. Брайдсхед выглядел скорее солидно, чем элегантно; он исполняет роль главы местных охотников на пару с неким сэром Уолтером Стриклэнд-Винеблсом, здешней комической достопримечательностью. Жаль, что их изображения нельзя поместить на эти весьма посредственные гобелены — они внесли бы в них немного фантазии.

Наша хозяйка осталась дома; не поехал также монах-доминиканец на поправке, читавший слишком много Маритена и слишком мало Гегеля, и, разумеется, Адриан Порсон, а также два довольно суровых венгерских кузена — я испытал их по-немецки и по-французски, и ни на том, ни на другом языке они нисколько не занима-

тельны. Все эти лица отбыли сейчас с визитом к соседям. А я коротал вечерок у огня за чтением несравненного Карлуса. Ваше прибытие придало мне отваги, и я сейчас позвоню, чтобы подали чай. Как мне подготовить вас к встрече со здешним обществом? Увы, завтра все будет кончено: леди Джулия уезжает куда-то встречать Новый год и увозит с собою весь beau-monde[21]. Мне будет недоставать этих прелестных созданий — в особенности одной из них, по имени Селия; она приходится родной сестрой нашему давнему товарищу по несчастью Бою Мулкастеру и имеет с ним на диво мало сходства. Она беседует, как птичка, по крупинке расклевывая предмет разговора в самой пленительной манере, и носит туалеты a la школьница, что я лично нахожу весьма пикантным. Мне будет недоставать ее, говорю я, потому что я завтра не уезжаю. Завтра я всерьез приступаю к работе над книгой хозяйки дома — рукописи, кстати сказать, представляют собою кладезь сокровищ своей эпохи, подлинный и неподдельный 1914 год.

Подали чай, и вскоре вслед за тем вернулся Себастьян. Он объяснил, что давно отбился от

---

[21] Примечания: 21
Свет (франц.)

охоты и потихоньку потрусил к дому; за ним появились остальные охотники — их под вечер подобрал автомобиль; не видно было только Брайдсхеда, у него были еще дела в собачнике, и вместе с ним туда отправилась Корделия. Гости и домочадцы собрались в зале, и вскоре все уже утоляли голод яичницей и сдобными булочками; мистер Самграсс, который раньше спокойно пообедал и подремал у камина, тоже ел вместе со всеми яичницу и булочки. Потом приехала и леди Марчмейн со своим сопровождением, и, когда мы расходились по комнатам переодеваться к ужину, она сказала: „Кто со мною в часовню?“ Себастьян и Джулия ответили, что должны немедленно принять ванну, и тогда вместе с нею и монахом-доминиканцем пошел мистер Самграсс.

— Я бы хотел, чтобы мистер Самграсс уехал, — сказал Себастьян, сидя в ванне. — Мне осточертело все время быть ему благодарным.

В продолжение следующих двух недель нелюбовь к мистеру Самграссу стала секретом, который делили между собою все домочадцы: в его присутствии прекрасные старые глаза сэра Адриана Порсона обращались к какому-то дальнему горизонту, а его губы складывались в

гримасу классического пессимизма. Одни только венгерские кузены, неправильно оценив социальное положение университетского наставника и принимая его за кого-то из слуг, никак не реагировали на его присутствие.

Все разъехались, и остались только мистер Самграсс, сэр Адриан Порсон, венгры, монах, Брайдсхед, Себастьян и Корделия.

В доме властвовала религия — не только в часовне, в ежедневных мессах и молитвах, утренних и вечерних, но и во всех разговорах.

— Мы должны сделать из Чарльза католика, — заявила леди Марчмейн, и за то время, что я у них гостил, она нередко заводила со мною душевные разговоры, осторожно направляя их в божественную сторону. После первого такого разговора Себастьян спросил:

— Что, мама вела с вами свой знаменитый „разговор по душам“? Она без этого не может. Проклятье.

На эти разговоры по душам никогда не приглашали и специально их не подстраивали; просто как-то само собой выходило, что если ей хотелось поговорить, то ты оказывался с нею наедине — летом где-нибудь в тенистой аллее над прудом или в прохладном уголке розового питомника, а

зимой в ее комнате на втором этаже.

Эта комната была ее собственным созданием; она выбрала ее для себя и переделала настолько, что, переступая порог, ты словно попадал в другой дом. Потолки были опущены и сложный карниз, в том или ином виде украшавший каждую комнату, оказался недоступен взгляду, стены, некогда обтянутые парчой, были оголены, выкрашены голубой клеевой краской, по которой шли вразброс миниатюрные акварельные пейзажики; в воздухе стоял сладкий аромат цветов и высушенных пахучих трав. Собственная библиотека леди Марчмейн — много раз читанные томики стихов и религиозных сочинений в мягких кожаных переплетах — заполняла небольшой шкаф из розового дерева; каминная доска была заставлена дорогими ей вещицами — здесь была статуэтка мадонны из слоновой кости, гипсовый святой Иосиф, здесь же стояли последние фотографии ее трех героев братьев. Когда мы с Себастьяном жили в то ослепительное лето в Брайдсхеде одни, в комнату его матери мы не заходили.

Вместе с комнатой вспоминаются обрывки разговоров. Помню, как она говорила:

— Когда я была девушкой, наша семья была сравнительно бедной, но все-таки много богаче,

чем большинство людей, а когда я вышла замуж, то стала очень богатой. Раньше меня это мучило, и я думала, что дурно иметь так много красивых вещей, когда у других нет ничего. Теперь же я поняла, что богатому легко согрешить завистью к бедным. Бедные всегда были любимыми детьми у бога и святых, но я полагаю, что можно и должно достигнуть такой благодати, чтобы принимать жизнь целиком, включая богатство. В языческом Риме богатство непременно означало нечто жестокое, но теперь это вовсе не обязательно.

Я сказал что-то про верблюда и игольное ушко, и она радостно подхватила эту тему.

— Но конечно же, — сказала она, — очень мало вероятно, чтобы верблюд прошел через игольное ушко. Но ведь писание — это просто каталог маловероятных вещей. Разве вероятно, чтобы бык и осел поклонялись младенцу? Вообще животные в житиях святых совершают удивительнейшие поступки. Это и есть поэтическая, сказочная сторона религии.

Но я не поддался ее религии, как не поддался и ее обаянию, вернее, поддался тому и другому в равной мере. Мне тогда ни до чего не было дела, кроме Себастьяна, и я уже чувствовал нависшую над ним угрозу, хотя и не подозревал еще, как

она страшна. Он неотступно и отчаянно молил только об одном: чтобы его оставили в покое. У голубых вод своей души, под шелестящими пальмами он был счастлив и миролюбив, как полинезиец; только когда за коралловым рифом бросил якорь большой корабль, и к песчаному берегу лагуны пристала шлюпка, и вверх по склону, не знавшему отпечатка сапога, устремилось грозное вторжение торговца, правителя, миссионера и туриста — только тогда настало время выкопать из земли допотопное племенное оружие и бить в барабаны в горах или же, еще того проще, уйти с солнечного порога в темную глубину хижины и на земляном полу у стены, по которой шествуют упраздненные рисованные боги, лежать дни и ночи, надрываясь от кашля, в окружении бутылок из-под рома.

А так как для Себастьяна среди нарушителей его покоя были и его собственная совесть, и все человеческие привязанности, дни его в Аркадии были сочтены. Ибо в то для меня столь безмятежное время Себастьян учуял опасность. Мне было знакомо это его тревожное, подозрительное настроение, когда он, словно олень, вдруг поднимал голову при первом отдаленном звуке охоты; я видел и раньше, как он весь настораживался,

когда речь заходила о его семье или его религии; теперь же я обнаружил, что тоже нахожусь под подозрением. Любовь его не стала холодней, но стала безрадостной, ибо я не делил с ним больше его одиночества. Чем больше я сближался с членами его семьи, тем неотвратимее становился частью того внешнего мира, от которого он пытался спастись; я делался еще одной цепью, приковывавшей его к чуждому миру. Именно эту роль старалась мне навязать его мать своими задушевными беседами. Но прямо ничего не говорилось. Я только смутно чувствовал, и то далеко не всегда, что происходит вокруг.

Внешне единственным врагом был мистер Самграсс. Мы с Себастьяном прожили в Брайдсхеде две недели, предоставленные главным образом самим себе. Брат его был занят спортом и делами имения; мистер Самграсс сидел в библиотеке и работал над книгой леди Марчмейн; сэр Адриан Порсон занимал почти все ее время. Мы встречались с остальными только по вечерам; под этой просторной крышей хватало места для нескольких независимых друг от друга жизней.

По прошествии двух недель Себастьян сказал:

— Не могу больше выносить мистера Самграсса. Поедемте в Лондон.

Мы уехали, и он остановился у нас и с тех пор стал отдавать предпочтение моему дому перед „Марчерсом“. Отцу он понравился.

— Я нахожу твоего друга забавным, — сказал он мне. — Почаще приглашай его.

Позже, опять в Оксфорде, мы вернулись к прежней жизни, но она словно уходила у нас из-под ног. Грусть, охватывавшая Себастьяна и в прошлый семестр, теперь превратилась в постоянную хмурость, даже по отношению ко мне. Где-то на сердце у него лежала боль, но природы ее я не знал и только сострадал ему, понимая, что бессилен помочь.

Если он бывал весел теперь, это означало, что он пьян, а пьяный он бывал одержим идеей „извести мистера Самграсса“. Он сочинил куплеты с припевом „Самграсс — свиней пас!“ на мотив боя курантов Святой Марии и не реже чем раз в неделю устраивал у него под окнами серенады. Мистер Самграсс удостоился чести первым среди преподавателей получить домашний телефон. Подвыпивший Себастьян звонил ему по этому телефону и напевал в трубку свое немудреное сочинение. И все это мистер Самграсс принимал, как говорится, с доброй душой, при встрече улыбался заискивающе, но раз от разу все увереннее,

словно каждое полученное оскорбление каким-то образом укрепляло его власть над Себастьяном.

В том семестре я начал понимать, что Себастьян — пьяница совсем в другом смысле, чем я. Я напивался часто, но от избытка жизненных сил, радуясь мгновению и стремясь продлить, испить его до дна; Себастьян пил, чтобы спрятаться от жизни. Чем старше и серьезнее мы оба становились, тем меньше пил я и тем больше он. Я узнал, что нередко после моего ухода он допоздна засиживался один, накачиваясь вином. Несчастья обрушились на него в такой быстрой последовательности и с такой жестокой силой, что даже трудно сказать, когда я впервые понял, что мой друг в беде. На пасхальные каникулы я уже это ясно видел.

Джулия любила говорить: „Бедняжка Себастьян. Это в нем что-то химическое“. Так было модно выражаться в те годы, отдавая дань популярным фантастическим представлениям о науке. „Между ними что-то химическое“, — говорилось о двух людях, испытывающих друг к другу непреодолимую ненависть или любовь. То была старинная концепция детерминизма, только в новой форме. Я не считаю, что в моем друге было что-то химическое.

Пасхальные каникулы в Брайдсхеде прошли печально и завершились меленьким, но незабываемо грустным происшествием. Себастьян страшно напился перед ужином в материнском доме и тем ознаменовал начало нового периода своей плачевной жизни, сделав еще один шаг в бегстве от семьи, приведшей его к гибели.

Это произошло на исходе того дня, когда из Брайдсхеда разъехалась пасхальные гости. В сущности, пасхальные гости собрались только во вторник на пасхальной неделе, потому что время со страстного четверга до пасхи все Флайты проводили в молитвенном уединении на подворье какого-нибудь монастыря. В этом году Себастьян сказал сначала, что не поедет, но в последний момент уступил и вернулся домой в состоянии глубокой подавленности, из которой я оказался бессилен его вывести.

Он пил уже целую неделю — только я один знал, как много, — пил нервно, тайком, совсем не так, как когда-то. Пока в доме гостил народ, в библиотеке всегда стоял винный поднос, и Себастьян завел привычку заглядывать туда в разное время дня, не сказавшись даже мне. Днем в доме часто никого не было. Я трудился в маленькой садовой комнате, разрисовывая еще одну панель. Се-

бастьян, сославшись на простуду, оставался дома и все это время почти не бывал трезвым; внимания он избегал, по целым дням не произнося ни слова. Время от времени я замечал бросаемые на него удивленные взгляды, но никто из гостей не знал его настолько близко, чтобы заметить перемену, а родные все были поглощены каждый своими гостями.

Когда я заговорил с ним об этом, он сказал:

— Не могу выносить всю эту публику.

Но только когда „вся эта публика“ уехала и он остался лицом к лицу со своими домашними, произошел срыв.

По заведенному порядку поднос для коктейлей ставили в гостиной ровно в шесть; каждый наливал себе что хотел, а когда мы уходили одеваться к ужину, поднос уносили; позднее, уже перед самым ужином, коктейли появлялись снова, теперь уже разносимые лакеями.

После чая Себастьян исчез; свет померк, и я провел следующий час, играя в ма-джонг с Корделией. В шесть часов я сидел в гостиной один, как вдруг он вошел с хмурой гримасой, которую я слишком хорошо знал, и в голосе его, когда он заговорил, была знакомая мне пьяная хрипота.

— Что, коктейли еще не принесли? — Он неук-

люже дернул сонетку. Я спросил:

— Где вы были?

— Наверху у няни.

— Не верю. Вы пили где-то.

— Я сидел у себя в комнате и читал. У меня насморк. Сегодня хуже.

Когда появился поднос, он плеснул себе в стакан джина и вермута и унес. Я пошел за ним, но наверху он захлопнул у меня перед носом дверь своей комнаты и повернул ключ.

Я вернулся в гостиную, полный тоски и дурных предчувствий.

Собралась семья. Леди Марчмейн спросила:

— Куда запропастился Себастьян?

— Он пошел к себе и лег. У него разыгралась простуда.

— Ах господи, надеюсь, это не инфлуэнца. Последние дни я замечала, что его как будто бы лихорадит. Ему ничего не нужно?

— Нет. Он просил, чтобы его ни в коем случае не беспокоили.

У меня мелькнула мысль поговорить с Брайдсхедом, но его суровая, гранитная маска исключала всякую откровенность. С горя я сказал перед ужином Джулии:

— Себастьян пьет.

— Что вы! Он даже не спускался за коктейлем.

— Он пьет у себя в комнате с самого обеда.

— Вот скука. Какое странное занятие. Он сможет выйти к ужину?

— Нет.

— Ну, придется вам о нем позаботиться. Это не мое дело. Часто он этим занимается?

— В последнее время часто.

— Как это скучно.

Я попробовал толкнуть дверь Себастьяна, убедился, что она заперта, и от души понадеялся, что он спит, но, вернувшись к себе в комнату из ванной, застал его сидящим у моего камина. Он был совсем одет к ужину, не считая ботинок, но галстук его был повязан криво, а волосы торчали дыбом; лицо его пылало, глаза чуть заметно косили. Речь его звучала невнятно.

— Чарльз, вы были правы. Не у няни. Пил виски здесь. В библиотеке теперь нет, раз гости уехали. Все уехали, одна мама. Я, кажется, сильно пьян. Думаю, пусть мне лучше принесут чего-нибудь сюда поесть. Чем ужинать с мамой.

— Ложитесь в постель, — сказал я ему. — Я объясню, что вы чувствуете себя хуже.

— Гораздо хуже.

Я отвел его к нему в комнату, которая была

рядом с моей, и попытался уложить в постель, но он остался сидеть перед туалетным столиком, разглядывая свое отражение и стараясь перевязать галстук. На письменном столе у камина стоял графин, до половины наполненный виски. Я взял его, думая, что Себастьян не увидит, но он рывком обернулся от зеркала и сказал:

— Поставьте на место.

— Не будьте ослом, Себастьян. Вы уже достаточно выпили.

— А вам-то какое дело? Вы здесь только гость, мой гость. И я пью что хочу в моем собственном доме. Он готов был полезть в драку.

— Ну хорошо, — сказал я, ставя графин на место, — только бога ради не показывайтесь никому на глаза.

— Не ваша забота. Вы приехали сюда как мой друг, а теперь шпионите за мною по маминому поручению, я знаю. Так вот, можете убираться и передайте ей от меня, что впредь я сам буду выбирать себе друзей, а она пусть сама выбирает себе шпионов, мне они не нужны.

Так я его оставил и спустился к ужину.

— Я был у Себастьяна, — объявил я. — Его простуда разыгралась не на шутку. Он лег в постель и сказал, что ему ничего не нужно.

— Бедняжка Себастьян, — сказала леди Марчмейн. — Надо ему выпить стакан горячего виски. Я схожу погляжу, как он.

— Не ходи, мама, я пойду, — сказала Джулия, поднимаясь.

— Пойду я, — сказала Корделия, которая ужинала сегодня со взрослыми по случаю отъезда гостей. И прежде чем кто-либо мог ее остановить, она уже была на пороге и скрылась за дверью.

Джулия встретилась со мною взглядом и чуть заметно печально пожала плечами.

Через несколько минут Корделия вернулась, и лицо ее было очень серьезно.

— Нет, ему ничего не надо, — сказала она.

— Ну а как он?

— Не знаю, конечно, но по-моему, он очень пьян, — ответила она.

— Корделия!

И тут девочку разобрал смех.

— „Сын маркиза не привык к вину“, — бормотала она, хихикая. — „Карьера образцового студента под угрозой“.

— Чарльз, это правда?

— Да.

Тут объявили, что ужинать подано, и все пошли в столовую; там эта тема не затрагивалась.

Когда мы с Брайдсхедом остались одни, он спросил:

— Вы, кажется, сказали, что Себастьян пьян?

— Да.

— Какое неподходящее время он выбрал. Вы не могли его удержать от этого?

— Нет.

— Да, — согласился Брайдсхед, — вероятно, это было невозможно. Я однажды видел пьяным отца в этой самой комнате. Мне тогда было не больше десяти. Невозможно удержать человека, если он хочет напиться. Наша мать не могла удержать отца.

Он говорил в своей всегдашней странно-безличной манере. Чем ближе я знакомился с этой семьей, тем непостижимее они мне казались.

— Сегодня вечером я попрошу маму почитать нам вслух.

В доме был обычай, как я узнал позднее, слушать чтение леди Марчмейн, всякий раз как в семье оказывалось что-нибудь неблагополучно. У нее был красивый голос и большая живость выражения. В тот вечер она читала „Мудрость патера Брауна“. Джулия разложила перед собой на табуреточке маникюрные принадлежности и старательно перекрывала лаком ногти;

Корделия гладила ее болонку; Брайдсхед раскладывал пасьянс; я сидел без дела, рассматривая живописную группу, которую они составляли, и сокрушаясь по своем отсутствующем друге.

Но ужасы этого дня еще не кончились.

Леди Марчмейн имела обыкновение, когда в доме были только свои, заходить перед сном в часовню. Она как раз закрыла книгу и предложила пойти туда, когда распахнулась дверь и вошел Себастьян. Он был одет точно так, как при нашем последнем разговоре, только вместо румянца его лицо заливала смертельная бледность.

— Пришел извиниться, — пробормотал он.

— Себастьян, дорогой, будь добр, вернись к себе в комнату, — сказала леди Марчмейн. — Мы успеем поговорить утром.

— Не перед вами. Пришел извиниться перед Чарльзом. Я по-свински с ним обошелся, а он мой гость. Мой гость и мой единственный друг, а я обошелся с ним по-свински.

Холодок пробежал по столовой. Я отвел Себастьяна в его комнату; его родные пошли к молитве. Наверху я заметил, что графин уже пуст.

— Вам пора лечь спать, — сказал я. Тогда Себастьян заплакал.

— Почему, почему вы принимаете их сторону против меня? Я знал, что так будет, если я вас познакомлю. Почему вы шпионите за мной?

Он говорил еще много такого, что мне мучительно вспоминать даже теперь, через двадцать лет. Наконец мне удалось его уложить, он уснул, и я печально отправился к себе.

На следующее утро он вошел ко мне чуть свет, когда весь дом еще спал; он раздернул шторы, и, проснувшись от этого звука, я увидел его — он стоял ко мне спиной, одетый, курил и глядел в окно туда, где длинные рассветные тени лежали на росе и первые птицы пробовали голоса среди распускающейся листвы. Я заговорил, он обернулся, и на лице его я не нашел ни малейших следов вчерашнего опустошения — это было свежее, хмурое лицо обиженного ребенка.

— Ну, — сказал я, — как вы себя чувствуете?

— Довольно странно. Наверно, я еще немного пьян. Я сейчас ходил на конюшню, думал взять автомобиль, но там все заперто. Мы уезжаем.

Он выпил воды из графина у моего изголовья, выбросил в окно сигарету и закурил новую; руки его дрожали, как у старика.

— Куда же вы собираетесь?

— Не знаю. Видимо, в Лондон. Можно мне по-

ехать к вам?

— Разумеется.

— Ну хорошо. Одевайтесь. Вещи пусть пришлют поездом.

— Мы не можем так уехать.

— Мы не можем здесь оставаться. Он сидел на подоконнике и, отвернувшись, смотрел в окно. Потом вдруг сказал:

— Вон из труб кое-где идет дым. Наверно, уже отперли конюшни. Пойдем.

— Я не могу так уехать, — сказал я. — Я должен попрощаться с вашей матерью.

— Верный пудель.

— Просто я не люблю удирать.

— А мне нет дела. И я все равно удеру как можно дальше и как можно скорее. Можете сговариваться с моей матерью о чем хотите, я не вернусь.

— Так вы говорили вчера.

— Знаю. Простите, Чарльз. Я же сказал, что еще немного пьян. Если для вас это хоть какое-то утешение, могу вам сказать, что я омерзителен самому себе.

— Для меня это совсем не утешение.

— Немного все-таки должно вас утешить, по-моему. Ну хорошо, если вы не едете, передайте от меня привет няне.

— Вы в самом деле уезжаете?

— Конечно.

— Мы увидимся в Лондоне?

— Да, я остановлюсь у вас.

Он ушел, но я больше заснуть не смог. Часа через два пришел слуга, принес чай, хлеб и масло и приготовил мою одежду для нового дня.

Позже я пошел к леди Марчмейн; на дворе поднялся сильный ветер, и мы остались дома; я сидел у камина в ее комнате, она склонилась над рукоделием, и побег плюща с распустившимися почками бился о стекло.

— Если б только я не видела его, — говорила она. — Это было жестоко. Мне не так страшно думать о том, что он был пьян. Это случается со всеми мужчинами, когда они молоды. Я знаю и привыкла, что так бывает. Мои братья в его возрасте были настоящие буяны. Мне было больно вчера, потому что я видела, что ему плохо.

— Я понимаю, — сказал я. — Я еще никогда не видел его таким.

— И как раз вчера… когда все разъехались и остались только свои — видите, Чарльз, я отношусь к вам совершенно как к родному, Себастьян вас любит, — когда ему не было нужды изображать веселье. И он не был весел. Я почти не спала

сегодня, и все время меня терзала одна мысль: ему плохо.

Мне невозможно было ей объяснить то, что я сам понимал еще только наполовину, но уже тогда у меня мелькала мысль:

„Она скоро сама узнает. А может быть, знает и теперь“.

— Да, это было ужасно, — сказал я. — Но пожалуйста, не думайте, что он всегда такой.

— Мистер Самграсс говорит, что в минувшем семестре он слишком много пил.

— Да, но не так, как вчера. Так еще не было никогда.

— Но почему же тогда вчера? Здесь? С нами? Я всю ночь думала, и молилась, и ломала голову, как мне с ним говорить, а утром оказалось, что он уехал. Это было жестоко — уехать, не сказав ни слова. Не хочу, чтобы он стыдился; из-за того, что ему стыдно, и получается все так нехорошо.

— Он стыдится, что ему плохо, — сказал я.

— Мистер Самграсс говорит, что он очень оживлен и шумлив. Насколько я понимаю, — добавила она, и легкий отсвет улыбки мелькнул среди туч, — насколько я понимаю, вы и он занимаетесь тем, что дразните мистера Самграсса. Это дурно. Я очень ценю мистера Самграсса. И вы

тоже должны его ценить после всего, что он для вас сделал. Впрочем, может быть бы мне было столько лет, сколько вам, и я была юношей, мне бы и самой хотелось иногда подразнить мистера Самграсса. Нет, такие шалости меня не пугают, но вчерашний вечер и сегодняшнее утро — это уже совсем другое. Видите ли, все это уже было.

— Могу только сказать, что часто видел его пьяным и сам часто пил вместе с ним, но то, что было вчера, для меня совершенно внове.

— О, я имею в виду не Себастьяна. Это было много лет назад. Я один раз уже прошла через это с человеком, который был мне дорог. Ну, да вы должны знать, о ком идет речь — это был его отец. Он напивался вот таким же образом. Мне говорили, что теперь он переменился. Молю бога, чтобы это было правдой, и, если это действительно так, благодарю его от всего сердца. Но нынешнее бегство — тот ведь тоже убежал, вы знаете. Он, как вы верно сказали, стыдился того, что ему плохо. Обоим им плохо, обоим стыдно — и оба обращаются в бегство. Какая прискорбная слабость. Мужчины, с которыми я росла — ее большие глаза оторвались от вышивания и устремились к трем миниатюрным портретам в складной кожаной рамке, — были не такими. Я

просто не понимаю этого. А вы, Чарльз?

— Тоже не очень.

— А ведь Себастьян привязан к вам больше, чем к кому-либо из нас. Вы должны ему помочь. Я бессильна.

Я сжал до нескольких фраз то, что было высказано в многих фразах. Леди Марчмейн не была многоречива, но она обращалась с предметом разговора по-женски жеманно, кружа поблизости, подступая и вновь отступая и прикидываясь незаинтересованной; она порхала над ним, точно бабочка; играла в „тише едешь — дальше будешь“, украдкой от собеседника подвигаясь к цели и останавливаясь как вкопанная под наблюдающим взглядом. Им плохо, и они обращаются в бегство — вот что было ее горем, и это все, что я понял из ее слов. Чтобы выговориться, ей понадобился целый час. В заключение, когда я уже встал, чтобы раскланяться, она сказала, словно только что вспомнила:

— Кстати, вы видели книгу моего брата? Она только что вышла.

Я сказал, что пролистал ее у Себастьяна в комнате.

— Мне хотелось бы, чтобы она у вас была. Можно, я подарю вам? Они все трое были блестящие

мужчины. Нед был из них лучшим. Его убили последним, и, когда пришла телеграмма — а я знала, что она придет, — я подумала: „Теперь черед моего сына осуществить то, что никогда уже не сделает Нед“. Я была в те дни одна. Себастьян только что уехал в Итон. Если вы прочтете книгу Неда, вы поймете.

Экземпляр книги лежал наготове у нее на бюро. И мне подумалось: „Такое прощание у нее было запланировано еще до того, как я вошел. Может быть, она весь разговор отрепетировала заранее? А если бы все пошло иначе, она, наверное, положила бы книжку обратно в стол?“

Она написала на форзаце мое и свое имя, число и место.

— Сегодня ночью я молилась и за вас, — сказала она. Я закрыл за собой дверь, оставив позади bondieuserie[22], и низкие потолки, и ситцевую обивку в цветочек, и кожаные переплеты, и виды Флоренции, и вазы с гиацинтами, и чаши с цветочными лепестками, и petit-point[23] — укромный женский современный мир — и очутился снова под сводчатыми ячеистыми потолками,

---

[22] Примечания: 22
Ханжество (франц.)

[23] Примечания: 23
Вид вышивки (франц.)

среди колонн и карнизов главного холла в возвышенной мужской атмосфере лучшего века. Я не был дураком, и я был достаточно взрослым, чтобы понимать, что меня пытались подкупить, но я был настолько еще молод, что испытал от этого чувство удовлетворения, Джулию я в то утро так и не видел, но, когда я уже отъезжал к дверце машины подбежала Корделия и сказала

— Вы увидите Себастьяна? Передайте ему от меня самый сердечный привет. Не забудете? Самый сердечный.

В лондонском поезде я читал подаренную леди Марчмейн книгу. На фронтисписе была помещена фотография молодого человека в гренадерской форме, и я отчетливо увидел, откуда происходит та каменная маска, которая у Брайдсхеда легла на тонкие и живые черты его отца; то был обитатель лесов и пещер, охотник, старейшина племенного совета, хранитель суровых преданий народа, ведущего постоянную войну со своей средой. В книге были и другие иллюстрации — снимки трех братьев на отдыхе, и в каждом лице я различил те же первобытные черты; вспоминая леди Марчмейн, нежную и томную, я не находил в ней сходства с этими сумрачными мужчинами.

Она почти не фигурировала в книге; она была

девятью годами старше старшего из братьев и вышла замуж и покинула дом, когда они еще учились в школе; между нею и братьями шли еще две сестры; после рождения третьей дочери были совершены паломничества и акты благотворительности с целью вымолить рождение сына, ибо семья имела обширные владения и старинное имя; наследники мужского пола появились поздно, но зато в избытке, который тогда казался гарантией продолжения рода, столь внезапно и трагически на них оборвавшегося.

История их семьи была типична для католической земельной аристократии в Англии; со времен Елизаветы и до конца царствования Виктории они вели замкнутую жизнь в окружении родичей и арендаторов, сыновей отсылали учиться за границу, откуда они нередко привозили себе жен, а если нет, тогда роднились браками с еще несколькими семействами в таком же положении, как они, и жили, лишенные возможностей карьеры, усваивая уже в тех потерянных поколениях уроки, содержащиеся и в жизни трех последних мужчин в роду.

Умелый редактор, мистер Самграсс собрал удивительно однородный томик — стихи, письма, отрывки из дневников, несколько неопублико-

ванных эссе, и все это дышало суровыми вдохновенным подвижничеством и рыцарственностью не от мира сего; были там и письма кое-кого из сверстников, написанные после смерти ее братьев, и каждое, ясней или глуше, излагало все ту же повесть о замечательных мужчинах, которые в пору великолепного духовного и физического расцвета, пользуясь всеобщей любовью и столь много обещая в будущем, стояли в каком-то смысле особняком среди товарищей, были мучениками в венцах, предназначенными к жертвоприношению. Этим людям было суждено умереть и очистить мир для грядущего Хупера; это были аборигены, жалкая нечисть в глазах закона, которую следовало перестрелять, чтобы мог, ничего не опасаясь, появиться коммивояжер в квадратном пенсне, с его потным рукопожатием и обнаженными в улыбке вставными челюстями. И под стук колес поезда, увозившего меня все дальше от леди Марчмейн, я думал, что, может быть, на ней тоже лежит этот гибельный отсвет, помечая ее самое и присных ее на уничтожение средствами иными, чем война. Кто знает, может быть, в красном пламени уютного камина ее глаза различали зловещий знак, а слух улавливал в шелесте плюща по стеклу неумолимый

шепот рока?

Потом был Паддингтонский вокзал, а когда я добрался домой, меня ждал Себастьян, и ощущение трагедии тут же исчезло, потому что он был весел и беззаботен, как в дни нашего первого знакомства.

— Корделия просила передать вам самый сердечный привет.

— У вас был „разговор по душам“ с мамой?

— Да.

— И как, вы перешли на ее сторону? Накануне я ответил бы: „Никакой ее стороны не существует“. Теперь я сказал:

— Нет. Я с вами, Себастьян, „contra mundum“[24]. И больше мы ни тогда, ни потом не обмолвились об этом ни словом.

Но тени вокруг Себастьяна все сгущались. Мы возвратились в Оксфорд, и под моими окнами опять цвели левкои, каштановые свечи освещали улицы, роняя на теплый булыжник белые хлопья; но все было не так, как прежде; в сердце Себастьяна царила зима. Проходили недели; мы решили подыскать квартиру на будущий семестр и нашли на Мертон-стрит, в уединенном богатом

---

[24] Примечания: 24
Против мира (лат.)

доме поблизости от теннисного корта.

Встретившись с мистером Самграссом, которого мы последнее время видели уже не так часто, я рассказал ему о нашем выборе. Он стоял над прилавком у Блэквелла, где были разложены недавно полученные немецкие книги, и откладывал в стопку те, что собирался приобрести.

— Вы снимаете квартиру вместе с Себастьяном? — спросил он. — Значит, он будет в Оксфорде следующий семестр?

— Надеюсь. Почему бы ему не быть?

— Не знаю. Просто я так подумал. Но я в таких делах постоянно ошибаюсь. Мертон-стрит мне нравится.

Он показал мне купленные книги, которые ввиду моего незнания немецкого языка не представляли для меня интереса. Когда мы прощались, он сказал:

— Извините, если я вмешиваюсь не в свое дело, но я бы повременил окончательно договариваться на Мертон-стрит впредь до полной ясности.

Я передал этот разговор Себастьяну, и он сказал:

— Да, у них там заговор. Мама хочет, чтобы я жил у монсеньера Белла.

— Почему вы не рассказали мне об этом?

— Потому что я не буду жить у монсеньера Белла.

— Все равно вы могли бы сказать мне. Когда это началось?

— О, давно уже. Мама, знаете ли, очень проницательна. Она поняла, что потерпела с вами неудачу. Вероятнее всего, по письму, которое вы ей прислали, прочитав книгу дяди Неда.

— Но я ничего там не написал.

— Вот именно. Если бы вы готовы были ей помочь, вы написали бы много всего. Понимаете, дядя Нед — это проверка.

Но она, видимо, еще не вполне потеряла надежду, потому что через несколько дней я получил от нее такую записку:

„Буду в Оксфорде проездом во вторник и надеюсь видеть вас и Себастьяна. Мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут наедине, до того как я встречусь с ним. Это не слишком большое одолжение? Заеду к вам около двенадцати“.

Она заехала, выразила восхищение моим жилищем.

— … Мои братья Саймон и Нед учились здесь. У Неда окна выходили в сад. Я хотела, чтобы Себастьян тоже поступил сюда, но мой муж учился в колледже Христовой церкви, а как вы знаете, об-

разованием Себастьяна распоряжался он. — Она похвалила мои рисунки: — Всем очень нравятся ваши росписи в садовой комнате. Мы никогда не простим вам, если вы не завершите их.

Наконец она подошла к тому, ради чего приехала. — Вы, наверное, и сами уже догадались, о чем я хочу вас спросить. В этом семестре Себастьян много пил? Я уже догадался и ответил:

— Если бы это было так, я бы не дал вам никакого ответа, но я могу сказать: нет.

Она сказала: — Верю вам. Слава богу! — И мы пошли вместе обедать в колледж Христовой церкви.

Вечером того же дня с Себастьяном в третий раз случилась беда; он был задержан около часа ночи помощником декана, когда, пьяный до ослепления, тыкался из угла в угол на университетском дворике.

Я простился с ним незадолго до полуночи; он был мрачен, но абсолютно трезв. За час, прошедший после моего ухода, он один выпил полбутылки виски. В памяти у него мало что удержалось, когда он пришел ко мне наутро и рассказал об этом.

— И часто вы так поступали, — спросил я, — напивались в одиночку после моего ухода?

— Раза два. Нет, кажется, четыре раза. Это только когда они начинают меня преследовать. Оставили бы меня в покое, и все было бы в порядке.

— Теперь не оставят, — сказал я.

— Знаю.

Мы оба знали, что это кризис. В то утро у меня не было слов сочувствия для Себастьяна; он нуждался в них, но мне нечем было его успокоить.

— Ну, знаете ли, — сказал только я, — если вы будете запивать горькую всякий раз, как увидите кого-нибудь из членов вашей семьи, это совершенно безнадежно.

— О да, — ответил Себастьян с великой печалью. — Я знаю. Это безнадежно.

Но гордость моя была уязвлена из-за того, что я оказался в положении лжеца, и я не смог откликнуться на его нужду.

— Ну и что же вы собираетесь делать?

— Я ничего не собираюсь. Они сами все сделают. И он ушел от меня, не получив утешения. Вновь была пущена в ход громадная машина, и у меня на глазах повторилось все, как было в декабре: мистер Самграсс и монсеньер Белл посетили декана; приехал на один вечер Брайдсхед; тронулись большие колеса, завертелись малые.

Все от души жалели леди Марчмейн — ведь имена ее братьев золотыми буквами высечены на монументе героям войны, а память о них еще жива во многих сердцах.

Она еще раз приехала ко мне, и я опять должен свести до нескольких слов наш разговор, длившийся всю дорогу от Холивелла через Месопотамию до Парков, а потом до Северного Оксфорда, где она остановилась на ночь у каких-то монахинь, которым оказывала покровительство.

— Вы должны мне поверить, — сказал я, — что, когда я говорил, что Себастьян не пьет, я говорил правду, какой она была мне в то время известна.

— Я знаю, что вы хотите быть ему хорошим другом.

— Дело не в этом. Я сказал вам то, что считал правдой. Я и сейчас в каком-то смысле считаю это правдой. Я думаю, что он напивался раз или два, но не больше.

— Бесполезно, Чарльз, — перебила она. — Вы можете только сказать, что не знаете его так, как я думала, и не имеете на него влияния. Все наши попытки поверить ему ни к чему не приведут. Я видела пьяниц и раньше. Худшее в них — это лживость. Любовь к правде утрачивается прежде всего остального. И это после нашего чудесного

обеда. Когда вы ушли, он был со мною так ласков, совсем как когда-то маленьким мальчиком. И я согласилась на все, чего он хотел. Правду сказать, я сомневалась относительно его намерения поселиться вместе с вами. Я верю, вы поймете меня. Вы ведь знаете, что мы все любим вас, и не только как друга Себастьяна. И всем нам будет вас не хватать, если вы когда-нибудь перестанете приезжать к нам в гости. Но я хочу, чтобы у Себастьяна были разные друзья, а не только один. Монсеньер Белл говорит, что он совершенно не общается с другими католиками, не бывает в Ньюменском клубе, даже к мессе почти не ходит. Упаси бог, чтобы он знался с одними католиками, но должны же у него и среди них быть знакомые. Только очень крепкая вера способна выстоять в одиночку, а у Себастьяна она не крепка.

Но во вторник после того обеда я была так довольна, что отказалась от всех моих возражений; я пошла с ним и посмотрела выбранную вами квартиру. Прелестная квартира. Мы обсудили с ним, какую еще мебель привезти из Лондона, чтобы она стала еще уютнее. И потом, в тот же самый вечер!.. Нет, Чарльз, все это не по логике вещей.

Я подумал, что „логику вещей“ она подобрала

у кого-то из своих интеллектуальных почитателей.

— И вы знаете средство помочь ему? — спросил я.

— В колледже все удивительно добры. Они сказали, что не исключат его при условии, что он поселится с монсеньером Беллом. Я бы никогда не попросила об этом сама, но монсеньер Белл был настолько добр… Он особо просил передать вам, что вам у него всегда будут рады. Правда, комнаты для вас в Старом Дворце не найдется, но, вероятно, вы и сами бы не захотели там поселиться.

— Леди Марчмейн, если вы намерены сделать из Себастьяна пьяницу, это вернейший способ. Неужели вы не понимаете, что всякий намек на слежку будет для него губителен?

— Ах, боже мой, ну как вам объяснить? Протестанты всегда думают, что католические священники — шпионы.

— Дело не в этом. — Я попытался выразить свою мысль, но безнадежно запутался. — Он должен чувствовать себя свободным.

— Но ведь он и был всегда свободным до сих пор. И вот к чему это привело.

Мы дошли до парома; мы зашли в тупик. Почти

молча я проводил ее до монастыря, сел на автобус и вернулся на Карфакс.

Себастьян сидел у меня.

— Я пошлю телеграмму папе, — сказал он. — Он не допустит, чтобы они заперли меня у этого священника.

— Но если они ставят это условием вашего дальнейшего пребывания в университете?

— Значит, я не вернусь в университет. Вообразите меня там — как я прислуживаю дважды в неделю на мессе, помогаю угощать чаем робких первокурсников-католиков, присутствую в Ньюменском клубе на обеде в честь приезжего лектора, выпиваю при гостях стакан портвейна, а монсеньер Белл не сводит с меня бдительного ока и, когда я выхожу, объясняет, что, мол, это один университетский алкоголик, пришлось его взять, у него такая обаятельная матушка.

— Я ей сказал, что это невозможно.

— Напьемся сегодня ото всей души?

— Да, сегодня от этого, во всяком случае, вреда не будет, — согласился я.

— Contra mundum?

— Contra mundum.

— Благослови вас бог, Чарльз. Нам не много вечеров осталось провести вместе.

В ту ночь мы впервые за много недель напились вдвоем до полного умопомрачения. Я проводил его до ворот, когда все колокола уже отбивали полночь, и еле добрел обратно один под звездами небесными, которые предательски покачивались между шпилями, и, придя, повалился спать, не раздеваясь, чего не случалось уже больше года.

На следующий день леди Марчмейн уехала из Оксфорда, взяв с собой Себастьяна. Мы с Брайдсхедом побывали в его комнатах и разобрали вещи — что оставить, а что отослать вдогонку.

Брайдсхед был серьезен и бесстрастен, как всегда.

— Жаль, что Себастьян не успел ближе познакомиться с монсеньером Беллом, — сказал он. — Он убедился бы, что это очень милый человек и жить у него только приятно. Я жил там весь последний курс. Моя мать считает, что Себастьян запойный пьяница. Это правда?

— Это ему всерьез угрожает.

— Я верю, что бог оказывает пьяницам предпочтение перед многими добропорядочными людьми.

— Бога ради, — сказал я, потому что в то утро я был близок к тому, чтобы заплакать, — зачем во все вмешивать бога?

— Простите. Я забыл. А знаете, это очень смешной вопрос.

— Вы находите?

— Для меня, конечно. Не для вас.

— Нет, не для меня. По-моему, без вашей религии Себастьян мог бы жить нормально и счастливо.

— Это спорный вопрос. Как вы думаете, ему еще понадобится эта слоновья нога?

В тот вечер я пошел к Коллинзу, жившему по другую сторону университетского дворика. Он сидел один со своими книгами, работал у окна при свете меркнущего дня.

— А, это вы, — сказал он. — Заходите. Не видел вас целый семестр. Боюсь, мне нечего вам предложить. Почему вы покинули блестящее общество?

— Я самый одинокий человек в Оксфорде, — ответил я. — Себастьяна Флайта исключили.

Потом я спросил его, что он думает делать в долгие каникулы. Он рассказал что-то непереносимо скучное. Потом я спросил, подыскал ли он квартиру на будущий год. Да, ответил он, правда далековато, но очень удобная квартира. На пару с Тингейтом, старостой кружка эссеистов.

— Одна комната там еще не занята. В ней соби-

рался поселиться Баркер. Но он выставил свою кандидатуру в президенты Союза и думает, что теперь ему удобнее поселиться поближе.

У нас обоих возникла мысль, что в этой комнате мог бы поселиться я.

— А вы куда едете?

— Я собирался жить на Мертон-стрит вместе с Себастьяном Флайтом. Это теперь пошло прахом.

Однако предложение так и не было произнесено, и момент прошел. На прощанье он сказал: „Желаю вам найти себе кого-нибудь в компанию на Мертон-стрит“. А я сказал: „Желаю вам найти себе кого-нибудь в компанию на Иффли-роуд“, — и больше никогда не говорил с ним.

До конца семестра оставалось десять дней; я кое-как прожил их и приехал в Лондон, не имея, как и год назад, при совсем других обстоятельствах, никаких определенных планов.

— А этот твой удивительно красивый приятель, — спросил отец, — он не приехал с тобой?

— Нет.

— Я уж было думал, что он решил совсем к нам перебраться. Жаль, он мне нравился.

— Отец, ты непременно хочешь, чтобы я получил диплом?

— Я хочу? Господи помилуй, почему бы я мог

хотеть этого? Мне он совершенно ни к чему. Дай тебе, насколько могу судить, тоже.

— Вот и я думаю точно так же. Мне кажется, снова возвращаться в Оксфорд будет напрасной тратой времени.

До этой минуты отец только вполуха слушал, что я говорю; теперь он положил книгу, снял очки и внимательно посмотрел на меня.

— Тебя исключили, — сказал он. — Брат предупреждал меня.

— Нет. Никто меня не исключал.

— Ну так о чем же тогда весь этот разговор? — неодобрительно спросил он, надевая очки и разыскивая место в книге. — Все проводят в Оксфорде по меньшей мере три года. Я знал одного человека, которому потребовалось семь лет, чтобы получить диплом богослова.

— Просто я думал, что, раз я не собираюсь заниматься ни одной из профессий, где нужен диплом, наверно, лучше будет сейчас же приняться за то дело, которое я для себя избрал. Я намерен стать художником.

Но на это отец мне тогда ничего не ответил. Однако мысль, как видно, запала ему в душу; когда мы в следующий раз заговорили на эту тему, она уже твердо в не укоренилась

— Если ты будешь художником, — сказал он в воскресение за завтраком, — тебе понадобится студия.

— Да.

— Ну а здесь нет студии. Нет даже комнаты, которую удобно было бы использовать под студию. Не могу же я допустить тебя заниматься живописью в галерее.

— Конечно. Я и не предполагал.

— И я не могу допустить, чтобы в дом набивались обнаженные натурщицы и художественные критики с их ужасным жаргоном. И потом, мне не нравится запах скипидара Я полагаю, ты намерен браться за дело всерьез и писать масляным красками.

Мой отец принадлежал к тому поколению, которое делило художников на серьезных и несерьезных в зависимости от того, пишут ли они маслом или акварелью.

— Едва ли я буду писать первый год. И потом, я вообще, вероятно, поступлю в какую-нибудь художественную школу.

За границей? — с надеждой спросил отец — Говорят, за границей есть превосходные школы.

Дело продвигалось гораздо быстрее, чем я предполагал.

— За границей или здесь. Мне надо сначала оглядеться.

— И оглядись за границей, — сказал он.

— Так ты согласен, чтобы я оставил Оксфорд?

— Согласен? Мой дорогой мальчик, тебе уже двадцать два года

— Двадцать, — поправил я. — Двадцать один в октябре.

— Только то? Мне представлялось, что это тянется уже так давно.

Завершает этот эпизод письмо от леди Марчмейн „Дорогой Чарльз, — писала она, — сегодня утром Себастьян уехал от меня за границу к своему отцу. Перед его отъездом я спросила, написал ли он вам, и он ответил, что нет, так что это должна сделать я, хотя не знаю, как я смогу выразить в письме то, что не сумела выразить во время нашей последней прогулки. Однако нельзя, чтобы вы оставались в неведении. Себастьяна исключили из колледжа только на один семестр и согласны взять назад при условии, что он поселится у монсеньера Белла. Пусть он решает сам. Между тем мистер Самграсс любезно согласился взять его пока под свое покровительство. Как только он вернется от отца, мистер Самграсс берет его с собой в поездку по Ближнему Востоку,

где мистер Самграсс давно уже хотел обследовать местные православные монастыри. Он надеется, что это может стать новым интересом для Себастьяна.

На рождество, когда они возвратятся, я знаю, Себастьян непременно захочет увидеть вас, и мы все тоже. Надеюсь, ваши планы на будущий семестр не очень сильно расстроились и все у вас пойдет хорошо.

Искренне Ваша

Тереза Марчмейн.

Нынче утром я пришла в садовую комнату и мне было так грустно“.

Книга вторая
БРАЙДСХЕД ПОКИНУТЫЙ

Глава первая

— И как раз когда мы поднялись на перевал, — рассказывал мистер Самграсс, — сзади раздался стук копыт и два солдата проскакали в голову каравана и повернули нас обратно. Их послал за нами генерал, но еще немного, и они бы опоздали. Наступал такой час, когда путешествовать в горах было небезопасно.

Он сделал паузу. Слушатели молчали, понимая, что он хочет произвести впечатление, но не зная, как выразить ему свой интерес?

— Час банд? — рискнула Джулия. — Ну и ну! Чувствовалось однако, что этого ему недостаточно. Наконец молчание нарушила леди Марчмейн:

— Но джаз-банды в тех местах, я думаю, не представляют интереса.

— Дорогая леди Марчмейн, бог с вами. Банды разбойников, бандиты. — Рядом со мной на диване Корделия давилась беззвучным смехом. — Горы кишат ими. Отставшие солдаты армии Кемаля, греки, оказавшиеся отрезанными при отступлении. Народ отчаянный, можете мне поверить.

— Умоляю, ущипните меня, — шепнула Корделия. Я ущипнул ее, и стоны в пружинах дивана смолкли.

— Благодарю, — сказала она, вытирая глаза рукой.

— И вы так и не добрались до этого места — как оно там называется? — сочувственно сказала Джулия. — То-то, наверно, ты был раздосадован, Себастьян?

— Я? — Голос Себастьяна прозвучал из темноты за пределами света, падавшего от лампы, и тепла от горячих поленьев, за пределами семейного круга, в стороне от фотографий, разложенных для показа на ломберном столике. — Я? По-моему, меня в тот день с ними не было, верно, Сами?

— Да, вы были нездоровы.

— Я был нездоров, — как эхо, повторил он, — поэтому я бы все равно не побывал в этом месте, как оно там называется, верно, Сами?

— А вот это, леди Марчмейн, это караван на заезжем дворе в Алеппо. Это наш повар армянин Бегедбян; а это я верхом на лошади; вот свернутая палатка; а вот один малоприятный курд, который пристал к нам и повсюду упорно за нами следовал… Вот я в Понте, в Эфесе, в Трапезунде, в Крак-де-Шевалье, в Самофракии, в Батуми—

разумеется, они у меня еще не разложены в хронологическом порядке.

— Проводники, руины, мулы, — сказала Корделия. — А где же Себастьян?

— Он, — поспешил ответить мистер Самграсс с торжеством словно ожидая этого вопроса и заранее к нему приготовясь, — держал фотоаппарат. Он сделался завзятым фотографом, как только обучился не заслонять рукой объектив, верно, Себастьян?

Голос из темноты промолчал.

Мистер Самграсс выудил из кожаного планшета еще одну фотографию.

— Вот группа на террасе отеля „Святой Георгий“, снятая в Бейруте уличным фотографом. Вон Себастьян.

— Позвольте, да ведь это Антони Бланш! — воскликнул я.

— Да, мы много времени проводили вместе, случайно встретились в Константинополе. Очень приятный человек. Непонятно, как я с ним раньше не познакомился. Он доехал с нами до самого Бейрута.

Чайный сервиз убрали и задернули шторы на окнах. Был третий день рождества и мой первый вечер в Брайдсхеде; Себастьян с мистером Сам-

грассом тоже приехали только сегодня, я, к моему удивлению, встретил их на перроне.

За три недели до того леди Марчмейн прислала письмо:

„Я только что получила весточку от мистера Самграсса, он пишет, что они с Себастьяном, как мы и надеялись, к Рождеству будут дома. От них так давно не было известий, что я уже боялась, не потерялись ли они, и не хотела заранее ни о чем уславливаться. Себастьян непременно захочет видеть вас. Приезжайте к нам на рождество, если сможете, или как только освободитесь после Рождества“.

Я должен был провести рождество у дяди и не мог нарушить слова, поэтому я ехал издалека и пересел на полпути в местную ветку, полагая, что Себастьян уже давно дома; но оказалось, что он приехал в соседнем вагоне со мной, а когда; я спросил, где он был все это время, мистер Самграсс очень гладко и многословно объяснил мне, что у них затерялся багаж и что контора Кука была закрыта на праздники, и я сразу же почувствовал, что существует другое объяснение, которое от меня скрывают.

Мистеру Самграссу было явно не по себе; внешне он держался с прежней самоуверенно-

стью, но дух нечистой совести, точно застарелый табачный запах, ощутимо шел от него, и леди Марчмейн встретила его с чуть заметной настороженностью. Он оживленно рассказывал о своей поездке все время, пока пили чай, но потом леди Марчмейн увела его наверх для „разговора по душам“. Я посмотрел ему вслед с чувством, близким состраданию; любому игроку в покер было ясно, что карта у мистера Самграсса никудышная, а за чаем я начал подозревать, что он не только блефует, но и передергивает. Было у него что-то на душе, что следовало, но очень не хотелось и отчего-то трудно было сказать леди Марчмейн о прошедшем Рождестве, но еще, я догадывался, он обязан был, но отнюдь не собирался рассказывать правду обо всем левантийском путешествии.

— Пошли проведаем няню, — сказал Себастьян.

— Можно, я тоже с вами? — попросилась Корделия.

— Идем.

Мы поднялись под купол в детскую. На лестнице Корделия спросила:

— Неужели ты совсем не рад, что вернулся?

— Конечно, рад.

— Мог бы как-нибудь и показать это. А я так

ждала. Няню не нужно было особенно занимать разговором. Она любила, чтобы те, кто приходит к ней, не обращали на нее внимания, предоставляя ей вязать чулок, и разглядывать их лица, и думать о том, какие они были маленькие; все их теперешние дела ничего не значили рядом с младенческими болезнями и проступками, хранимыми в ее памяти.

— Да, — сказала она Себастьяну, — вы заметно осунулись. Все, я думаю, эта их заграничная пища. Нужно вам теперь немного поправиться. И ложились, видно, за полночь, посмотреть на вас — все, поди, балы эти. (У нянюшки Хокинс было твердое убеждение, что в высшем свете люди проводят вечера главным образом на балах.) Рубашку вон надо подштопать. Принесите мне, перед тем как отдавать прачке.

Себастьян и в самом деле выглядел нездоровым. Пять месяцев изменили его, как несколько лет; он стал бледнее, исхудал, под глазами появились мешки, углы рта опустились, и на подбородке сбоку был заметен шрам от фурункула; голос его сделался глуше, движения вялы или, наоборот, очень резки; одежда его была потрепана, и волосы, которые прежде вились в счастливом беспорядке, теперь казались нечесаными; но

что хуже всего, во взгляде его я встретил ту самую настороженность, которую уловил еще на пасху и которая сделалась для него, как видно, привычной.

Обезоруженный этой настороженностью, я не стал его ни о чем расспрашивать, а вместо этого рассказал о себе, о прожитых осени и зиме, о квартире на Иль-де-Сен-Луи, и о классе живописи, и о том, как хороши старые учителя и как плохи их ученики.

— Они близко не подходят к Лувру, — рассказывал я, — а если когда и подойдут, то только потому, что какой-нибудь из их дурацких журналов вдруг „открыл“ художника, отвечающего модной в этом месяце эстетической теории. Половина из них жаждет наделать шуму и приобрести популярность в духе Пикабиа[25]; другая половина стремится только зарабатывать деньги, рисуя картинки для журнала мод или интерьеры ночных клубов. А их учителя по-прежнему хотят научить их писать, как Делакруа.

— Чарльз, — вмешалась Корделия, — ведь верно же, что модерн — это чепуха?

— Совершенная чепуха.

---

[25] Примечания: 25

Пикабиа, Франсис — французский художник, один из зачинателей так называемого „дадаизма“.

— О, я так рада! Мы поспорили с одной нашей монахиней, она говорила, что не следует критиковать то, чего мы не понимаем. Вот я теперь скажу ей, что слышала это от настоящего художника, будет тогда знать!

Вскоре наступило время Корделии идти к себе ужинать, а нам с Себастьяном спуститься в гостиную, где подавали коктейли. Там в одиночестве сидел Брайдсхед, но следом за нами вошел Уилкокс и объявил:

— Миледи желала бы побеседовать с вами у себя наверху, милорд.

— Что-то не похоже на маму — приглашать к себе. Обычно она сама заманивает того, кто ей нужен.

Подноса с коктейлями в гостиной не было. Мы подождали несколько минут, потом Себастьян позвонил. Появившийся на звонок лакей сказал:

— Мистер Уилкокс наверху у ее светлости.

— Неважно, принесите коктейли.

— Ключи у мистера Уилкокса, милорд.

— М-м… ну ладно, пришлите его с ними сюда, когда он освободится.

Мы немного поговорили об Антони Бланше:

— Он отпустил бороду в Стамбуле, я потом уговорил его побриться, — но минут через десять

Себастьян сказал: — Ладно, не хочу никакого коктейля, пойду приму ванну, — и ушел.

Была половина восьмого; я уже думал, что все ушли наверх одеваться, и как раз собрался последовать их примеру, когда на пороге комнаты столкнулся с вернувшимся Брайдсхедом.

— Одну минуту, Чарльз, я должен вам кое-что объяснить. Наша мать распорядилась, чтобы ни в одной из комнат не оставляли спиртное. Почему — вам понятно. Если вам чего-нибудь захочется, позвоните и велите Уилкоксу принести. Только лучше подождите, пока будете один. Мне очень жаль, но… вот так.

— Это необходимо?

— Насколько я понимаю, совершенно необходимо. Не знаю, известно вам или нет, но у Себастьяна был еще один срыв, как только они возвратились в Англию. Он исчез на рождество. И мистер Самграсс отыскал его только вчера вечером.

— Я догадывался, что произошло нечто в этом роде. Вы уверены, что такой способ наилучший?

— Это способ, избранный нашей матерью. Не выпьете ли теперь коктейля, пока он наверху?

— Он стал бы у меня в горле.

Мне всегда отводили ту же комнату, что и в

первый мой приезд, — рядом с Себастьяном, отделенную от него бывшей гардеробной, двадцать лет назад превращенной в ванную посредством замены кровати на глубокую медную ванну, вправленную в красное дерево, которая наполнялась нажатием на массивный бронзовый рычаг, напоминавший какое-то корабельное приспособление; прочая обстановка гардеробной осталась нетронутой; зимой в камине всегда горел огонь.

Я часто вспоминаю эту комнату — застекленные акварели запотели от пара, на спинке старинного кресла согревается большое банное полотенце — и сравниваю ее со стандартными, клиническими ванными помещеньицами, сплошь зеркальными и никелированными, которые сходят за роскошь в современном мире.

Я полежал в ванне, потом медленно вытирался перед камином, не переставая думать о печальном возвращении моего друга под родной кров. Надев халат, я вошел к Себастьяну, отворив дверь, как всегда, без стука. Он сидел полуодетый у камина и раздраженно обернулся к двери, поспешно поставив на столик стакан для чистки зубов.

— А, это вы. Я уж испугался.

— Так вы все-таки раздобыли выпивку, — сказал я.

— Не понимаю, о чем вы.

— Бога ради, — сказал я, — уж со мной-то вам незачем притворяться. Лучше бы угостили.

— Просто у меня было с собой немного во фляжке. А больше не осталось ни капли.

— Что происходит?

— Ничего. Многое. Потом расскажу. Я оделся, зашел за Себастьяном, но он сидел, как я его оставил — полуодетый в кресле у камина. В гостиной я застал одну Джулию.

— Ну, — сказал я, — что тут происходит?

— Да ничего, очередной семейный potin[26]. Себастьян снова напился, и мы все должны за ним приглядывать. Ужасная скука.

— Ему это тоже не слишком весело.

— Сам виноват. Почему он не может вести себя, как все? Кстати, насчет приглядывания, что вы скажете о мистере Самграссе? Чарльз, вы ничего подозрительного в нем не замечаете?

— Еще бы не замечать! Как вы думаете, ваша мать это видит?

— Мама видит только то, что ей удобно. Не может же она держать под наблюдением весь дом. Я, например, если слыхали, тоже причиняю

---

[26] Примечания: 26
Тарарам (франц.)

семье беспокойство.

Я ничего не слыхал — ответил я и сокрушенно и пояснил: — Я ведь только что из Парижа, — чтобы не создалось впечатление, будто кому-то может быть что-то о ней неизвестно.

Тот вечер был на редкость унылым. Ужинали в Расписной гостиной. Себастьян опоздал к столу, и нервы у всех были так натянуты, что, мне кажется, каждый в глубине души был готов увидеть, как он войдет, по-шутовски качаясь и громко икая; он же, разумеется, держался безупречно; извинился, сел на свободный стул и предоставил мистеру Самграссу довести до конца свой монолог, который никто больше не прерывал и, кажется, никто не слушал. Друзья, патриархи, иконы, клопы, романские руины, экзотические блюда из козьих и овечьих глаз, французские и турецкие чиновники — весь каталог ближневосточных реалий был представлен для нашего развлечения.

Я наблюдал, как обносили шампанским. Когда очередь дошла до Себастьяна, он сказал: „Мне, пожалуйста, виски“, — и я видел, как Уилкокс поверх его головы взглянул на леди Марчмейн, а она чуть заметно кивнула. В Брайдсхеде каждому желающему подавали отдельный наполненный

графинчик, куда помещалось с четверть бутылки; графин, который Уилкокс поставил перед Себастьяном, был наполовину пуст. Себастьян демонстративно поднял его на свет, поболтал, потом молча вылил в стакан, который заполнился не более чем на два пальца. Все сразу вдруг заговорили, все, за исключением Себастьяна, и мистер Самграсс на какое-то мгновенье остался без слушателей, толкуя о маронитах одному подсвечнику; но тут же все снова умолкли, и он безраздельно владел столом до самой той минуты, когда леди Марчмейн с Джулией вышли из комнаты.

— Не засиживайтесь долго, Брайди, — сказала она на пороге, как говорила всегда, и в тот вечер у нас не было ни малейшего желания засиживаться. Стаканы наши были наполнены портвейном, после чего графин немедленно исчез со стола. Мы быстро осушили стаканы и перешли в гостиную, где Брайдсхед попросил мать почитать вслух, и она до десяти часов с большим одушевлением читала „Дневник Никого“, а в десять закрыла книгу и объявила, что почему-то ужасно устала, настолько, что даже не зайдет перед сном в часовню.

— Кто едет завтра на охоту? — спросила она.

— Корделия, — ответил Брайдсхед. — Я беру молодую кобылку Джулии, пусть познакомится с собаками. Часа на два, не больше.

— Рекс приезжает завтра неизвестно когда, — сказала Джулия. — Мне лучше остаться, чтобы его встретить.

— Где назначен сбор? — неожиданно спросил Себастьян.

— Здесь. Флайт Сент-Мери.

— Тогда я тоже хотел бы поехать, если найдется для меня лошадь.

— Разумеется. Это просто чудесно. Я бы сам позвал тебя, только ты раньше всегда был так недоволен, когда приходилось ехать. Можешь взять Колокольчика. Он отлично ходит в этом сезоне.

Все вдруг ужасно обрадовались, что Себастьян хочет ехать на охоту; сумрак вечера немного рассеялся. Брайдсхед позвонил, чтобы принесли виски.

— Может быть, еще кому-нибудь?

— Мне принесите, пожалуйста, тоже, — сказал Себастьян, и на этот раз не Уилкокс, а лакей так же посмотрел на леди Марчмейн и получил в ответ еле заметный кивок. Все в доме были предупреждены. Виски принесли уже разлитое в

два стакана, словно заказанное у стойки, и все наши глаза следовали по комнате за подносом, как глаза собак в столовой, провожающие блюдо с дичью.

Однако благодушие, порожденное желанием Себастьяна участвовать в завтрашней охоте, сохранилось; Брайдсхед написал записку для конюха, и мы в радужном настроении разошлись по комнатам.

Себастьян сразу лег; я сидел у его камина и курил трубку.

— Может быть, мне поехать завтра вместе с вами? — сказал я.

— Ничего интересного вы не увидите, — ответил он. — Могу вам точно сказать, что я намерен сделать. Отстану от Брайди у первой же норы, потрушу легонько в ближний кабак и проведу там весь день, упиваясь на свободе. Раз они обращаются со мной, как с алкоголиком, пусть тогда и получают алкоголика на здоровье. Да и потом, я все равно ненавижу охоту.

— Ну, что же. Помешать я вам не могу.

— Между прочим, можете — если не дадите мне денег. Они закрыли этим летом мой лицевой счет. Отсюда проистекли мои главные трудности. Часы и портсигар я уже заложил, чтобы обеспе-

чить себе счастливое рождество, так что завтра мне придется за деньгами обратиться к вам.

— Я не могу. Вы отлично знаете, что это невозможно.

— Невозможно, Чарльз? Ну что-ж. Как-нибудь устроюсь сам. Я теперь стал ужасно ловкий по этой части — как устраиваться самому. Пришлось, ничего не поделаешь.

— Себастьян, что у вас там было с мистером Самграссом?

— Он же вам рассказывал за обедом про руины, мулов и местные достопримечательности — это все было у Сами. Просто мы решили, что каждый пойдет своим путем, вот и все. Бедняга Сами, в сущности, до последнего времени вел себя довольно сносно. Я надеялся, что он и дальше не подкачает, но, боюсь, он проявил крайнюю неосмотрительность, рассказав о моем счастливом рождестве. Наверное, думал, что если изобразит меня в слишком хорошем свете, то, пожалуй, еще потеряет место телохранителя.

Понимаете, ему оно очень выгодно. Я не хочу сказать, что он ворует, нет. По-своему он довольно честен в денежных делах. Во всяком случае, он ведет такую неприятную книжицу, куда вносит все суммы, которые получает по аккредитивам, и

все расходы, и в любой момент может предъявить ее маме и адвокатам. Но ему очень хотелось проехаться по всем этим местам, и благодаря мне он смог проделать путешествие с комфортом, а не ютиться бог знает где, как обычные университетские преподаватели. Единственной неприятной стороной было мое общество, но мы очень скоро это уладили.

Начали мы, как вы понимаете, с размахом, в стиле большого турне, у нас были письма к разным видным людям во всех местах, и мы останавливались на Родосе у военного губернатора и у посланника в Константинополе. Это-то и послужило для Сами главной приманкой. Конечно, у него были свои заботы — приходилось постоянно держать меня под присмотром, но он всякий раз спешил предупредить людей, что я ненормален.

— Себастьян!

— Не совсем нормален — ну а так как у меня не было денег, разойтись мне особенно не было возможности. Он даже на чай давал за меня, сунет человеку ассигнацию и тут же запишет к себе в книжицу. Но в Константинополе мне привалила удача. В один прекрасный вечер Сами за мной недосмотрел, и я умудрился выиграть немного денег в карты и назавтра, улизнув от него, засел

в баре Токатляпа, где и проводил время в свое удовольствие, как вдруг кто бы, вы думали, там появился? Антони Бланш с бородой и новым дружком, евреем. Антони успел одолжить мне десятку, прежде чем туда ворвался, запыхавшись, бедняга Сами и вновь завладел мною. После этого меня ни на секунду не оставляли одного; сотрудники посольства посадили нас на пароход, идущий в Пирей, и не уходили с пристани, пока мы не отчалили. Но в Афинах все оказалось просто. После обеда я преспокойно вышел из здания посольства, обменял у Кука мою десятку, расспросил там, чтобы сбить Сами со следа, о пароходе до Александрии, а сам сел в автобус, приехал в порт, нашел там одного матроса, который говорил по-американски, спрятался у него, пока не отошел пароход, и без труда очутился снова в Константинополе.

Антони со своим еврейским дружком жили в чудесном полуразвалившемся домишке рядом с базаром. Я у них и сидел там, пока не похолодало, потом мы с Антони пустились в путь к югу и в конце концов, как было условлено, три недели назад соединились в Сирии с Сами.

— И Сами не возражал?

— О, мне кажется, он получил большое удо-

вольствие на свой чудовищный лад. Правда, в высшем свете ему, конечно, не пришлось больше вращаться. Сначала он, наверное, немного — беспокоился. Но я не хотел, чтобы он выслал на поиски весь средиземноморский флот, поэтому телеграфировал ему из Константинополя, что со мной ничего не случилось и пусть переводит деньги на Оттоманский банк. Получив телеграмму, он тут же прискакал в Константинополь. Конечно, у него было трудное положение, потому что я совершеннолетний и пока еще свидетельства о психической неполноценности на меня не выправили, так что арестовать он меня не мог. И не мог меня бросить умирать с голоду, а сам пока жить на мои деньги, и не мог сообщить маме, чтобы не оказаться в полных дураках. Куда ни кинь, он был у меня в руках, бедняга Сами. У меня была сначала мысль расстаться с ним совсем, и дело с концом, но Антони мне тут очень помог, он сказал, что гораздо лучше будет все уладить по-дружески, и все замечательно уладил. И вот я здесь.

— После рождества.

— Да. Я твердо решил устроить себе веселое Рождество.

— Ну и как? Устроили?

— Вероятно. Я мало что помню, а это хороший признак, верно ведь?

На следующее утро за завтраком Брайдсхед был в алом. Корделия, высоко вздернув подбородок над белым шарфом своей нарядной амазонки, запричитала, увидев Себастьяна в твидовом пиджаке:

— Ой, Себастьян, ну разве так можно! Ну пожалуйста, ступай переоденься. Тебе так к лицу охотничий костюм!

— Его засунули куда-то. Гиббс не мог найти.

— Это басни. Я сама помогала все достать до того, как тебя разбудили.

— Там половина принадлежностей потеряна.

— И это так скверно повлияет на местные нравы. Если б ты только знал, до чего опустились в этом сезоне Стриклэнд-Винеблсы. Они даже сняли цилиндры с грумов!

Было уже без четверти одиннадцать, когда лошадей наконец подвели к крыльцу, но больше никто из обитателей дома до сих пор не показывался внизу; они словно затаились все, выжидая, пока не замолкнет в отдалении стук копыт Себастьяновой лошади.

Перед самым выездом, когда остальные уже сидели в седле, Себастьян поманил меня в холл.

На столе рядом с его шляпой, перчатками, хлыстом и бутербродницей лежала фляга, которую он передал, чтобы ее наполнили. Он поднял ее и поболтал— она была пуста.

— Видите, — сказал он, — я даже настолько не заслуживаю доверия. Сумасшедший не я, а они. Теперь вы не можете отказать мне в деньгах.

Я дал ему фунтовую бумажку.

— Еще.

Я дал ему вторую и, стоя на крыльце, смотрел, как он сел на лошадь и тронул рысью за братом и сестрой.

И тотчас же, словно по знаку режиссера, подле меня очутился мистер Самграсс, взял меня под локоть и привел назад, к горящему камину. Он погрел над огнем свои аккуратные ручки, потом повернулся и стал греть спину.

— Итак, Себастьян отправился в погоню за лисицей, — проговорил он, — и мы можем отложить нашу маленькую заботу на час-другой.

Я не намерен был терпеть от мистера Самграсса этот тон.

— Мне известно все о вашем „большом турне“, — сказал я.

— А-а, я так и думал, — отозвался мистер Самграсс без всякого смущения, скорее, облегченно,

словно рад был посвященному собеседнику. — Я предпочел не терзать всем этим нашу хозяйку. В конце концов, дело обернулось гораздо благополучнее, чем можно было ожидать. Однако я счел долгом дать кое-какие объяснения о том, как Себастьян отпраздновал Рождество. Вы вероятно, заметили вчера вечером, что были приняты некоторые меры предосторожности.

— Заметил.

— И нашли их преувеличенными? Совершенно с вами согласен, тем более что они угрожают нашему собственному безмятежному пребыванию в этом доме. И я повидал сегодня утром леди Марчмейн. Не думайте, что я только с постели. Я имел разговор с нашей хозяйкой. И, по-моему, мы можем рассчитывать сегодня на некоторое послабление. Вчерашний вечер вряд ли кому-нибудь захотелось бы пережить вторично. Я, мне кажется, не получил той благодарности, которую заслужил, стараясь развлечь компанию.

Мне было противно говорить о Себастьяне с мистером Самграссом, но я принужден был сказать:

— Не уверен, что сегодняшний вечер — подходящий момент для послаблений.

— Да что вы! Сегодня, после долгого дня в поле под бдительным оком Брайдсхеда? Можно ли

найти момент более подходящий?

— Ну, не знаю. В конце концов, это не мое дело.

— И не мое, строго говоря, раз уж он благополучно водворен под родительский кров. Леди Марчмейн просто оказала мне честь, попросив моего совета. Я же в глубине души не столько забочусь сейчас о Себастьяне, сколько о нас самих. Я нуждаюсь в третьем стакане портвейна, мне не хватает в библиотеке гостеприимного подноса с коктейлями. И, однако, вы определенно высказались против сегодняшнего вечера. Интересно почему? С Себастьяном сегодня ничего дурного произойти не может. Прежде всего, у него нет денег. Мне это доподлинно известно. Я сам об этом позаботился. Даже его часы и портсигар лежат у меня наверху. Можно совершенно ничего не опасаться… если, конечно, не нашлось дурного человека, который бы снабдил его какой-то суммой. А, леди Джулия, доброе утро, доброе утро. Как настроение болонки среди всеобщего охотничьего азарта?

— Болонка в порядке, благодарю. Послушайте, сегодня приезжает Рекс Моттрем, и я просто не могу допустить второго такого вечера, как вчера. Кто-то должен поговорить с мамой.

— Кто-то уже поговорил. Я был у нее. Думаю,

что сегодня все будет в порядке.

— Слава богу. Вы сегодня рисуете, Чарльз? Создалась традиция, что я в каждый свой приезд расписываю один медальон на стене садовой комнаты. Мне это было очень удобно, так как давало приличный повод уединяться от всех остальных, и, когда дом был полон гостей, моя садовая комната соперничала с детской как убежище, куда время от времени забредал кто-нибудь, чтобы пожаловаться на других; так, не прилагая ни малейших усилий, я постоянно был в курсе всех разговоров и событий дня. К этому времени три медальона были уже готовы, каждый по-своему довольно красив, но, к сожалению, каждый в другой манере, так как за полтора года, протекшие с начала работы, вкусы мои менялись и умение возрастало. Как единый декоративный замысел они совсем не удались. В то утро я, как обычно, искал убежища в садовой комнате. Я поспешил туда и скоро погрузился в работу. Джулия пошла вместе со мною посидеть и посмотреть, как пойдет дело, и говорили мы, естественно, о Себастьяне.

— Неужели вам никогда не надоедает эта тема? — спросила она. — Почему мы все должны так с ним носиться?

— Просто потому, что мы его любим.

— Ну и что ж. Я тоже, мне кажется, по-своему его люблю, только мне непонятно, почему бы ему не вести себя, как все люди. Понимаете, я выросла в семье, где уже есть одна тайна — папа. Такая, о которой нельзя говорить при слугах, нельзя было говорить при детях, пока мы были маленькие. Если мама собирается сделать из Себастьяна еще одну, это, по-моему слишком. Раз он обязательно хочет всегда быть пьяным, почему бы ему не поехать куда-нибудь в Кению, где это неважно?

— Почему быть несчастливым в Кении не так важно, как быть несчастливым где-то еще?

— Не прикидывайтесь глупым, Чарльз. Вы отлично понимаете.

— То есть это было бы не так неловко для вас? Ну, так вот, я хочу только сказать, что сегодня вечером, если Себастьяну не помешать, может получиться большая неловкость. Он в дурном расположении духа.

— Пустяки, денек на охоте придаст ему бодрости. Трогательно было видеть, как они все верили в благотворное воздействие охоты. Леди Марчмейн, которая тоже заглянула ко мне в те утренние часы, сама насмешливо отметила это с той тонкой иронией, которой она славилась;

— Я всегда терпеть не могла охоту, — сказала она. — По-моему, она порождает даже в превосходных людях самое безобразное, грубое хамство. Не знаю, в чем тут дело, но стоит надеть охотничий костюм и сесть на лошадь, и люди превращаются в каких-то пруссаков. А как они хвастают после охоты! Сколько раз я сидела за ужином и молча ужасалась тому, что мои хорошие знакомые, мужчины и женщины, вдруг превратились в очумелых самодовольных хамов!.. И, однако, вот теперь — право, это, должно быть, нечто унаследованное от прежних веков — на сердце у меня так легко, когда я думаю о том, что Себастьян поехал с ними. „Ничего страшного не произошло, — говорю я себе, — ведь он поехал на охоту“. Словно на небе услышана моя молитва.

Она расспросила меня о моей жизни в Париже. Я описал свою квартиру с видом на реку и на башни Парижской богоматери.

— Я надеюсь, что Себастьян поедет со мной погостить, когда я соберусь обратно.

— Да, чудесно было бы, — ответила леди Марчмейн, вздыхая, словно о чем-то несбыточном.

— И надеюсь, он приедет к нам в Лондон.

— Чарльз, вы знаете, что это невозможно. Лон-

дон самое неподходящее место. Там даже мистер Самграсс не мог удержать его под контролем. У нас в доме нет секретов — видите ли, он пропадал все рождество. И мистеру Самграссу удалось обнаружить его только потому, что ему нечем было оплатить счет и оттуда позвонили к нам домой. Это слишком страшно. Нет-нет, Лондон совершенно исключается, если уж он не может владеть собой здесь, с нами… Мы должны подержать его немного тут, позаботиться, чтобы ему было хорошо, чтобы он поправился, поездил на охоту, а потом надо опять отправить его за границу с мистером Самграссом… Видите ли, я уже пережила все это один раз.

Ответ на это и непроизнесенный был отлично известен нам обоим: „Его вы не могли удержать, он сбежал от вас. И Себастьян сбежит. Потому что они оба вас ненавидят“.

Внизу, в долине, прозвучал охотничий рог.

— Ну вот, едут. Они уже в наших лесах. Надеюсь, ему было весело.

Так, разговаривая с Джулией и с леди Марчмейн, я и в том и в другом случае очутился в тупике, и не потому, что мы не понимали друг друга, а потому, что понимали слишком хорошо. А с Брайдсхедом, когда он вернулся к обеду и мы

заговорили с ним на эту же тему — ибо тема эта была в доме повсюду, точно пожар в трюме большого парохода, глубоко внизу, под ватерлинией, черно-красный в кромешной тьме и вырывающийся наружу лишь ядовитыми струйками дыма сквозь щели люков, а потом вдруг начинающий валить густыми клубами из вентиляционной системы, — с Брайдсхедом я чувствовал себя в каком-то незнакомом мне мире, в мире, мертвом для меня, среди лунного пейзажа голой лавы, на обременительной для легких высоте. Он сказал:

— Я надеюсь, что он болен алкоголизмом. Тогда это просто большое горе, и мы все должны помогать ему его снести. Раньше я боялся, что он напивается нарочно, когда хочет и потому что хочет.

— Так оно и было — мы оба напивались именно так. И сейчас он со мной пьет, когда хочет и сколько хочет. Я могу удержать его на этом, если бы только ваша мать мне доверилась. А если вы будете преследовать его лечениями и наблюдениями, он за несколько лет превратится в развалину.

— Видите ли, превратиться в развалину — это не грех. Никто не обязан перед богом непременно стать министром почт и сообщений, или лейб-

егерем королевского двора, или в восемьдесят лет ходить пешком по десять миль.

— Не грех, — повторил я. — Не обязан, перед богом. Вы снова о религии?

— А я никогда и не оставлял этой темы, — ответил Брайдсхед.

— Знаете, Брайди, если бы я когда-нибудь испытал желание стать католиком, достаточно бы мне было пять минут побеседовать с вами, и это бы как рукой сняло. У вас удивительная способность сводить, казалось бы, вполне разумные посылки к полной бессмыслице.

— Странно, что вы это говорите. Я уже слышал такое же мнение и от других людей. Поэтому-то я, в частности, и думаю, что из меня не выйдет хороший священник. Видно, так уж у меня устроена голова.

За обедом Джулия была занята только ожидающимся приездом своего гостя. Она взяла машину и поехала встречать его на станцию, и к чаю он был уже в Брайдсхеде.

— Мама, ты только погляди на рождественский подарок Рекса!

Рождественским подарком была живая черепашка с инкрустированным бриллиантами по панцирю вензелем Джулии; и это чуточку

непристойное живое существо, то беспомощно оскользающееся на паркете, то поднятое для всеобщего осмотрения на ломберный столик или ползущее по ковру, прячась при малейшем прикосновении и тут же снова вытягивая морщинистую шейку и раскачивая серой допотопной головой, стало для меня образом всего того вечера, тем крючком на сети воспоминаний, который зацепляет внимание, хотя нечто гораздо большее совершается у нас на глазах.

— Господи, — сказала леди Марчмейн. — И неужели она ест все то же самое, что и обыкновенная черепаха?

— А что вы сделаете, когда она подохнет? — спросил мистер Самграсс. — Нельзя ли будет вставить в этот панцирь новую черепаху?

Рекса предупредили о Себастьяне — иначе он едва ли выдержал бы мрачную атмосферу Брайдсхеда, — и он немедленно предложил готовый выход. Он бодро и открыто рассуждал об этом за чаем, и после целого дня шепотов слышать его громкий голос было большим облегчением.

— Надо послать его в Цюрих к Баретусу. Баретус — как раз тот человек, который здесь нужен. Он у себя в санатории каждый день творит настоящие чудеса. Знаете, как пил Чарли Килкартни?

— Нет, — ответила леди Марчмейн со своей милой иронией. — Боюсь, что мы не знаем, как пил Чарли Килкартни.

Джулия, отвернувшись к черепахе нахмурила брови, услышав насмешку над своим поклонником, но Рекс Моттрем был нечувствителен к таким уколам.

— Две жены махнули на него рукой, — рассказывал он. — А когда он обручился с Сильвией, она поставила условием, что он поедет лечиться в Цюрих. И ему помогло. Через три месяца вернулся другим человеком. И с тех пор капли в рот не взял, даже несмотря на то, что Сильвия от него ушла.

— Почему же?

— Ну, бедняга Чарли, когда бросил пить, стал довольно большим занудой. Но это уже к делу не относится.

— Да-да, разумеется. Эта история, как я понимаю, предназначена обнадеживать.

Джулия снова сердито посмотрела на черепаху.

— Он и половыми отклонениями, знаете, тоже занимается.

— Ох, какие удивительные знакомства ждут бедного Себастьяна в Цюрихе!

— Конечно, у него все места заняты на много

месяцев вперед, но я думаю, они там потеснятся, если я его попрошу. Я могу позвонить ему сегодня же прямо отсюда.

(Рекс, охваченный стремлением помочь ближнему, был склонен действовать с устрашающей напористостью, словно навязывал упирающейся домохозяйке ненужный ей пылесос.)

— Мы подумаем об этом.

И мы думали об этом, когда с охоты вернулась Корделия.

— Джулия, какой ужас! Что это?

— Рождественский подарок Рекса.

— Ой, простите. Вечно я ляпаю невпопад. Но как жестоко! Ей, должно быть, было ужасно больно.

— Они не чувствуют.

— Ну да. Откуда ты знаешь? Могу спорить, чувствуют. Она поцеловала мать, с которой еще не виделась сегодня, пожала руку Рексу и позвонила, чтобы ей принесли яичницу.

— Я пила чай у миссис Барни, ведь я вызвала машину по ее телефону, но все равно голодна ужасно. День был — чудо! Джин Стриклэнд-Виневлс шлепнулась прямо в лужу. Мы проскакали без остановки от Бенджерса до Аппер-Истри. Миль, наверно, пять, да, Брайди?

— Три.

— Ну, не по прямой же гнали… — Набивая рот яичницей, она урывками рассказывала нам об охоте… — Посмотрели бы вы на Джин, когда она вылезла из лужи.

— А где Себастьян?

— Себастьян опозорен навеки. — Эти слова, сказанные ее детским голоском, прозвучали как звон заупокойного колокола. Но она продолжала: — Отправиться на охоту в этом ужасном простолюдинском сюртучке и с галстучком, как ученик верховой школы капитана Морвина! Я лично его не узнала на сборе и надеюсь, что никто не узнал. Разве он не вернулся? Заблудился, наверно.

Когда Уилкокс пришел после чая убрать со стола, леди Марчмейн спросила!

— Лорд Себастьян не давал о себе знать?

— Нет, ваша светлость.

— Видно, заехал к кому-то выпить чаю. Как это на него не похоже.

Полчаса спустя, появившись с подносом коктейлей, Уилкокс объявил:

— Лорд Себастьян только что звонил из Саут-Твайнинга, чтобы за ним прислали машину.

— Из Саут-Твайнинга? Кто там живет?

— Он говорил из гостиницы, ваша светлость.

— Саут-Твайнинг! — повторила Корделия. —

Совсем с дороги сбился!

Когда он приехал, щеки его были красны, глаза лихорадочно блестели; я сразу увидел, что он на две трети пьян.

— Мой дорогой мальчик, — сказала леди Марчмейн. — Как приятно, что ты опять так хорошо выглядишь. День на воздухе пошел тебе на пользу. Коктейли на столе. Выпей, если хочешь.

Не было ничего примечательного в ее словах, кроме того, что она их произнесла. Полгода назад они бы не были сказаны. — Спасибо, — ответил Себастьян. — Я выпью.

Удар, которого заранее ждешь, который пришелся по уже наболевшему месту и принес с собой не потрясение, но лишь тупую, мучительную боль да мельком мысль о том, что еще один будет уже не по силам, — вот что я чувствовал, сидя за ужином против Себастьяна и видя его помутившийся взгляд и неверные движения, слыша его осипший голос, вдруг брякающий что-то невпопад после продолжительного, невежливого молчания. Когда наконец леди Марчмейн с Джулией и слуги ушли, Брайдсхед сказал:

— Тебе бы лучше пойти лечь спать, Себастьян.

— Сначала портвейну выпью.

— Да, выпей портвейну, если тебе хочется. Но

не появляйся в гостиной.

— Угу, перебрал, — Себастьян кивнул. — Как в добрые старые времена. Джентльмены здорово надирались в добрые старые времена, не могли выйти к дамам. („Надо сказать, что совсем не как в старые времена, — заметил чуть позже мистер Самграсс, пытаясь завязать со мною дружескую беседу. — В чем разница, трудно определить. То ли веселья недостает, то ли духа товарищества. И знаете, у меня полное впечатление, что он пил еще днем, в одиночку. Откуда же он взял деньги?“)

— Себастьян пошел спать, — сказал Брайдсхед, когда мы пришли в гостиную.

— Да? Почитать вам?

Джулия и Рекс сели играть в безик; черепаха от наскоков болонки спряталась в панцирь; леди Марчмейн читала вслух „Дневник Никого“, но очень скоро, хотя было еще рано, закрыла книгу и сказала, что пора спать.

— Я останусь еще немного, можно, мама? Еще три роббера.

— Хорошо, дорогая. Зайди ко мне, перед тем как лечь. Я не буду спать.

Нам с мистером Самграссом было очевидно, что Джулия и Рекс хотят остаться одни, поэтому

мы тоже раскланялись;

Брайдсхеду это не было очевидно, и он уселся в кресло читать „Таймс“, который сегодня не успел просмотреть раньше. Вот тогда-то, по пути на нашу половину дома, мистер Самграсс и сказал: „Совсем не как в старые времена“.

Утром я спросил у Себастьяна

— Скажите мне честно, вам нужно, чтобы я здесь оставался?

— Да нет, Чарльз. Не нужно.

— От меня вам никакой помощи?

— Никакой.

И я отправился объявить о своем отъезде и принести извинения его матери.

— Мне нужно вас кое о чем спросить, Чарльз. Вы дали вчера Себастьяну денег?

— Да.

— Зная, как он их употребит?

— Да.

— Не понимаю, — сказала она. — Просто не понимаю, как можно быть таким злым и бессердечным,

Она помолчала, но ответа, по-моему, не ждала; мне нечего было ей ответить, разве только завести сначала знакомый, бесконечный спор.

— Я не собираюсь вас упрекать, — сказала

она. — Видит бог, не мне упрекать кого-либо. Всякая слабость моих детей — это моя слабость. Но я не понимаю. Не понимаю, как можно быть таким милым во многих отношениях и потом вдруг сделать такой бессмысленно жестокий поступок. Не понимаю, как мы все могли вас любить. Вы с самого начала нас ненавидели? Не понимаю, чем мы это заслужили.

Я остался невозмутим; ее горе не нашло отзыва ни в одном уголке моего сердца. Когда-то я именно так представлял себе сцену моего исключения из школы. Я почти готов был услышать от нее слова: „Мы уже поставили в известность вашего несчастного отца“. Но, отъезжая в автомобиле и обернувшись, чтобы бросить, как я полагал, последний, прощальный взгляд на Брайдсхед, я ощутил, что оставляю там частицу самого себя, и, куда ни отправлюсь теперь, мне всюду будет чего-то не хватать, и я буду пускаться в безнадежные поиски, подобно привидениям, которые бродят в тех местах, где некогда зарыли свои земные богатства, и теперь не могут оплатить себе дорогу в подземный мир.

„Я никогда сюда не вернусь“, — сказал я себе.

За мною захлопнулась дверь, низенькая дверца в стене, которую я отыскал и открыл в Оксфорде;

распахни я ее теперь, и там не окажется никакого волшебного сада.

Я вынырнул на поверхность, на свет прозаического дня и на свежий морской воздух, после долгого плена в темных стенах коралловых дворцов и в колышущихся джунглях океанского дна.

Позади осталось-что? Юность? Отрочество? Романтика? Некое свойственное им волшебство, „Учебник юного мага“, маленький лакированный ящичек, где рядом с обманными биллиардными шарами лежит черная волшебная палочка, монетка, складывающаяся пополам, и цветы из перьев, которые можно протянуть через полую свечу.

— Я расстался с иллюзией, — говорил я себе. — Отныне я буду жить в мире трех измерений и руководствоваться моими пятью чувствами.

С тех пор я успел убедиться, что такого мира нет, но тогда, бросая прощальный взгляд на скрывающийся за поворотом аллеи дом, я думал, что мир этот не надо даже искать, что он обступит меня со всех сторон, стоит лишь выехать на шоссе.

Так я возвратился в Париж, к друзьям, которых успел там завести, и к новым привычкам. Я думал, что больше никогда не услышу о Брайдсхеде, но в жизни редки такие внезапные и оконча-

тельные разлуки. Не прошло и трех недель, как я получил письмо, написанное офранцуженным монастырским почерком Корделии.

„Голубчик Чарльз, — писала она, — мне было так ужасно грустно, когда вы уехали. Могли бы зайти попрощаться.

Мне все известно о вашем позоре, и я пишу вам, чтобы сообщить, что я тоже опозорилась: утащила у Уилкокса ключи и достала Себастьяну виски и была застигнута на месте преступления. Ему было очень нужно. По этому поводу был (и еще не кончился) грандиозный скандал.

Мистер Самграсс уехал (хорошо!), и, по-моему, тоже с позором, хотя за что, непонятно.

Мистер Моттрем пользуется благосклонностью Джулии (плохо!) и собирается увезти Себастьяна (очень, очень плохо!) к какому-то немецкому доктору.

Черепаха Джулии пропала. Мы думаем, что она зарылась в землю — они ведь зарываются? — так что прощай изрядный куш (выражение мистера Моттрема).

Я чувствую себя превосходно.

С приветом

Корделия“.

Примерно через неделю после получения этого

письма я как-то вернулся с этюдов домой и застал у себя в квартире Рекса.

Было около четырех часов, помнится, свет в студии в это время года уже начинал меркнуть. Когда консьержка объявила, что меня дожидается один господин, я по выражению ее лица сразу понял, что наверху моему взору откроется нечто внушительное; у нее был особый дар выражать всевозможные градации возраста и привлекательности посетителя; на этот раз речь, как видно, шла о весьма важной персоне, и действительно, Рекс, стоявший у окна в своей тяжелой дорожной шубе, выглядел в высшей степени барственно.

— Вот так так, — сказал я. — Здравствуйте.

— Я приходил сегодня утром. Мне объяснили, где вы обычно обедаете, но там вас не было. Он у вас?

Мне не было нужды спрашивать, о ком идет речь.

— Значит, он от вас тоже улизнул?

— Мы приехали вчера вечером и должны были сегодня сесть в поезд на Цюрих. После ужина я оставил его у „Лотти“, потому что он пожаловался на усталость, а сам зашел в Клуб путешественников перекинуться в картишки.

Я заметил, что даже в разговоре со мной он старается оправдаться, словно репетирует некое еще предстоящее ему объяснение. „Пожаловался на усталость!“ Я не представлял себе, чтобы Рекс позволил полупьяному юнцу помешать ему провести вечер за картами.

— А когда вернулись, его не оказалось?

— Напротив. Уж лучше бы так. Когда я пришел, он еще не ложился, сидел в номере! В клубе мне подряд несколько раз крупно подвезло, и я отхватил изрядный куш. И пока я спал, Себастьян увел его целиком. Оставил только два билета первого класса до Цюриха, засунул за раму зеркала. Без малого три сотни, черт бы его подрал!

— И теперь находится неизвестно где?

— Вот именно. Вы его случайно не прячете?

— Нет. Мои дела с этим семейством кончены.

— А мои, сдается мне, только начинаются, — вздохнул Рекс. — Послушайте, мне надо о многом переговорить с вами, а я обещал одному типу в клубе дать отыграться. Вы не поужинаете со мной?

— Хорошо. Где?

— Я обычно езжу к „Чиро“.

— Почему не к „Пейяру“?

— Не слыхал о таком. Плачу я, имейте в виду.

— Имею. А я буду заказывать.

— Сговорились. Как, вы говорите, это место называется? — Я написал ему название ресторана. — Там можно наблюдать туземные нравы?

— Да, в каком-то смысле.

— Ну что ж. Это интересно. Закажите что-нибудь посмачнее.

— Я так и собираюсь.

Я приехал на двадцать минут раньше Рекса. Если уж мне предстояло провести вечер в его обществе, я намерен был по крайней мере провести его на свой вкус. Хорошо помню тот ужин — суп из oseille[27], морской язык, отваренный в белом винном соусе, caneton a la presse[28], лимонное суфле. В последнюю минуту, боясь как бы все это не показалось Рексу слишком простым, я прибавил caviar aux blinis[29]. Что до вина, то я дал ему возможность угостить меня бутылочкой „монтраше“ 1906 года, тогда в самой поре, а к утке — „Кло де Бэз“ 1904 года.

В те годы жизнь во Франции была легкой;

---

[27] Примечания: 27
Щавель (франц.)

[28] Примечания: 28
Утка под прессом (франц.)

[29] Примечания: 29
Блины с черной икрой (франц.)

обменный курс оставался таким, что моего содержания хватало выше головы, и существование, которое я вел, было отнюдь не полуголодным. Но такие ужины, как тот, я едал нечасто и потому чувствовал к Рексу дружеское расположение, когда он наконец появился в ресторане и отдал при входе пальто и шляпу с таким видом, будто расставался с ними навсегда. Он оглядывал полутемный маленький зал так подозрительно, словно ожидал встретить здесь бандитов или компанию загулявших студентов. Но увидел всего только четырех сенаторов, которые сидели и ели в абсолютном молчании, засунув под бороды салфетки. Я представил себе, как он потом будет рассказывать своим дружкам-коммерсантам: „...один мой знакомый, занятный парень, изучает живопись в Париже. Повел меня в такой чудной ресторанчик — знаете, мимо пройдешь и не взглянешь, — и лучше, чем там, меня в жизни не кормили. За столиками рядом сидело с полдюжины сенаторов, а уж это верный знак, что мы попали куда следует. Удовольствие, надо сказать, не из дешевых“.

— От Себастьяна ни слуху ни духу? — спросил он.

— И не будет, пока ему не понадобятся день-

ги, — ответил я.

— Не слишком любезно с его стороны так вдруг исчезнуть. Я, надо сказать, имел надежду, что, если все с ним устрою, это мне кое-где зачтется.

Он явно хотел поговорить о себе; но я считал, что с этим можно подождать, пока не наступит время благодушия и пресыщения, время коньяка; повременить, пока внимание не притупится и можно будет слушать его лишь вполуха; теперь же, в самый животрепещущий момент, когда maitre d'hotel переворачивает на сковородке блины, а двое подручных на заднем плане готовят утку, теперь мы лучше поговорим обо мне.

— Вы еще долго пробыли в Брайдсхеде? Упоминалось ли там мое имя после того, как я уехал?

— Упоминалось ли? Да оно у меня в ушах навязло, старина. У маркизы из-за вас была, как она говорила, „неспокойная совесть“. Видно, она сказала вам пару ласковых на прощанье?

— „Злой и бессердечный“, „бессмысленно жестокий“.

— Серьезные обвинения.

— Назови хоть пирогом с голубятиной, только в рот не клади…

— Как вы сказали?

— Пословица такая.

— А-а.

Горячее масло и сметана смешались и полились, отделяя каждую серо-зеленую икринку и окружая ее золотисто-белым ореолом.

— Я люблю подсыпать накрошенного луку, — сказал Рекс. — Один знающий тип говорил, что это придает вкус.

— Вы сначала попробуйте без лука, — ответил я. — И расскажите, какие еще есть новости обо мне.

— Ну, во-первых, понятное дело, Грамграсс или как его там — этот учителишка, который все задирает нос, — сел в лужу, чем всех и порадовал. Дня два после вашего отъезда он ходил в любимчиках и героях. Не удивлюсь, если это он надоумил старушку вас выставить. Его на каждом шагу тыкали нам в нос, так что под конец Джулия не вытерпела и выдала его с головой.

— Джулия?

— Понимаете, он стал совать нос даже в наши дела. Ну, Джулия пронюхала, что он мошенник, и как-то, когда Себастьян был в подпитии — а он почти все время пил, — она вытянула у него всю историю с их большим турне. Тут мистеру Самграссу и конец. Вот тогда маркиза и стала баспокоиться, что, может быть, была с вами че-

ресчур сурова.

— А скандал с Корделией?

— О, она затмила всех. Малышка просто чудо природы, она целую недеяю доставала ему виски у нас под носом. Мы сообразить не могли, откуда он его берет. Ну, после этого маркиза и пошла на попятный.

Суп после блинов был превосходен — горячий, негустой, с горчинкой, чуть пенистый.

— Скажу, вам одну вещь, Чарльз, которую мамаша Марчмейн держит от всех в секрете. Она очень больна. Может отдать концы в любую минуту. Джордж Анструтер смотрел ее осенью и дал сроку не больше двух лет.

— Каким образом это могло стать вам известно?

— Такие сведения до меня доходят. При том, что сейчас творится у них в семье, я ей года не дам. Но я знаю одного доктора в Вене, который мог бы привести ее в порядок. Он поставил на ноги Соню Бэмшир, когда все, включая Анструтера, махнули на нее рукой. Но мамаша Марчмейн не желает ничего делать. Я так понимаю, это ее заумная религия не велит заботиться о теле.

Морской язык был так прост и ненавязчив, что Рекс его не заметил. Мы ели под музыку пресса —

хруст костей, шипенье капель крови и костного мозга, стук длинной ложки, обливающей соком нежную грудку. Здесь последовала пятнадцатиминутная пауза, когда я выпил первый стакан „Кло де Бэз“, а Рекс закурил первую сигарету. Он откинулся назад, выпустил над столом струю дыма и сказал:

— А знаете, здесь недурно кормят. Надо бы, чтоб кто-нибудь занялся этим ресторанчиком и пустил дело на широкую ногу.

Потом он снова заговорил о Марчмейнах.

— Скажу вам еще одну вещь — им предстоит большая финансовая встряска, и очень скоро, если они не остерегутся.

— Я думал, они феноменально богаты.

— Ну, они действительно богаты для людей, не пускающих в оборот своего капитала. Но вся эта публика теперь беднее, чем до четырнадцатого года, а Флайты, видимо, этого не понимают. Я так полагаю, их поверенным, которые у них там управляют делами, эдак удобнее — выдавать им, сколько они ни потребуют, и чтобы никаких вопросов. Вы посмотрите, как они живут-Брайдсхед и Марчмейн-хаус, и там и тут на широкую ногу, содержат гончую охоту, арендную плату никто не взимает, никто никого не увольняет, ста-

рые слуги делают что хотят, молодые слуги им прислуживают, а сверх всего этого еще папаша живет отдельным домом и тоже себе ни в чем не отказывает. Знаете, какой у них дефицит?

— Разумеется, не знаю.

— Без малого сто тысяч только в Лондоне. Сколько у них долга в других местах, мне неизвестно. Ну а это изрядный куш для людей, которые не пускают в оборот своих денег. Девяносто восемь тысяч на ноябрь месяц. Такие сведения до меня доходят.

Такие сведения до него доходят, подумал я, сведения о смертельных болезнях и долгах.

Я наслаждался бургундским. Оно пришло как напоминание о том, что мир старше и лучше, чем тот, какой знаком Рексу, что человечество за долгие века своих страстей познало иную мудрость, чем мудрость Рекса. Случай свел меня с этим вином еще раз, когда я обедал со своим виноторговцем на Сент-Джеймс-стрит осенью в первый год войны; оно утратило остроту и блеск за эти годы, но все тем же неподдельным, чистым голосом своей лучшей поры говорило все те же слова надежды.

— Я не хочу сказать, что им угрожает нищета; на тридцать тысяч с хвостиком в год они всегда

потянут; но им предстоит основательная встряска, а эти высшие классы имеют склонность чуть что не так, прежде всего урезывать дочерей. И я хочу успеть до этого обделать одно дельце с приданым.

Мы еще отнюдь не добрались до коньяка, но разговор о Рексе Моттреме тем не менее начался. Через двадцать минут я был бы полностью к его услугам, готовый слушать все, что он хотел мне сказать. Теперь же я просто отключился как смог и предался дымящимся передо мною блюдам, но блаженство мое нарушали отдельные фразы, прорываясь ко мне из грубого, алчного мира, где обитал Рекс. Ему нужна была женщина; он намерен был получить лучший товар, какой предлагал ему рынок, и на условиях, которые назначит он сам. Именно к этому все и сводилось.

— …Мамаше Марчмейн я не нравлюсь. Ну да мне горя мало. Я не на ней собираюсь жениться. У нее не хватает пороху сказать открыто: „Вы не джентльмен. Вы авантюрист из колоний“. Она говорит, что мы живем в разных атмосферах. Хорошо, согласен. Но Джулии, представьте, моя атмосфера по вкусу… Потом этот вопрос с религией. Я ничего не имею против их церкви; у нас в Канаде католики не пользуются особым уваже-

нием, но тут дело иное; в Европе есть католики из самой что ни на есть высшей знати. Хорошо, пусть Джулия ходит в эту свою церковь, когда ей вздумается. Мешать ей я не буду. Она, кстати сказать, плевать на это все хотела, но я люблю, чтобы у женщины была религия. Мало того, пусть воспитывает детей в католичестве. Готов подписать какие они там хотят гарантии, обещания… И наконец, мое прошлое. „Мы так мало о вас знаем“. Слишком много она обо мне знает, черт бы ее побрал. Вам, может быть, известно, что у меня тут пару лет была кое с кем связь?

Мне это было известно; всякому, кто хоть немного знал Рекса, было известно о его недавней связи с Брендой Чэмпион; было известно также, что из этой связи он вынес все, чем теперь выделялся среди заурядных биржевых махинаторов, — и гольф с принцем Уэльским, и членство в клубе „Брэтта“, и даже знакомства и связи по кулуарам палаты общин, ибо, когда он там впервые появился, влиятельные члены его партии не говорили о нем: „Вон идет многообещающий молодой депутат от Грайдли, который так удачно выступил по вопросу об ограничении квартирной платы“; говорили другое: „Вот идет последнее увлечение Бренды Чэмпион“, и это

очень помогало ему во взаимоотношениях с мужчинами; благосклонность женщин он обычно завоевывал сам.

— Ну так вот, с этим давно покончено. Мамаша Марчмейн из деликатности не назвала вещи своими именами; она просто сказала, что я „пользуюсь известностью“. А какого бы зятя ей хотелось — недопеченного монаха вроде Брайдсхеда? Джулия про ту историю все знает; и если ее это не смущает, кому, скажите, пожалуйста, какое дело?

После утки появился кресс-салат с цикорием, чуть-чуть присыпанный прозрачными кружочками лука. Я всеми силами старался думать только о салате. Потом мне какое-то время удавалось думать только о суфле. А затем наконец наступил срок коньяку, а с ним законное время для всех этих излияний.

— … Джулии только-только пошел двадцатый год. Я не хочу ждать до ее совершеннолетия. И мне нужно, чтобы все было обставлено как надо, иначе я не согласен… Никаких там тайных браков и венчаний втихомолку… И я не намерен допустить, чтобы ее надули с приданым. Ну, а раз маркиза не хочет вести игру по правилам, я еду к папаше, попробую сговориться с ним. Он,

как я понимаю, готов дать согласие на все, что может доставить ей неудовольствие. Он сейчас в Монте-Карло. Я думал отправиться туда, забросив Себастьяна в Цюрих. Вот почему особенно некстати, черт бы это все побрал, что он вдруг сквозь землю провалился.

Коньяк был не в Рексовом вкусе. Он был прозрачный и бледный и был подан в бутылке, не покрытой грязью и наполеоновскими медалями. Он был всего лишь на год или на два старше Рекса и лишь совсем недавнего разлива. Нам подали его в узких, как цветы, рюмках очень тонкого стекла и небольших размеров.

— Бренди — единственная вещь, в которой я знаю толк сказал Рекс. — У этого никудышный цвет. И кроме того, я не как его не распробую в эдаком наперстке.

Ему принесли стеклянный шар величиною с голову. Он распорядился, чтобы шар разогрели на спиртовке, поболтал в нем великолепный напиток, погрузил лицо в его пары и провозгласил, что у себя на родине пьет такой с содой.

Тогда, стыдливо зардевшись, ему выкатили из соответствующего тайника огромную заплесневелую бутылку, какие специально держат для людей такого сорта, как Рекс.

— Вот это другое дело! — сказал он, болтая в стакане густое, как патока, зелье, оставлявшее на стекле черные ободки. — Они всегда прячут бутылку-другую про запас, надо только поднять шум. Дайте-ка я вам плесну.

— Я вполне доволен этим.

— Ну, не знаю, конечно, кому что нравится. Он закурил сигару и откинулся на спинку стула, пребывая в мире с окружающей действительностью; я тоже вкушал мир и покой, но уже совсем в другой действительности. И оба мы были счастливы. Он говорил о Джулии, а я слышал его голос, не разбирая слов на таком большом расстоянии, точно отдаленный собачий лай в тихую-тихую ночь.

Помолвка была объявлена в начале мая. Я увидел заметку в „Континентал дейли мейл“ и заключил, что Рекс „сговорился с папашей“. Однако оказалось вовсе не так, как я ожидал. Следующее известие о них я получил в середине июня, прочитав в газете, что они были скромно повенчаны в Савой-Чейпел. Члены королевской семьи на свадьбе не присутствовали, премьер-министр тоже. Все это было очень похоже на „венчанье втихомолку“, но только через несколько лет я узнал, что там в действительности произошло.

Глава вторая

Подошло время поговорить о Джулии, которая до этой минуты играла лишь эпизодическую и довольно загадочную роль в драме Себастьяна. Так виделась она в ту пору мне, а я — ей. Мы следовали каждый своим путем, которые, правда, сводили нас довольно близко, но мы оставались чужими друг другу. Она рассказывала мне позднее, что взяла меня на заметку: так, разыскивая на полке нужную книгу, замечаешь вдруг другую, берешь в руки, открываешь и говоришь себе: „Эту мне тоже надо будет как-нибудь прочесть“, — но пока что ставишь на место и продолжаешь поиски. С моей стороны интерес был живее, потому что внешнее сходство между братом и сестрой, то и дело проявлявшееся в новом ракурсе, при новом освещении, всякий раз заново поражало меня, и, по мере того как Себастьян в своем быстром, катастрофическом упадке день ото дня отодвигался и мерк, образ Джулии выступал все ярче и определеннее.

Она была худенькой в то время, плоскогрудой и голенастой — одни ноги, руки и шея, бестелесная, словно кузнечик, в этом, как и во всем остальном,

она следовала моде; но ни короткая стрижка и большие шляпы того времени, ни особый, вытаращенный взгляд того времени, ни клоунские пятна румян на скулах не могли подвести ее под общий шаблон.

Когда я впервые познакомился с нею, когда она в автомобиле встретила меня на станции в то жаркое лето 1923 года и в сгущающихся сумерках везла в свой дом, у нее за плечами было восемнадцать лет и только что окончившийся первый лондонский сезон.

По мнению некоторых, это был самый блестящий сезон после войны, когда все начало снова приходить в норму. Джулия была его центром. Тогда в Лондоне оставалось, вероятно, пять или шесть „исторических домов“, Марчмейн-хаус на Сент-Джеймс-сквер в их числе, и бал, данный там для Джулии, несмотря на смехотворные костюмы того времени, был зрелищем во всех отношениях великолепным. Себастьян ездил на этот бал из Оксфорда и звал меня, хотя и не слишком настойчиво; я отказался и впоследствии пожалел о своем отказе, ибо то был у них последний бал в подобном роде, последнее из великолепных празднеств.

Но разве я знал? В те дни казалось, что будет

еще довольно времени на все, что можно не торопясь обследовать распахнутый перед тобою мир. А я был так полон Оксфордом в то лето и решил, что Лондон может подождать.

Остальные исторические дома принадлежали родственникам или старинным знакомым; кроме того, были еще многочисленные роскошные особняки Мэйфэра и Белгрейвии, один за другим наполнявшиеся по вечерам праздничным светом и блестящей толпой. Иностранцы, возвращающиеся на прежние посты в Лондон из своих опустошенных стран, писали домой, что наблюдают здесь признаки пробуждения той жизни, которую считали невозвратно утраченной среди грязи и колючей проволоки; и все эти безоблачные недели Джулия порхала, блистая — то лучом солнца в листве деревьев, то огоньком свечи в радужном сиянии зеркал, — и пожилым господам и дамам, сидящим в углу со своими воспоминаниями, виделась в ней синяя птица счастья. „Старшая дочка Брайди Марчмейна, — говорили они. — Какая жалость, что он не видит ее сегодня!“

Вечер за вечером, бал за балом, где бы она ни появлялась в тесном кружке своих приближенных, она приносила с собой мгновение радости,

какая пронизывает все твое существо на берегу реки, когда лазурнокрылый зимородок вдруг вспорхнет над водою.

Вот каким было существо, везшее меня однажды в автомобиле сквозь летние сумерки, — ни женщина, ни дитя — девочка, еще не потревоженная любовью, вдруг смущенно открывшая силу своей красоты, стоящая в нерешительности на зеленом берегу жизни; человек, увидевший у себя в руке неведомо откуда взявшееся смертельное оружие; героиня детской сказки, держащая в горсти волшебное колечко — стоит только потереть его кончиками пальцев и шепнуть волшебное слово, и земля разверзнется у ее ног и изрыгнет покорного исполина, который распластается перед нею и будет исполнять все ее желания, но что он ей ни принесет, еще окажется не то, не такое, не так.

В тот вечер я не интересовал ее; невызванный джинн так и остался под землею, глухо рокоча у нас под ногами; она жила в своем особом крохотном мирке, внутри другого крохотного мирка, в самом центре целой системы концентрических сфер, подобных шарикам из слоновой кости, которые так искусно вырезают мастера Китая; и только одно незначительное сомнение

— совсем незначительное по ее отвлеченным меркам — тревожило ее душу. Она затруднялась решить — но без душевного волнения, издалека и с высоты, — за кого ей выйти замуж. Так стратеги склоняются в нерешительности над картой, над горсткой натыканных булавок и узором цветных меловых линий обдумывая некоторые перемещения этих булавок и линий, дюйма на два — на три, не более, но где-то вне стен военного совета, куда не достает взгляд усердных штабистов, эти дюймы означают жизнь или гибель всего прошлого, настоящего и будущего. Для самой себя она была лишь символом, не наполненным реальностью ни детства, ни девичества; победа и поражение были только перемещением булавок и линий; суровая правда войны была ей неведома.

„Жаль, что мы не живем за границей, — думала она, — где такие вещи решаются родителями и юристами“.

Выйти замуж, и притом как можно скорее и удачнее, было целью всех ее подруг. Если она и заглядывала дальше свадьбы, то лишь видя в ней начало отдельного бытия, первое сражение, чтобы заслужить шпоры, а уж потом выехать на подвиги настоящей жизни.

Она заведомо превосходила красотой всех ро-

весниц, но знала, что в том маленьком мирке внутри мирка, где она обитает, за нею числятся и кое-какие серьезные недочеты. На диванах вдоль стен, где старики подсчитывали шансы, обсуждались и обстоятельства не в ее пользу. Например, скандал с ее отцом, это небольшое унаследованное пятнышко ни ее ослепительности, быть может чуть отчетливее проступающее из-за каких-то черточек в ее собственном поведении — капризном, своевольном и менее упорядоченном, чем у других; когда б не это, кто знает?..

Один вопрос затмевал для пожилых дам у стены своей важностью все остальные: на ком должны жениться молодые принцы? Более чистой родословной и более очаровательной внешности, чем у Джулии, им не найти; однако на ней лежит эта легкая тень, делающая ее не вполне достойной столь высокой чести. К тому же еще ее религия.

Ничто не могло быть дальше от честолюбивых стремлений Джулии, чем брак с членом королевской фамилии. Она знала — или думала, что знает, — чего хочет, и ее прельщало совсем не это. Но в какую бы сторону она ни обратилась, между нею и ее целью всегда оказывалась ее религия.

Дело представлялось ей совершенно безнадежным. Если теперь, взращенная святой церковью,

она совершит отступничество, ее ждет ад, тогда как ее знакомым девушкам-протестанткам, воспитанным в счастливом неведении, ничто не мешает выйти замуж за старших сыновей, жить в мире со всем светом и раньше нее попасть на небеса. Для нее не могло быть и речи о старших сыновьях, а с младшими сыновьями тоже дело обстояло непросто, и рассчитывать на них особенно не приходилось. Младшие сыновья хоть и были на вторых ролях, но это не давало им никаких преимуществ; долг велел им держаться в тени, на случай если какое-нибудь несчастье возвысит кого-то на место старшего брата, и, раз именно к этому сводилась их роль, желательно было, чтобы они всегда оставались пригодны для восшествия. Пожалуй, только в семьях, где имелось три или четыре сына, католичка могла бы получить самого младшего, не встречая особого противодействия. Оставались, конечно, еще сами католики, но их было мало в том ограниченном мирке, который окружал Джулию; это были главным образом родственники ее матери, и они казались ей сумрачными и непонятными. К тому же в богатых и знатных католических семьях, которых всего насчитывалось разве с десяток, в это время не было наследников под-

ходящего возраста. Иностранцы — а их было немало среди ее материнской родни — всегда усложняли денежные отношения, отличались странными манерами, и вообще для английской девушки выйти замуж за иностранца означало признать свою полную несостоятельность. Что же оставалось?

Вот чем была озабочена Джулия после своего лондонского триумфа. Она знала, что трудность эта разрешима. Наверняка существует немало людей за пределами ее кружка, которые вполне достойны быть включены в него, стыдно было, что она должна искать их. Не для нее жестокая, утонченная роскошь выбора, приятная домашняя игра в кошки-мышки. Не для нее роль Пенелопы; ей предстояло отправиться на промысел.

Она глупейшим образом даже составила себе заранее портрет подходящего мужчины: это должен был быть английский дипломат с красивой, но не слишком мужественной наружностью, который в настоящее время находится на службе за границей, и загородный дом, которым он владеет, должен быть поменьше, чем Брайдсхед, и поближе к Лондону; человек он старый, уже за тридцать, недавно трагически овдовевший.

Джулия считала, что некоторая подавленность

недавним горем ему не повредит; перед ним открывалась блестящая карьера, но в своем одиночестве он уже начал утрачивать вкус к жизни; быть может даже, ему угрожала опасность попасть в руки беззастенчивой иностранной авантюристки, и он нуждался в инъекции молодых, свежих сил, чтобы благополучно достичь посольства в Париже. Сам умеренный агностик, он ценил в людях религиозность и ничего не имел против католического воспитания своих детей; при этом он был, однако, сторонник разумного ограничения семьи двумя мальчиками и одной девочкой на протяжении такого удобного срока, как, скажем, двенадцать лет, а вовсе не стал бы требовать, чтобы жена беременела каждый год, как можно было ожидать от мужа-католика. Он имел двенадцать тысяч в год сверх того, что получал по службе, и ни одного маломальски близкого родственника. Кто-нибудь в таком духе, пожалуй, был бы как раз то, что надо, думала Джулия, и она решительно приступила к поискам, когда мы с нею познакомились на железнодорожной станции. Я для нее интереса не представлял. Она недвусмысленно дала мне это понять, когда приняла сигарету из моих губ.

Все это я узнал о Джулии постепенно, по ку-

сочкам, как узнают о прежней — или, как тогда кажется, предварительной — жизни той, которую любишь, тем самым как бы по-своему участвуя в ней и замысловатыми путями направляя ее в свою сторону.

Джулия покинула нас с Себастьяном в Брайдсхеде и поехала гостить к их тетке, леди Роскоммон, в ее вилле на Кап-Ферра. По дороге она продолжала обдумывать свое положение. Теперь у ее вдовца-дипломата появилось имя: Юстас, и с этого мгновения он стал для нее фигурой комической, забавной шуткой, которой ни с кем нельзя было поделиться, так что когда наконец такой человек действительно встретился у нее на пути — правда, не дипломат, а мечтательный майор лейб-гвардеец, — влюбился и положил к ее ногам все те дары, которые она сама для себя выбрала, ему пришлось еще более грустному и мечтательному, чем раньше, удалиться ни с чем, потому что к этому времени она познакомилась с Рексом Моттремом.

Возраст Рекса давал ему большие преимущества, ибо среди подруг Джулии процветал своего рода геронтофильский снобизм; юноши были провозглашены неотесанными и прыщавыми; считалось куда более шикарным пообедать в

„Ритце“ одной (что вообще в те дни очень мало кому из барышень ее круга разрешалось и не одобрялось старушками, которые вели всему пристальный счет, уютно беседуя на балах у стены), сидя за столиком слева от входа, в обществе накрахмаленного и сморщенного старого ловеласа, насчет которого получала предостережения в девичестве еще ваша мать, чем проводить время в компании румяных юных фатов. Рекс, естественно, не был ни накрахмален, ни сморщен; люди постарше считали его весьма напористым и нахальным юнцом, но Джулия различила в нем неоспоримый шик общения накоротке со всякими „Максами“ и „Эф. И.“, шик знакомства с принцем Уэльским, высоких ставок в Спортивном клубе, второй бутылки и четвертой сигары, шофера, часами ждущего внизу, — всего того, чему, безусловно, позавидовали бы ее подруги. Его положение в свете было не таким, как у всех, его окружал ореол таинственности, быть может, даже преступности; говорили, что Рекс всегда вооружен. В среде друзей Джулии был моден наигранный ужас перед аристократическим мещанством Понт-стрит; они коллекционировали „понт-стритовские“ выражения, убийственные в их глазах для тех, кто ими пользуется, и между

собой — а часто, ко всеобщему смущению, и на людях — говорили на „понт-стритовском“ языке. Были „понт-стритовские“ манеры — носить перстень с печаткой, угощать в театре шоколадными конфетами, говорить своей даме на балу: „Разрешите мне промыслить для вас какого-нибудь фуража“. Каков бы ни был Рекс Моттрем, во всяком случае, он был не с Понт-стрит. Он явился прямо со „дна“ и сразу же шагнул в мир Бренды Чэмпион, которая тоже была внутренним шариком в своей системе костяных концентрических сфер. Быть может, Джулия угадывала в Бренде Чэмпион карикатуру на самое себя через двенадцать лет, иначе трудно объяснить враждебность, с какой они относились друг к другу. Несомненно, что как собственность Бренды Чэмпион, Рекс обладал для Джулии добавочной привлекательностью.

В то лето Рекс и Бренда жили в Кап-Ферра на соседней вилле, которую арендовал один газетный магнат, оказывавший гостеприимство разным политическим деятелям. В обычной жизни они бы никогда не попали в поле зрения леди Роскоммон, но, живя бок о бок, поневоле завязали знакомство, и Рекс сразу же, хотя и с оглядкой, приступил к ухаживанию.

Все это лето он чувствовал себя неспокойно. С миссис Чэмпион он оказался в тупике; поначалу все было весьма занимательно, однако теперь их связь начала его тяготить. Он убедился, что миссис Чэмпион живет, как это принято у англичан, в маленьком, тесном мирке. Рексу же нужны были широкие горизонты. Ему пришло время ссыпать в одну груду свою добычу, опустить на мачте черный флаг, выйти на берег, повесить над камином пиратский топорик и приступить к пожинанию плодов. Ему надо было жениться. Он тоже искал своего Юстаса, но при его образе жизни у него почти не было знакомых барышень. О Джулии он слышал; она была признанная звезда среди светских дебютанток — во всех отношениях соблазнительная добыча.

Под бдительным, холодным взором миссис Чэмпион, устремленным из-за темных солнечных очков, Рекс мало что мог сделать в Кап-Ферра сверх установления простого знакомства, которое можно было бы углубить в дальнейшем. Он практически никогда не бывал с Джулией наедине, однако умел устроить так, чтобы без нее не обходилось ни одно их летнее предприятие; он учил ее играть в „железку“, следил за тем, чтобы она всегда оказывалась в его машине, когда они

ездили в Монте-Карло или Ниццу, словом, делал достаточно, чтобы леди Роскоммон написала письмо леди Марчмейн, а миссис Чэмпион поспешила увезти его раньше предполагавшегося срока из Кап-Ферра на Антиб.

Джулия поехала к матери в Зальцбург.

— Тетя Фанни пишет мне, — сказала ей мать, — что ты там очень подружилась с мистером Моттремом. По-моему, его нельзя считать светским человеком.

— По-моему, тоже, — ответила Джулия. — Но я не уверена, что мне нравятся светские люди.

Есть пословица, что у каждого новоявленного богача имеется тайна: как он раздобыл первые десять тысяч; так вот, качества проявленные им тогда, в ту раннюю пору, когда он еще не был „величиной“ и каждого, с кем он сталкивался, надо было как-то расположить в свою пользу, когда его поддерживала только надежда на лучшее будущее и мир давал ему только то, что он мог выманить у него личным обаянием, — именно эти качества в последующей жизни, если он переживет свой триумф, обеспечивают новому богачу успех у женщин. В Лондоне, оказавшись более или менее на свободе, Рекс превратился в покорного раба Джулии; он проводил свои дни в

полной зависимости от того, какие планы были у нее, ездил туда, где мог встретиться с нею, искал расположения тех, кто мог замолвить за него доброе слово; он заседал в нескольких благотворительных комитетах для того только, чтобы оказаться рядом с леди Марчмейн; он предложил услуги Брайдсхеду на случай, если тот вздумает выставить свою кандидатуру в парламент (и получил резкий отпор); он стал выказывать горячий интерес к католической церкви, пока не обнаружил, что это не путь к сердцу Джулии. Он всегда готов был доставить ее в своем „испано“, куда ей было угодно; возил ее и компанию ее друзей на кулачные бои и потом знакомил с чемпионами; и все это время ни разу не заикнулся о любви. Он добился того, что стал ей приятен, а еще через некоторое время и необходим; она сначала гордилась им, потом стала немного стыдиться, но к этому времени, между рождеством и пасхой, она уже не могла без него обойтись. А потом совершенно неожиданно для самой себя вдруг обнаружила, что влюблена.

Это тревожное и непрошеное открытие произошло однажды майским вечером, когда Рекс сказал ей, что будет занят в парламенте, а она, случайно проезжая по Чарльз-стрит, увидела его

выходящим из дома, где, как она знала, живет Бренда Чэмпион. Она была так оскорблена и возмущена, что едва высидела за ужином, при первой же возможности уехала домой и горько проплакала целых десять минут; потом ощутила голод, пожалела, что так мало ела за ужином, велела принести себе молоко и хлеба и легла спать, распорядившись, чтобы завтра, когда позвонит мистер Моттрем, все равно в котором часу, ему сказали, что она не велела себя беспокоить.

Назавтра она, как обычно, позавтракала в постели, почитала газеты, поговорила по телефону. Наконец спросила:

— Мистер Моттрем случайно не звонил?

— О да, ваша светлость, четыре раза. Соединить его с вами, когда он позвонит опять?

— Да. Нет. Скажите, что меня нет дома.

Когда она спустилась, в холле на столе лежала записка: „Мистер Моттрем ожидает леди Джулию в „Ритце“ в половине второго“.

— Я сегодня обедаю дома, — объявила она. После обеда она ездила с матерью за покупками; они пили чай у тетки и вернулись в шесть.

— Вас ожидает мистер Моттрем, ваша светлость. Я пригласил его в библиотеку.

— Ой, мамочка, я не могу его видеть. Скажи,

чтобы он ушел.

— Но это было бы нелюбезно, Джулия. Я всегда говорила, что из твоих друзей мистер Моттрем не пользуется моими особыми симпатиями, но я привыкла к нему, почти привязалась. И право же, нельзя быть такой непостоянной в отношениях с людьми — особенно с такими людьми, как мистер Моттрем.

— Мамочка, я не должна с ним видеться. Если я выйду к нему, произойдет крупное объяснение.

— Глупости, Джулия, ты вертишь им, бедняжкой, совершенно как хочешь.

Так Джулия отправилась в библиотеку и через час вышла оттуда сговоренной невестой.

— Ах, мамочка, я же предупреждала тебя, что это случится, если я туда пойду.

— Ничего похожего. Ты просто сказала, что произойдет крупное объяснение. Но я никак не предполагала, что это будет такое объяснение.

— Ну, все равно, ты ведь к нему привязалась, верно? Ты сама сказала.

— Да, он был во многом очень любезен. Но я нахожу его абсолютно неподходящим для того, чтобы быть твоим мужем. Тебе это подтвердят все.

— Ах, к черту, к черту всех!

— Мы о нем ничего не знаем. Может быть, у него даже черная кровь в жилах — если на то пошло, он и в самом деле подозрительно смугл. Дорогое дитя, вся эта затея совершенно немыслима. Не представляю себе, как ты можешь быть настолько неразумна.

— Ну а иначе какое я имею право злиться на него, когда он ходит к этой ужасной старухе? Вот говорят о спасении падших женщин. А я, наоборот, спасаю падшего мужчину. Я вызволяю Рекса из трясины смертного греха.

— Не говори вздора, Джулия.

— Но разве не смертный грех — спать с Брендой Чэмпион?

— И не говори непристойностей.

— Он обещал никогда больше с ней не видеться. Не могла же я от него этого требовать, не признав, что люблю его, верно?

— Нравственность миссис Чэмпион, слава богу, не входит в круг моих забот. А твое счастье входит. Если хочешь знать, я считаю мистера Моттрема внимательным и полезным знакомым, но доверяться ему не стала бы ни в чем и уверена, что у него будут очень неприятные дети. Такие признаки всегда возвращаются в потомках. Не сомневаюсь, что через несколько дней ты сама

же во всем раскаешься. А пока не следует ничего предпринимать. Никто ничего не должен знать и даже подозревать. Ты не будешь больше ездить с ним обедать. Здесь, конечно, можете видеться, но на публике показываться не нужно. Пришли его ко мне, я поговорю с ним по душам.

Так начался для Джулии год тайной помолвки — трудное время, потому что в тот вечер Рекс впервые обнял и поцеловал ее; не так, как ей случалось два-три раза до этого целоваться с сентиментальными, нерешительными мальчиками, а с настоящей страстью, которая и в ней открыла нечто себе подобное. Эта страстность в них обоих пугала ее, и однажды она пришла с исповеди с решением положить этому конец.

— Иначе я должна буду перестать с вами видеться, — сказала она.

Рекс немедленно изъявил полную покорность, как раньше, еще зимой, когда он день за днем безропотно поджидал ее на морозе в своем большом автомобиле.

— Если бы мы только могли пожениться прямо сейчас, — вздохнула она.

Полтора месяца они держались друг от друга на расстоянии вытянутой руки, целовались наскоро при встрече и прощании, а в остальном проводи-

ли время, сидя врозь и обсуждая, что они будут делать, где будут жить и много ли шансов у Рекса получить место помощника министра. Джулия была счастлива и влюблена и всем существом жила в завтрашнем дне. Потом, перед самым концом парламентской сессии, она вдруг узнала, что Рекс провел субботу и воскресенье у одного биржевика в Саннингдейле, тогда как ей было сказано, будто он едет к своим избирателям, и что там была также миссис Чэмпион.

В тот же вечер, когда ей стало это известно, после прихода Рекса между ними повторилась та же сцена, что и два месяца назад.

— Чего вы хотите? — сказал он. — Какое право вы имеете требовать так много, когда сами даете так мало?

Она не знала, как ей быть, и обратилась со своим недоумением на Фарм-стрит, где изложила его в общих чертах, без подробностей, не в исповедальне, а в маленькой полутемной комнатке, специально для этих целей предназначенной.

— Разве не правильнее было бы, святой отец, самой совершить маленький грех и тем уберечь его от большого греха?

Но старый кроткий иезуит был непреклонен. Она почти не слушала его; ей отказывали в том,

чего ей хотелось, больше ее ничего не интересовало.

Кончив свои объяснения, он сказал:

— А теперь вам лучше исповедаться, дитя мое.

— Нет, спасибо, — ответила она, словно ей предложили ненужный товар с прилавка. — Сегодня не хочу. — И сердито пошла домой.

С этого дня она закрыла свою душу для веры. И леди Марчмейн видела это, и еще одно страданье прибавилось к ее недавнему страданью по Себастьяну, и к ее старому страданью по мужу, и к смертельному недугу в ее теле; эти муки свои приносила она каждый день с собою в церковь, и казалось, сердце ее пронзено ими, точно клинками, живое сердце — двойник раскрашенного гипсового; какое утешение выносила она оттуда, бог весть.

А годовой срок истекал, и тайна помолвки распространилась от доверенных подруг Джулии через доверенных подруг этих подруг, пока наконец, точно круги по воде, добежавшие до топких берегов, не появились кое-какие намеки в печати, и леди Роскоммон в качестве камер-фрейлины принуждена была ответить на ряд затруднительных вопросов. Что-то надо было предпринимать. Поэтому, когда Джулия отказа-

лась от рождественского причастия, когда леди Марчмейн поняла, что ее предали — сначала я, потом мистер Самграсс и, наконец, Корделия, — в сером свете первых дней нового, 1925 года, она приняла решение действовать. Всякие разговоры о помолвке были запрещены; Джулии и Рексу не разрешалось больше видеться, Марчмейн-хаус предполагалось на полгода закрыть, и сама леди Марчмейн с Джулией должны были отправиться в заграничное путешествие, посетить иностранных родственников. Однако по дремучей, средневековой прямолинейности, которая сочеталась у нее с душевной тонкостью, она даже теперь сочла возможным отправить Себастьяна к доктору Боретусу под надзором Рекса, и Рекс, также обманув ее доверие, уехал в Монте-Карло, откуда и нанес ей последний, сокрушительный удар. Лорд Марчмейн не стал вдаваться в подробности его характера — это, по его мнению, было делом Джулии. Рекс показался ему здоровым, процветающим мужчиной, к тому же имя его было маркизу уже знакомо из чтения политических отчетов; он был игрок, играл по крупной, хотя и сохранял осмотрительность; он знался с уважаемыми людьми; перед ним было блестящее будущее; и его не любила леди Марчмейн. Лорд

Марчмейн в целом одобрил выбор Джулии и дал согласие на немедленное вступление в брак.

Рекс с головой погрузился в хлопоты по подготовке к свадьбе. Он купил ей кольцо, и не с прилавка у Картьера, как она ожидала, а в задней комнате в Хэттон-гарден, у одного человека, который вынимал из сейфа маленькие мешочки с камнями и рассыпал перед нею на письменном столе; потом в другом заднем помещении другой человек огрызком карандаша на клочке бумаги делал наброски оправы; и результат вызвал зависть всех ее знакомых.

— Откуда вы обо всем это знаете, Рекс? — удивлялась она.

Каждый день она удивлялась тому, что он знает и чего не знает. Тогда и то и другое придавало ему привлекательность в ее глазах.

Его дом на Хартфорд-стрит вполне мог вместить их обоих, к тому же он был недавно заново обставлен и отделан самой дорогой лондонской фирмой. Загородный дом, по мнению Джулии, им был пока не нужен, они всегда могли себе что-нибудь снять, если бы захотели выехать из Лондона.

Затруднения произошли с брачным контрактом. Рекс решительно отказывался положить на

имя жены в банк необходимую сумму. Адвокаты были в смятении. Джулия не желала входить в эти частности.

— На черта мне нужно, чтобы деньги лежали у поверенного? — возмущался Рекс.

— Не знаю, дорогой

— Я заставляю деньги работать на меня. И они дают мне пятнадцать двадцать процентов годовых. Замораживать их на трех с половиной — это чистый убыток.

— Не сомневаюсь, дорогой

— Эти типы разговаривают со мною так, будто я хочу вас ограбить. На самом деле это они занимаются грабежом Они вознамерились лишить вас на две трети того дохода, который обеспечил бы я

— Это так важно, Рекс? Ведь у нас куча денег, верно? Рекс надеялся получить на руки все приданое Джулии пустить его в оборот Адвокаты настояли на том, чтобы эти деньги были положены на ее имя в банк, но добиться того, чтобы и он положил такую же сумму на имя жены, им не удавалось. Наконец, с большим трудом он дал согласие застраховать свою жизнь, предварительно объяснив адвокатам, что вся эта их страховка — просто-напросто способ положить

часть его законных доходов в карман другому, впрочем, у него оказались связи в одной страховой компании, и с их помощью ему удалось свести до минимума неприятные стороны этой финансовой операции, присвоив комиссионные, на которые рассчитывали сами адвокаты.

Последним по порядку, но отнюдь не по значению встал вопрос о вероисповедании Рекса. Когда-то в Мадриде он присутствовал на королевской свадьбе и теперь задумал устроить, нечто в этом роде и для себя.

— Чего у вашей церкви не отнимешь, — признал он, — так это роскошного вида. Кардиналы, я вам скажу, — это такое зрелище. Сколько их имеется в Англии?

— Только один, дорогой.

— Один? А из за границы наложенным платежом нельзя выписать еще парочку?

Тогда ему объяснили, что заключение смешанных браков совершается без особой торжественности.

— То есть как это смешанных? Я ведь не негр какой-нибудь.

— Нет, дорогой, между католиками и протестантами.

— О, только-то? Тогда этот брак скоро переста-

нет быть смешанным. Я приму католичество. Что нужно для этого сделать?

Леди Марчмейн была подавлена и озадачена этим новым оборотом дела; напрасно она говорила себе, что из милосердия должна отнестись к его намерению серьезно, — ей вспоминалась другая свадьба и другое обращение в католичество.

— Рекс, — сказала она, — боюсь, что вы плохо представляете себе, какой важный шаг в деле веры задумали совершить. Великий грех был бы пойти на это, не уверовав искренне.

Но он уже научился разговаривать с нею

— Я не прикидываюсь таким уж набожным, — ответил он ей, — и не корчу из себя богослова, но мое мнение, что две религии в семье — это плохо. Вера человеку нужна. И если ваша церковь хороша для Джулии, значит, она и для меня хороша

— Ну что ж, — сказала она — Я позабочусь, чтобы вы получили наставление в вере

— Послушайте, леди Марчмейн, у меня нет времени. Наставление это с меня как с гуся вода. Пусть мне просто дадут бумаги, я поставлю, где надо, подпись, и дело с концом

— На это обычно уходят месяцы, иногда вся жизнь.

— А я схватываю на лету. Испытайте меня.

И Рекс был отправлен на Фарм-стрит к отцу Моубрею — духовному лицу, прославленному триумфами над твердолобейшими из обращаемых в католическую веру. После третьей беседы отец Моубрей был приглашен к леди Марчмейн на чашку чая

— Ну, как вы находите моего будущего зятя?

— Более трудного прозелита я не встречал за всю мою жизнь

— Неужели? Я думала, он будет во всем так послушен

— Вот именно. К нему совершенно не подступишься. Кажется, у него нет ни намека на собственную духовную любознательность и естественное богопочитание. В первый день я захотел узнать, какова была его прежняя религиозная жизнь, и спросил, как он понимает молитву. Он ответил „Я никак не понимаю. Вы сами мне скажите“. Я попытался что-то выразить в двух словах, а он сказал „Ну, хорошо это — про молитву. Дальше что идет?“ Я дал ему с собою катехизис. А вчера спросил его, одно ли есть у Господа нашего естество. Он ответил „Сколько вы скажете, мой отец, столько и есть“. Потом я спросил у него. „Если папа Римский поглядит на небо, увидит тучу и предскажет дождь, обязательно ли будет дождь

или нет?“ — „О да, отец мой, обязательно“. — „Ну, а если все таки дождь не пойдет?“ Он подумал минуту и говорит: „Я так понимаю, что он пойдет, но вроде как духовный дождь, а мы из-за грехов наших его не увидим“. Леди Марчмейн, он не соответствует ни одной разновидности язычества, известной миссионерам.

— Джулия, — сказала леди Марчмейн дочери, когда отец Моубрей ушел. — Ты уверена, что Рекс делает это не только с той целью, чтобы доставить нам удовольствие?

— Едва ли ему могло прийти такое в голову, — ответила Джулия.

— Значит, он искренен в своем обращении?

— Мамочка, он твердо и бесповоротно решил принять католичество. — А про себя Джулия добавила: „За свою долгую историю святая церковь перевидела немало странных прозелитов. Едва ли армия Хлодвига состояла только из убежденных католиков. Одним больше, одним меньше — не велика беда“.

Через неделю иезуит снова пришел к чаю. Начались пасхальные каникулы, и Корделия была дома.

— Леди Марчмейн, — сказал их гость, — вам следовало бы избрать для этой роли кого-нибудь

из молодых отцов. К тому времени, когда Рекс станет католиком, меня давно уже не будет в живых.

— Неужели? А я думала, все идет хорошо.

— Все и шло в определенном смысле неплохо. Он выказывал исключительное рвение — принимал на веру все, что я говорю, запоминал целые куски, не задавал никаких вопросов. Не нравилось мне все это. Он словно лишен чувства реальности. Но я знал, что он попадет в сферу стойкого католического влияния, и был готов принять его. Временами приходится идти на риск — со слабоумными, например. Никогда не скажешь с уверенностью, что они поняли, чего не поняли, но если имеется кто-нибудь, кто будет за ними присматривать, мы в таких случаях готовы идти на риск.

— Ах, как жаль, что Рекс этого не слышит! — вздохнула Корделия.

— Но вчера я все понял. Беда современного образования в том, что оно маскирует истинные размеры человеческого невежества. С людьми старше пятидесяти мы точно знаем, чему их учили, а чему нет. Но молодые люди снаружи все такие образованные, такие знающие, и, только когда эта тонкая корка знания прорывается,

видишь под нею глубокие провалы, о существовании которых даже не подозревал. Возьмите вчерашний случай. Все, казалось, шло прекрасно. Он помнил наизусть большие куски из катехизиса, выучил „Отче наш“ и „Богородица дево радуйся“. Потом я, как водится, спросил, не мучают ли его какие-нибудь сомнения. Он поглядел на меня заговорщицки и сказал. „Послушайте, святой отец, по-моему, вы со мной хитрите. Я решил принять вашу веру и приму, но вы уж очень много недоговариваете“. Я поинтересовался, что он имеет в виду, и он ответил: „У меня был долгий разговор с одним лицом католического вероисповедания — очень набожным и образованным человеком, и я от него кое-что узнал. Например, что спать нужно ложиться ногами на Восток, потому что в этом направлении находится рай и если умрешь ночью, то прямо туда и зашагаешь. Я, разумеется, готов спать ногами в любом направлении, как захочет Джулия, но неужели вы думаете, что взрослый человек может поверить насчет шагания на небо? А как насчет того, что римский папа назначил свою лошадь кардиналом? Или насчет этой коробки на паперти, куда надо положить фунтовую бумажку с чьим-нибудь именем и этот человек попадет в ад? Я ничего не говорю, может,

во всем этом и есть какой-то смысл, — сказал мне он, — но вам следовало самому мне рассказать, чтобы я не узнавал от кого-то еще“.

— Бедняга, что все это может означать? — изумилась леди Марчмейн.

— Вы сами видите теперь, как еще ему далеко до церкви.

— Да, но кто ему это наговорил? Уж не во сне ли ему все приснилось? Корделия, в чем дело?

— Какой болван! Мамочка, какой потрясающий болван!

— Корделия, это ты?

— Ох, мамочка, ну кто бы мог подумать, что он на это клюнет? Я ему и не то еще нарассказала. Про священных мартышек в Ватикане — все в таком роде.

— Ну что ж, мне вы работы прибавили немало, — заметил отец Моубрей.

— Бедный Рекс, — сказала леди Марчмейн. — Знаете, это даже внушает к нему симпатию. Вы должны обращаться с ним, как с умственно отсталым ребенком, отец Моубрей.

Так наставления в вере были продолжены, и отец Моубрей дал наконец согласие принять его в лоно святой церкви за неделю до свадьбы.

— Казалось бы, они должны были из кожи вон

лезть, чтобы меня заполучить, — жаловался Рекс. — Я могу им во многих отношениях быть очень полезен. А они жмутся, как те типы, что раздают членские карточки в казино. И кроме того, — добавил он, — Корделия совсем заморочила мне голову, я и не знаю, что написано в катехизисе, а что она придумала.

В таком положении были дела за три недели до свадьбы; приглашения были разосланы, подарки прибывали каждый день; подружки невесты были в восхищении от сшитых для них туалетов. Вот тут и взорвалась, как назвала это Джулия, „бомба Брайди“.

Со свойственной ему беспощадностью он безо всякого предупреждения обрушил свой запас взрывчатки прямо на мирное семейное сборище. Под свадебные подарки была отведена в Марчмейн-хаусе просторная библиотека; там сошлись леди Марчмейн, Джулия, Корделия и Рекс, занятые развертыванием и разборкой подношений. Вошел Брайдсхед и некоторое время молча наблюдал за их работой.

— Китайские вазы, все в трещинках, от тети Бетти, — говорила Корделия. — Старые-престарые. Я помню, они стояли на лестнице в Бакборне.

— Что здесь происходит?

— От мистера, миссис, а также мисс Пендл-Картуэйт — один утренний чайный сервиз. Куплено у Гуда за тридцать шиллингов. Старые скряги.

— Можете запаковать все это снова.

— Брайди, что ты такое говоришь?

— Только то, что свадьбы не будет.

— Брайди!

— Я решил навести кое-какие справки о моем сговоренном зяте, поскольку больше никто не интересовался, — сказал Брайдсхед. — Окончательный ответ мною получен только сегодня. В девятьсот пятнадцатом году в Монреале он вступил в брак с некой мисс Сарой Эвангелиной Катлер, каковая проживает там и в настоящее время.

— Рекс, это правда?

Рекс стоял, держа в руке и придирчиво рассматривая нефритового дракона; он аккуратно поставил его на подставку из черного дерева и открыто и доверчиво всем улыбнулся.

— Ну да, — подтвердил он. — Что ж с того? Чего вы все так разволновались? Она для меня никто и ничто. Да я и был-то желторотый юнец. Такие ошибки со всяким случаются. Я еще в девятнадцатом году получил развод. И даже не знал, где она, пока вот Брайди мне не сказал. К чему такой

переполох?

— Могли бы мне рассказать, — проговорила Джулия.

— Но вы же не спрашивали. Честное слово, я давно забыл о ее существовании.

Его искренность была так очевидна, что им пришлось сесть и все спокойно ему объяснить.

— Неужели вы не понимаете, несчастное чудовище, что, будучи католиком, вы не можете жениться при живой жене? — недоуменно спросила Джулия.

— Но у меня нет никакой жены. Я ведь сказал вам только что, я развелся с ней шесть лет назад.

— Но вы не можете развестись, раз вы католик.

— Я тогда не был католиком и прекрасно развелся. У меня и бумаги где-то лежат.

— Разве отец Моубрей не объяснял вам насчет брака?

— Он говорил, что я не смогу развестись с вами. Я и не собираюсь. Мало ли что он мне объяснял — священные мартышки, полное отпущение грехов, — да если бы я запоминал все его объяснения, у меня бы не хватило времени ни на что другое. А между прочим, как насчет вашей итальянской кузины Франчески? Она ведь была замужем дважды?

— Она получила аннуляцию.

— Хорошо, пожалуйста. Я тоже получу аннуляцию. Сколько они стоят? Где их берут? У отца Моубрея можно раздобыть? Я хочу сделать, чтобы все было как надо. Ведь мне никто не сказал

Понадобилось много времени, чтобы внушить Рексу, что к его свадьбе имеются серьезные препятствия. Обсуждение длилось до ужина, затаилось у стола в присутствии слуг, снова разгорелось, как только они остались одни, и продолжалось за полночь. Вверх, вниз, вокруг вился разговор, точно чайка, то вдруг взмывающая ввысь, к облакам, и парящая невидимо среди посторонних соображений и многократно повторенных истин, то камнем устремляющаяся из поднебесья на волну, где покачиваются лакомые отбросы.

— Что я должен сделать? — не переставал спрашивать Рекс. — К кому мне надо обратиться? Не говорите мне, пожалуйста, что нет такого человека, который может все уладить.

— Вы ничего не можете сделать, Рекс, — ответил ему Брайдсхед. — Это просто означает, что вашей свадьбе не бывать. С точки зрения всех заинтересованных, очень жаль, что это выяснилось так неожиданно. Вам следовало самому нам

все рассказать.

— Послушайте, — сказал Рекс. — Может быть, то, что вы говорите, так и есть; может быть, строго по закону мне нельзя венчаться в вашем соборе. Но ведь собор уже заарендован; там никто не будет задавать вопросов; кардиналу ничего не известно; отцу Моубрею тоже. Никто, кроме нас самих, ничего не знает. Так зачем же затевать всю эту катавасию? Мы — молчок, и пусть все совершится законным порядком, словно ничего и не было. Кому от этого хуже? Ну, допустим, я рискую угодить в ад. Хорошо, я согласен, иду на риск. Ну а еще-то кому, что до этого?

— В самом деле, — сказала Джулия. — Я не верю, что святым отцам все известно. И не верю, что за такие вещи попадают в ад. И уж не знаю, верю ли, что он вообще существует. И, во всяком случае, это наша забота. Никто вас не просит рисковать своим вечным спасением. Только не лезьте, и все.

— Джулия, я тебя ненавижу! — выпалила Корделия и хлопнула дверью.

— Мы все устали, — сказала леди Марчмейн. — Если не все еще сказано, предлагаю вернуться к обсуждению завтра утром.

— Но тут нечего обсуждать, — возразил

Брайдсхед, — разве только, как наиболее тактично поставить точку в этой истории. Мы с мамой решим все сами. Вероятно, надо будет поместить объявление в „Тайм“ и в „Морнинг пост“; подарки придется разослать обратно. Мне не известно, как в таких случаях следует поступать с туалетами подружек невесты.

— Одну минутку, — сказал Рекс. — Одну минутку. У вас, может быть, есть возможность воспрепятствовать нашей свадьбе в вашем соборе. Ну и хорошо, к черту, тогда мы обвенчаемся в протестантской церкви.

— Я могу воспрепятствовать этому тоже, — сказала леди Марчмейн.

— Да, мамочка, но ты этого не сделаешь, — возразила Джулия. — Видите ли, я уже давно любовница Рекса и останусь ею, венчанная или невенчанная.

— Рекс, это правда?

— Нет, черт подери! И очень жаль.

— Я вижу, нам все равно придется вернуться завтра утром к этому обсуждению, — слабым голосом проговорила леди Марчмейн. — Сейчас я продолжать не в силах.

И ей пришлось, подымаясь в спальню, опереться на руку сына.

— Что могло побудить тебя брякнуть такое матери? — спросил я, когда спустя многие годы Джулия описала мне эту сцену.

— Рекс тоже задал мне этот вопрос. Я думаю, наверно, я считала, что это правда. Не в буквальном смысле — хотя не забывай, мне было только двадцать лет, а „реалии жизни“ нельзя усвоить с чужих слов, — но я, конечно, не имела в виду, что это была правда в буквальном смысле. Просто я не знала, как иначе выразиться. Я чувствовала, что слишком глубоко связана с Рексом, чтобы просто сказать: „Назначенное бракосочетание отменяется“ — и на том покончить. Я хотела быть порядочной женщиной. Я, если на то пошло, этого и потом все время хотела.

— А дальше?

— А дальше разговоры все продолжались и продолжались. В них приняли участие святые отцы, в них приняли участие тетки. Было выдвинуто много разных предложений: чтобы Рекс поехал в Канаду; чтобы отец Моубрей поехал в Рим и выяснил, нельзя ли как-нибудь подать на аннуляцию; чтобы я поехала на год за границу. В самый разгар всего этого Рекс просто взял и телеграфировал папе: „Джулия и я предпочитаем свадьбу по протестантским канонам. Будут ли

возражения?“ Папа ответил:

„Весьма рад“, — и это положило конец маминому законному праву вмешательства. Потом было еще много всяких уговоров — меня возили для бесед со святыми отцами, с монахинями, с тетками. А Рекс спокойно — или почти спокойно — вел свою линию.

О Чарльз, что это была за жалкая свадьба! Тогда разведенных венчали в Савой-Чейпел — убогой, жалкой церквушке, совсем не такой, как мечталось Рексу. Я была за то, чтобы просто зайти в одно прекрасное утро в бюро регистрации и покончить с этим делом, пригласив двух прохожих в свидетели, но Рексу во что бы то ни стало нужны были подружки, и флердоранж, и „Свадебный марш“. Это было кошмарно.

Бедная мама держалась, как святая мученица, и настояла, чтобы я, несмотря ни на что, взяла ее кружева. Правда, она не могла бы, в общем-то, поступить иначе — свадебное платье было задумано вокруг них. На свадьбу пришли, конечно, мои друзья и всякие Рексовы сообщники, которых он именовал друзьями; остальные гости подобрались очень странно. Из маминых родных не было, разумеется, никого; из папиных — двое или трое. Важная публика не пришла — все эти

Энкореджи, Чазмы, Ванбруги, — и я про себя думала: „Ну и слава богу, что не пришли, они и без того всегда смотрели на меня свысока“, но Рекс был в ярости, потому что ему-то как раз они и были нужны.

Сначала я надеялась, что гостей вообще не будет. Мама сказала, что в Марчерс мы не можем приглашать, а Рекс хотел телеграфировать папе и набить полный дом всевозможными лакеями, официантами и горничными во главе с адвокатом нашей семьи. В конце концов было решено устроить дома накануне свадьбы вечер с демонстрацией подарков — видимо, отец Моубрей считал, что это допустимо. Ну а никто не в силах устоять от соблазна полюбоваться своим собственным подарком, так что вечер вполне удался; но вот прием, который на следующий день устроил Рекс в „Савое“ для присутствовавших на свадьбе, был одно убожество.

Неизвестно, что было делать с арендаторами. В конце концов Брайди поехал и задал им обед с большим костром в парке, хотя они ожидали гораздо большего за свою серебряную суповую миску.

Тяжелее всех переживала все бедняжка Корделия. Она так мечтала, что будет подружкой у

меня на свадьбе, — мы с ней любили разговаривать об этом еще задолго до того, как я начала выезжать, — и потом, конечно, она очень набожная девочка. Сначала она перестала со мной разговаривать. Потом, утром в день свадьбы — я накануне вечером переехала к тете Фанни Роскоммон, было сочтено, что так будет удобнее, — она ворвалась ко мне, уже побывав на Фарм-стрит, кинулась ко мне вся в слезах, когда я еще лежала в постели, и стала умолять, чтобы я не венчалась, потом обняла, подарила чудную брошечку, которую сама купила, и сказала, что молится за меня, чтобы я была счастлива всю жизнь. Всю жизнь счастлива, Чарльз!

Словом, это была совсем не модная свадьба. Знакомые приняли мамину сторону, как и всегда, и, как всегда, ей от этого было не легче. Всю свою жизнь мама пользовалась сочувствием всех людей, но только не тех, кого любила. В обществе говорили, что я поступила с нею безобразно. И вышло так, что бедный Рекс оказался женат на изгойке, а это было как раз обратное тому, чего он добивался.

Так что, как видишь, обстоятельства с самого начала приняли неблагоприятный оборот. Над нами тяготело заклятье. Но я все равно была без

памяти влюблена в Рекса.

— Странно себе это представить.

— Понимаешь, отец Моубрей с первого взгляда разгадал о нем правду, на постижение которой у меня ушел год супружеской жизни. Он просто умственно неполноценный. Не человек, а только какая-то неестественно разросшаяся часть человека, культивированная в пробирке, что ли. Я думала, что он нечто вроде первобытного дикаря, но он не первобытный, а, наоборот, очень современный, самое последнее измышление нашего ужасного века. Небольшая часть человека, прикидывающаяся цельным человеческим существом. Слава богу, теперь все позади.

Она сказала мне это десять лет спустя, во время шторма в Атлантике.

Глава третья

Я вернулся в Лондон весной 1926 года во время Всеобщей забастовки.

В Париже только и разговоров было, что об этом. Французы, как всегда радующиеся бедам своих бывших союзников и переводящие на точный язык своих понятий наши более туманные островные представления, предсказывали революцию и гражданскую войну. Каждый вечер газетные киоски торговали пророчествами о гибели, а в кафе знакомые полунасмешливо говорили: „Ага, мой друг, здесь-то вам поспокойнее, чем дома, а?“— пока, в конце концов, я и еще несколько человек, оказавшихся в таких же обстоятельствах, не уверовали, что наша родина в опасности и долг призывает нас туда. Перед отъездом к нам присоединился бельгиец-футурист, живший под вымышленным, как я полагаю, именем Жана де Бриссака де ла Мотта, который считал своим правом сражаться с оружием в руках во всякой битве на земном шаре, ведущейся против низших классов.

Наша мужская компания в едином порыве одушевления переехала через Па-де-Кале, ожидая

застать в Дувре картину, столь часто и со столь малыми изменениями повторявшуюся в последние годы во всех концах Европы, что у меня по крайней мере уже сложилось яркое зрительное представление о том, что такое революция — красный флаг на почтамте, перевернутый трамвайный вагон, пьяные сержанты, открытые ворота тюрьмы и шайки выпущенных на свободу преступников, шныряющие по улицам, и вокзал, на который так и не прибыл по расписанию поезд из столицы. Об этом мы, что ни день читали в газетах, смотрели кинофильмы, слушали рассказы за ресторанными столиками вот уже шесть или семь лет подряд, и это стало частью нашего жизненного опыта из вторых рук, подобно грязи на полях Фландрии или мухам Месопотамии.

Но вот мы пристали к берегу, и нас встретила привычная таможенная рутина, и точный, как часы, поезд, и носильщики на перроне вокзала Виктории, выстроившиеся двумя рядами перед вагонами первого класса, и длинная очередь свободных такси.

— Разъедемся, — решили мы, — и посмотрим, где что происходит. А за ужином встретимся и поделимся впечатлениями, — но в глубине души мы уже знали, что ничего не происходит; ничего

такого, во всяком случае, что требовало бы нашего присутствия.

— А-а, здравствуй, здравствуй, — сказал отец, столкнувшись со мною на лестнице. — Очень рад, что ты вернулся так скоро. (Я пробыл за границей почти полтора года.) Между прочим, ты приехал в неудобное время. У нас тут послезавтра опять устраивают забастовку — все один вздор, — и трудно сказать, когда ты теперь сможешь уехать.

Я подумал о том, чем мне пришлось пожертвовать, — о вечерних фонарях, загорающихся сейчас вдоль набережных Сены, о приятном обществе, которое у меня там было (я в то время завел близкое знакомство с двумя эмансипированными молоденькими американками, снимавшими на двоих холостяцкую квартирку в Атейле), и пожалел, что приехал.

Мы ужинали в тот вечер в „Кафе-Ройяль“. Там все же попахивало порохом, потому что столики были заняты студентами, съехавшимися в Лондон „на защиту отечества“. Одна группа из Кембриджа только что записалась в полном составе связными Транспорт-хауса[30], а позади

---

[30] Примечания: 30

Штаб-квартира бастующих во время Всеобщей забастовки 1926 р.

них сидела другая группа — из добровольного полицейского отряда. Время от времени то те, то другие выкрикивали через плечо что-нибудь обидное и вызывающее, но трудно затеять серьезную стычку, находясь спиной к спине с врагом, и кончилось все тем, что они заказали друг для друга высокие кружки пива.

— Были б вы в Будапеште, когда в город входил на марше Хорти, — вздохнул Жан. — Вот это политика!

В одном доме у Риджент-парка был вечер в честь „Черных птиц“, недавно прибывших на гастроли. Кто-то из нас получил приглашение, и мы отправились туда всей компанией.

Для нас, завсегдатаев „Бриктопа“ и „Баль-Нэгра“ на Рю Бломэ, это было вполне заурядное зрелище. Но едва я переступил порог, до меня донесся единственный в своем роде голос — эхо прошлого, которое казалось мне уже таким далеким.

— Нет, — произнес этот голос, — это не звери в зоологическом саду, мой любезный Мулкастер, и нечего на них глазеть. Это артисты, мой милый, великие артисты, которых надо почитать.

За столиком, уставленным винными бутылками сидели Антони Бланш и Бой Мулкастер.

— Слава богу, хоть кто-то знакомый нашелся, —

сказал Мулкастер, когда я к ним подошел. — Одна барышня меня сюда затащила. И не знаю, куда делась.

— Она сбежала от вас, мой милый, и знаете почему? Потому что вам здесь абсолютно не место, Мулкастер. Этот вечер не для таких, как вы, и вам здесь нечего делать. Вы должны убраться отсюда вон, мой милый, и пойти в „Старую сотню“ или на какой-нибудь погребальный бал на Белгрейв-сквер.

— Я и так сюда прямо с бала, — ответил Мулкастер. — А в „Сотню“ еще рано. Посижу немного. Может, потом веселее станет.

— Я плюю на вас, — сказал Антони. — Пойдемте поговорим, Чарльз.

Мы взяли бутылку и наши рюмки и отыскали свободный угол в другом зале. У наших ног на полу пятеро оркестрантов — „черных птиц“, сидя на корточках, бросали кости.

— Вон тот негр, — сказал Антони, — вон тот, довольно светлый, на днях кокнул миссис Арнольд Фрикхаймер молочной бутылкой по голове, мой милый.

И почти сразу же мы с ним неизбежно заговорили о Себастьяне.

— Мой милый, он так пьет. Он приехал и посе-

лился у меня в Марселе в прошлом году, когда вы с ним разошлись, и, право, это было выше моих сил. Целый день прикладывается к бутылке, точно вдовствующая герцогиня. И столько хитрости. У меня все время что-нибудь пропадало, какие-то вещицы, которыми я дорожил, один раз исчезли два костюма, только что прибывшие от „Лесли и Робертса“. Разумеется, я не мог подумать на Себастьяна — у меня в квартире постоянно появлялись и исчезали разные темные личности; уж кто-кто, а вы, мой милый, знаете мое пристрастие к темным личностям. Но, в конце концов, мой милый, мы обнаружили ломбард, где Себастьян все это з-з-закладывал, и тогда выяснилось, что у него нет квитанций — их, оказывается, тоже можно реализовать в бистро.

Вижу это неодобрительное пуританское выражение вашего лица, мой любезный Чарльз, словно вы считаете, что это я его толкал по стезе порока. Это одно из наименее приятных свойств Себастьяна — он всегда производил впечатление толкаемого по стезе порока. Но уверяю вас, я делал все, что мог. Я много раз говорил ему: „Зачем пить? Если вы ищете забытья, есть много других, гораздо более соблазнительных способов.“ И я повел его к самому надежному человеку — ну,

вы знаете его не хуже меня, Нада Алопов, и Жан Люксмор, и все знакомые уже много лет его клиенты, его всегда можно найти в „Регина баре“; и потом у нас из-за этого вышли серьезные осложнения, потому-что Себастьян дал ему негодный чек — п-п-поддельный, представьте себе, мой милый, — и к нам на квартиру явилась целая банда, опаснейшие головорезы, мой милый, а Себастьян в это время был в совершенном беспамятстве, и все это получилось крайне неприятно.

К нам подошел Бой Мулкастер и без приглашения уселся рядом со мною за наш столик.

— Там пить больше нечего, — пояснил он, опоражнивая в свой стакан нашу бутылку. — Ни одной знакомой физиономии, все только какие-то чернокожие.

Антони не удостоил его вниманием, он продолжал свой рассказ.

— Ну и тогда мы уехали из Марселя и поселились в Танжере, и вот там то, мой милый, Себастьян и завел себе этого нового дружка. Как вам его описать. Он похож на швейцара из „Теней“ — такой здоровенный немец, служил в Иностранном легионе. Выдрался оттуда, отстрелив себе большой палец на ноге. Нога у него до сих пор не зажила. Когда Себастьян с ним познакомился, он

был зазывалой при одном из заведений Касбы и умирал с голоду. Себастьян привез и поселил его у нас. И это было смертоубийственно. Ну и тогда я подался обратно, в старую добрую Англию. В старую добрую Англию, — повторил он, обводя широким жестом негров, играющих в кости у наших ног, Мулкастера, уставившегося перед собой бессмысленным взглядом, и хозяйку дома в пижаме, которая подошла к нам познакомиться.

— Никогда вас раньше не встречала, — сказала она — И не приглашала. И вообще, откуда взялось все это белое отребье? Может быть, я попала в чужой дом?

— Родина в опасности. — сказал Мулкастер. — Мало ли что может случиться.

— Ну как вечер? Удался? — поинтересовалась хозяйка. — Как вы думаете, Флоренс Миллз согласится спеть? Мы с вами встречались, — добавила она, обращаясь к Антони.

— Много раз, дорогая, но сегодня вы меня не пригласили.

— Неужели? Наверно, вы мне не нравитесь. Я думала, мне все люди нравятся.

— Как, по-вашему, — спросил Мулкастер, когда хозяйка дома покинула нас, — остроумно будет, если дать пожарную тревогу?

— О да, Бой, ступайте и позвоните.

— Может, взбодрит всех немного, а?

— Вот именно.

И Мулкастер ушел в поисках телефона.

— Если не ошибаюсь, Себастьян со своим хромоножкой отправились во Французское Марокко, — продолжал Антони. — Когда я уезжал, у них были неприятности с танжерской полицией. Маркиза со дня моего приезда положительно не дает мне ни минуты покоя. Хочет, чтобы я как-нибудь с ними связался. Ах, как ей сейчас, бедняжке, худо приходится. Чем доказывается, что справедливость на земле все-таки существует.

В это время запела мисс Миллз, и все, кроме игроков в кости, устремились в соседнюю комнату.

— Вон моя девушка, — показал Мулкастер. — Вон стоит с тем чернокожим типом. Барышня, которая меня сюда привела.

— По-моему, она про вас и думать забыла.

— По-моему, тоже. Напрасно я приехал. Давайте закатимся куда-нибудь, а?

К подъезду, когда мы выходили, подъехали две пожарные машины, и люди в блестящих касках смешались с толпой гостей.

— Этот тип Бланш, — сказал Мулкастер, — плохой человек. Я его один раз окунал под

Меркурия.

Мы заходили в разные ночные клубы. За прошедшие два года Мулкастер сумел достичь того, к чему так простодушно стремился, — в заведениях этого рода он пользовался известностью и любовью. В последнем из них нас с ним обуял пламенный патриотизм.

— Вы и я, — сказал Мулкастер, — слишком поздно родились и не могли воевать в эту войну. Воевали другие ребята и полегли миллионами. А мы нет. Мы им покажем. Покажем павшим героям, что тоже можем воевать.

— Я для того и приехал, — сказал я. — Примчался из-за моря, чтобы сплотиться вокруг родины в тяжелый час испытаний.

— Как австралийцы.

— Да, как бедные павшие герои австралийцы.

— Вы куда записались?

— Пока никуда. Еще войны-то нет.

— Записываться надо только к Биллу Медоузу — в Оборонный корпус. Все свои ребята. Все состоят у „Брэтта“.

— Запишусь.

— Ребят брэттовских помните?

— Нет. Туда тоже вступлю.

— Дело. Все свои, ребята что надо, как те ге-

рои. И я записался к Биллу Медоузу, который командовал летучим отрядом по охране поставок провизии в беднейших кварталах Лондона. Сначала мое имя было внесено в списки Оборонного корпуса; потом с меня взяли присягу в верности и выдали шлем и дубинку; потом меня выдвинули в члены клуба „Брэтт“ и провели вместе с другими новобранцами на специально для того созванном заседании комитета. Потом мы неделю просидели в боевой готовности у „Брэтта“, трижды в сутки выезжая в грузовике на сопровождение молочных фургонов. В спину нам улюлюкали, иногда швыряли отбросы, но лишь один раз нам довелось участвовать в военных действиях.

Мы сидели после завтрака и томились, когда в салон, поговорив по телефону, вернулся Билл Медоуз в самом приподнятом настроении.

— Поехали, — распорядился он. — На Коммершиал-роуд идет сражение — что надо!

Мы укатили на большой скорости и прибыли на место. От фонаря к фонарю через улицу был натянут стальной трос, на мостовой лежал перевернутый грузовик, а рядом с ним — одинокий полисмен, на которого наседала с кулаками и пинками группка каких-то юнцов. По обе стороны от этого центра беспорядков, на довольно

почтительном расстоянии, начали собираться враждующие силы. Неподалеку от того места, где мы выгрузились, на тротуаре сидел второй полисмен, пострадавший, он держался руками за голову, и из-под пальцев текла кровь; его окружало несколько сочувствующих; по ту сторону троса враждебно сгрудились молодые докеры. Мы жизнерадостно ринулись в атаку, освободили из окружения полисмена и устремились на главные силы противника, но вместо этого столкнулись с делегацией местных священников и деятелей муниципалитета, прибывших одновременно с нами с другой стороны, дабы воздействовать уговорами. Они были нашими единственными жертвами, ибо едва только мы успели сбить их с ног, как раздался крик „Спасайся! Полиция!“ — и у нас за спиной, скрежеща тормозами, остановился грузовик с полицейскими.

Толпу сразу точно ветром сдуло. Мы подобрали повергнутых миротворцев (из которых только один пострадал серьезно), потом некоторое время патрулировали окрестные переулки, откровенно — хотя и тщетно — нарываясь на неприятности, и наконец возвратились к „Брэтту“. Назавтра Всеобщая забастовка кончилась, и повсюду в стране, кроме районов угледобычи, жизнь вошла в свою

колею. Словно страшный зверь, о чьей свирепости ходили давние слухи, вышел на час из своего логова, учуял опасность и убрался восвояси. Ради этого не стоило приезжать из Парижа.

Жан, записавшийся в другой отряд, на неделю попал в госпиталь — в Кемдентауне престарелая вдовица уронила ему на голову цветочный горшок.

О том, что я в Англии, Джулия узнала через соратников Билла Медоуза. Она позвонила и передала, что ее мать очень просит меня к ним заехать.

— Вы увидите, она ужасно больна, — сказала Джулия. Я отправился в Марчмейн-хаус в первое же утро мира. В прихожей я едва не столкнулся с уходившим сэром Адрианом Порсоном; он закрывал лицо носовым платком, ощупью ища трость и шляпу; он был в слезах.

Меня проводили в библиотеку, и через минуту ко мне туда вышла Джулия. Она пожала мне руку с сердечностью и удрученностью, которые были для меня в ней непривычны; в сумраке дома она казалась привидением.

— Вы очень добры, что пришли. Мама много раз о вас спрашивала, но не знаю, сможет ли она теперь, после всего, вас видеть. Она только

что попрощалась с Адрианом Порсоном, и это ее утомило.

— Попрощалась?

— Да. Она умирает. Может прожить еще неделю или две, а может покинуть нас в любую минуту. Она так слаба. Пойду спрошу сиделку.

Безмолвие смерти уже успело воцариться в доме. В Марчмейн-хаусе в библиотеке никогда не проводили время — это была единственная некрасивая комната на оба дома. В викторианских дубовых шкафах стояли тома Хэнсарда и устаревшие энциклопедии, которые десятки лет никто не открывал; непокрытый стол красного дерева был словно предназначен для каких-то заседаний; вся комната казалась нежилой, как общественное помещение; за окном был виден газон, ограда, тихий переулок.

Вернулась Джулия.

— Нет, к сожалению, к ней нельзя. Она уснула. Она может так дремать часами. Я сама вам передам все, что она хотела. Только пойдемте куда-нибудь отсюда. Терпеть не могу эту комнату.

Она перешла со мною через коридор в малую гостиную, где раньше часто накрывали к обеду, и мы сели в кресла по обе стороны камина. Пурпур и золото стен бросили свои отсветы на Джулию,

и она уже не казалась такой призрачно-бледной.

— Прежде всего, я знаю, мама хотела вам сказать, что очень сожалеет о своей резкости в последнем разговоре с вами. Она, часто об этом говорит. Теперь она знает, что это была ее ошибка. Я не сомневаюсь, что вы все тогда поняли и не придали значения, но мама подобные вещи себе не прощает — она редко делала такие ошибки.

— Пожалуйста, скажите ей, что я все отлично понял.

— Другое, вы, конечно, догадались, — это Себастьян. Она хочет его видеть. Не знаю, осуществимо ли это. Как вы считаете?

— Я слышал, он в очень плохом состоянии.

— Да, мы тоже слышали. Мы телеграфировали по последнему адресу, который у нас был, но не получили ответа. Он, может быть, еще успел бы повидать ее. Я сразу подумала о вас как о единственной надежде, когда узнала, что вы в Англии. Вы поищете его? Это беззастенчивая просьба, но я думаю, Себастьян бы тоже этого хотел, если бы узнал.

— Я попытаюсь.

— Нам больше некого просить. Рекс так занят.

— Да, я слышал немало рассказов о его деятельности на газовом заводе.

— О да, — сказала Джулия с отзвуком прежней сухости в голосе, — он создал себе капитал на забастовке.

Потом мы несколько минут говорили о Брэттском отряде. Она рассказала, что Брайдсхед отказался от какого-либо участия в общественном движении, так как не убежден в его справедливости; Корделия в Лондоне, она сейчас спит, потому что дежурила у матери всю ночь. Я рассказал, что занимаюсь архитектурной живописью и мне очень нравится. Весь этот разговор был пустой; мы уже все сказали друг другу в первые несколько минут; я остался к чаю, а после чая тут же уехал.

Компания „Эйр Франс“ простирала свои услуги до Касабланки; оттуда до Феса я добирался на автобусе, выехав на заре и к вечеру прибыв в новый город. Из гостиницы я позвонил британскому консулу и в тот вечер ужинал у него, в его гостеприимном доме под стенами старого города.

— Очень рад, что кто-то наконец приехал за молодым Флайтом, — сказал консул. — Он все-таки был у нас бельмом на глазу. Неподходящее здесь место для человека, существующего на иностранные переводы. Французы не в состоянии его понять. Всякого, кто не занимается коммерцией, они считают шпионом. Да и живет он совсем

не как лорд. У нас здесь обстановка отнюдь не простая. Не далее как в тридцати милях отсюда идет война, хоть и не скажешь, здесь сидя. Только неделю назад у нас тут появились какие-то молодые идиоты на велосипедах, желающие вступить добровольцами в армию Абдул Керима. И мавры, надо сказать, публика сложная; они не признают вина, а ваш друг, как вам, наверно, известно, пьет почти круглые сутки. Зачем ему понадобилось сюда приезжать, не понимаю. Мало, что ли, места в Рабате или Танжере, где специализируются на туристах? И знаете, он снял дом в старом городе. Я сделал попытку его отговорить, но дом ему достался после одного француза из департамента искусств. Он ничего дурного не делает, я не говорю, но беспокойства от него много. При нем живет один ужасный человек — немец из Иностранного легиона. Темная во всех отношениях личность. Это добром не кончится. Поймите, Флайт мне симпатичен. Я не часто с ним вижусь. Раньше он приходил сюда принимать ванну, до того как поселился в том доме. И всегда был обаятелен. Моя жена от души привязалась к нему. Какое-то занятие, вот что ему нужно.

Я объяснил цель своего приезда.

— Вы, вероятно, застанете его сейчас дома.

Видит бог, в старом городе не очень-то есть куда ходить по вечерам. Если угодно, я дам вам в провожатые швейцара.

И вот после ужина я в сопровождении консульского швейцара с фонарем отправился в путь. Я никогда прежде не был в Марокко. Днем из окна автобуса, катившего по ровному стратегическому шоссе мимо виноградников, военных постов, новых белых сеттльментов, необъятных полей, где уже колосились высокие хлеба, и рекламных щитов французских экспортных компаний — „Дюбоннэ“, „Мишлена“, „Магазен дю Лувр“, — эта страна показалась мне очень европеизированной и современной; теперь, под синими звездами, в обнесенном стенами старом городе, где улицы были не улицы, а отлогие запыленные лестницы и по обе стороны поднимались темные безглазые стены, смыкаясь и снова раздаваясь над головой навстречу звездному свету; где между стертыми булыжниками мостовых толстым слоем прилегла пыль и какие-то фигуры в белом безмолвно проходили мимо, неслышно ступая мягкими подошвами восточных туфель или твердыми босыми ступнями; где воздух пропах пряностями, воскурениями и дымом очагов, — теперь я понимал, что привлекло сюда Себастьяна и так долго

его здесь держит.

Швейцар консульства надменно шагал впереди меня, раскачивая фонарем и звонко ударяя по камням своей длинной швейцарской булавой; кое-где в раскрытых дверях мелькали безмолвные группы, сидящие вокруг жаровен в золотистом свете ламп.

— Очень грязные народы, — презрительно бросал он мне через плечо. — Необразованные. Французы их такими оставили. Не то что британские народы. Мои народы, — сказал он, — всегда очень британские народы.

Ибо он был из суданской полиции и рассматривал этот древний центр своей культуры, как новозеландец мог бы рассматривать сегодняшний Рим.

Наконец мы остановились у последней из длинного ряда усеянных медными заклепками дверей, и швейцар постучал в нее своей булавой.

— Британского милорда дом, — пояснил он. За решетчатым оконцем появился свет и смуглое лицо. Консульский швейцар произнес что-то не допускающее возражений, засовы были отодвинуты, и мы вошли во внутренний дворик с бассейном посередине, под густым виноградным сводом.

— Я подожду тут, — сказал швейцар. — А вы идите за этим туземцем.

Я вошел, спустился на одну ступеньку и оказался в комнате, где были патефон, горящая керосинка и молодой человек между ними. Потом, когда я огляделся, там обнаружились и другие, более приятные предметы — коврики на полу, вышитые шелковые сюзане на стенах, резные раскрашенные потолочные балки, тяжелая, изрешеченная отверстиями лампа на цепях, бросавшая по комнате мягкие прихотливые тени. Но в первое мгновение только эти три объекта — патефон своим шумом (он играл французскую джазовую музыку), керосинка своей вонью и молодой человек своим волчьим видом — задержали мое внимание. Молодой человек, развалясь, сидел в плетеном кресле, выставив вперед и положив на какой-то ящик забинтованную ногу, он был одет в костюм из дешевого центрально-европейского твида и открытую теннисную рубашку; на здоровой ноге у него был коричневый парусиновый туфель. Рядом с его креслом стоял медный поднос на деревянных козелках, а на нем две пивные бутылки, грязная тарелка и блюдце, полное окурков; стакан пива он держал в руке, а на нижней губе у него

приклеилась сигарета, не падавшая, даже когда он разговаривал. Его длинные светлые волосы были гладко, без пробора, зачесаны назад, а лицо бороздили складки, неестественно глубокие при его очевидной молодости; у него не хватало переднего зуба, из-за этого шипящие получались у него шепеляво, а иногда и с присвистом, отчего он сам всякий раз смущенно хмыкал; остальные зубы были желтые от табака и редкие.

Это явно была „темная во всех отношениях личность“ из описаний консула, „кинолакей“ Антони Бланша.

— Я разыскиваю Себастьяна Флайта. Это ведь его дом, если не ошибаюсь?

Я говорил во весь голос, чтобы перекричать музыку, но он ответил негромко, с определенной свободой во владении английским языком, которая свидетельствовала о том, что этот язык стал для него привычным.

— Да. Но его шейчаш нет. Никого нет, кроме меня.

— Я приехал из Англии, чтобы повидать его по важному делу. Вы не можете мне сказать, где его найти?

Пластинка кончилась. Немец перевернул ее, завел патефон и опять пустил пластинку и только

потом ответил на мой вопрос.

— Шебаштьян болен. Братья увежли его в лажарет. Может быть, они вас к нему пуштят. А может быть, нет. Я шам должен буду на днях туда попашть, на перевяжку. Могу тогда у них ужнать. Может быть, когда ему штанет лучше, они вам ражрешат к нему пройти.

В комнате был еще один стул, я придвинул его и сел. Видя, что я не ухожу, немец предложил мне пива.

— Вы не брат Шебаштьяна? — спросил он. — Может быть, кужен, нет? Может быть, вы женаты на его шештре?

— Всего только друг. Университетский товарищ.

— Я тоже имел универштитетшкого товарища. Мы ижучали ишторию. Мой товарищ был умнее меня, такой маленький, хилый — я, когда бывал шердит, подымал его прямо жа бока и тряш, — но он был ошшень, ошшень умный. Один день он вдруг шкажал: „Какого черта? В Германии вше равно нет работы. Германия выброшена на швалку“, — и мы проштились с нашими профешорами, и они тоже шкажали: „Да-да, Германия выброшена на швалку, штудентам тут нечего делать“. И мы ушли. Мы шли, шли, шли и наконец пришли

шюда. Мы шкажали: „В Германии теперь нет армии, но мы должны шра-жаться“. И поступили в легион. Мой товарищ, он прошлый год умер от дижентерии во время Атласской кампании. И тогда я шкажал: „Какого черта?“ — и штрелял шебе ногу. Теперь она вшя в гное, хотя прошел уже целый год.

— Да, — прервал его я. — Это очень занимательно. Но меня сейчас интересует главным образом Себастьян. Вы не могли бы рассказать мне о нем?

— Отличный парень, Шебаштьян. Мне подходит. Танжер — вонючая дыра. А он привеж меня шюда — хороший дом, хорошая еда, хороший шлуга. Здесь мне подходит, я шчитаю. Годится вполне.

— Его мать очень больна, — сказал я. — Я приехал сообщить ему об этом.

— Богатая?

— Да.

— Пошему бы ей не дать ему больше денег? Может быть, мы бы тогда пошелилишь в Кашабланке, в хорошей квартире. Вы ее знаете хорошо? Можете шкажать, чтобы она давала больше денег?

— Что с ним?

— Не жнаю. Я шчитаю, может быть, пьет шлиш-

ком много. Братья пришмотрят за ним. Ему там подходит вполне. Братья хорошие парни. И ошень дешево.

Он хлопнул в ладоши и распорядился принести еще пива.

— Видите? Хороший шлуга, ешть кому ходить жа мной. Годится вполне.

Добившись от него названия лазарета, я поспешил с ним проститься.

— Передайте Шебаштьяну, что я еще тут и у меня вше в порядке. Я шчитаю, он, может быть, бешпокоится обо мне.

Лазарет, куда я отправился на следующее утро, представлял собою скопление домиков на полпути между старым и новым городом. Его содержали францисканцы. Я пробрался сквозь толпу больных мавров и вошел в кабинет доктора. Он был мирянин — обыкновенный гладко выбритый человек в белом накрахмаленном халате. Говорили мы по-французски. Он сказал, что Себастьян вне опасности, но ехать в настоящее время никуда не может. У него был грипп с небольшим поражением одного легкого, и он очень слаб, низкая сопротивляемость — ну, да чего же тут можно ждать? Он ведь алкоголик. Доктор говорил бесстрастно, почти грубо, с удовольствием,

которое люди науки подчас испытывают от того, что могут ограничиться лишь голыми фактами и свести свой предмет к полнейшей стерильности. Рассказ босого бородатого брата, которому доктор меня препоручил, человека, лишенного научных претензий, исполнявшего в палате грязную работу, звучал иначе:

— Он так терпелив. Не подумаешь даже, что он молод. Лежит и молчит и никогда не пожалуется, а жаловаться у нас есть на что. Тут нет удобств. Правительство отдает нам только то, что может уделить от солдат. И он так добр. Тут приходит один бедный немец с незаживающей ногой и вторичным сифилисом. Лорд Флайт подобрал его умирающего с голоду в Танжере, взял к себе и дал ему кров. Настоящий добрый самаритянин.

„Бедный простак, — подумал я, — бедный олух царя небесного. Да простит мне бог!“

Себастьян находился во флигеле для европейцев, где между койками были невысокие перегородки, создававшие какое-то уединение. Он лежал, сложив руки поверх стеганого одеяла и глядя в стену, на которой висела одинокая олеография религиозного содержания.

— Ваш знакомый, — сказал брат. Он медленно повернул голову.

— Я думал, это Курт. А вы что здесь делаете, Чарльз? Он был худ, как никогда: вино, от которого другие жиреют и краснеют лицом, иссушило Себастьяна. Брат ушел, и я сел у его постели. Мы поговорили о его болезни.

— Я был дня два в забытьи, — сказал он. — Мне все мерещилось, что я снова в Оксфорде. Вы заходили ко мне домой? Понравился ли вам дом? Курт там еще? Я не спрашиваю, понравился ли вам Курт, он никому не нравится. Забавно. А ведь я бы без него не мог.

Потом я рассказал ему о матери. Некоторое время он молчал, разглядывая олеографию „Семь скорбей“. Потом вздохнул:

— Бедная мама. Вот уж воистину femme fatale[31], верно? Убивала с одного прикосновения. Я телеграфировал Джулии, что Себастьян приехать не в состоянии, и прожил в Фесе неделю, навещая его в лазарете каждый день, покуда он не окреп настолько, что мог передвигаться. Первый признак его возвращающегося здоровья состоял в том, что он попросил коньяка. На третий день у него уже была бутылка, и он прятал ее у себя под одеялом.

Доктор сказал:

---

[31] Примечания: 31
Роковая женщина (франц.)

— Ваш друг снова пьет. Это здесь запрещено. Я ничего не могу сделать. Здесь не исправительный дом. У нас нет надзирателей в палатах. Я здесь для того, чтобы лечить людей, а не бороться с их же собственными вредными привычками или обучать их владеть собой. Коньяк не причинит ему теперь вреда. Он просто ослабит его к следующему разу, когда он заболеет, и в один прекрасный день — ф-фу! — его унесет какое-нибудь совсем легкое недомогание. Здесь не больница для лечения алкоголиков. Я вынужден буду выписать его в конце недели.

Брат милосердия сказал другое.

— Ваш друг сегодня чувствует себя гораздо лучше. Он совсем преобразился.

„Бедный простак, — подумал я. — Бедный олух царя небесного“, — но он добавил:

— А знаете почему? У него бутылка коньяка в постели. Это я у него уже вторую нахожу. Только я одну унесу, у него заводится другая. Такой непослушный. Слуги-арабы ему достают. Но сердце радуется видеть его снова веселым, он столько дней лежал в печали.

В последний вечер я спросил:

— Себастьян, теперь, когда ваша мать умерла (ибо мы получили в то утро печальное известие),

вы не думаете вернуться в Англию?

— Да, это было бы в некоторых отношениях совсем неплохо, — отвечал он. — Но вы думаете, Курту там понравится?

— Бога ради, — сказал я, — вы что, собираетесь всю жизнь провести с Куртом?

— Не знаю. Мне кажется, он ничего не имеет против. Ему подходит, я шчитаю, может быть, — сказал Себастьян, подражая немцу, а потом добавил то, что могло бы дать мне ключ, обрати я на его слова больше внимания; я же тогда только услышал и запомнил, но не придал им значения. — Знаете, Чарльз, — сказал он мне, — это приятная перемена, когда всю жизнь кто-то смотрит за тобой и вдруг появляется человек за кем тебе самому нужно смотреть. Только, разумеется, это должен быть совсем уж пропащий человек, если он нуждается в моем присмотре.

Перед отъездом я имел возможность несколько упорядочить его денежные дела. Все это время он существовал, залезая в долги и потом испрашивая телеграфно у лондонских поверенных какие-то случайные суммы. Я повидал управляющего местным отделением банка и условился, что он будет получать поступающее Себастьяну из Лондона месячное содержание и выплачивать

ему еженедельно определенную сумму на карманные расходы, оставляя какой-то резерв на непредвиденные случаи. Эти резервные деньги могли быть вручены только лично Себастьяну и только когда управляющий банком удостоверится, что им назначено разумное применение. Себастьян с готовностью на это согласился.

— Иначе, когда я напьюсь, Курт даст мне подписать чек на всю сумму и удерет и непременно попадет в беду, — сказал Себастьян.

Я проводил его из лазарета домой. Сидя в своем плетеном кресле, он казался слабее и беспомощнее, чем на больничной койке. Они сидели друг против друга, два больных человека и патефон посредине.

— Давно пора было вернуться, — сказал Курт. — Ты мне нужен.

— Неужели, Курт?

— Я шчитаю, да. Не так-то приятно шидеть тут больному в одиночку. Этот бой очень ленив, то и дело куда-то пропадает, когда он мне нужен. Один раж вообще ночевать не пришел, и некому было подать мне утром кофе. Не так-то приятно, когда у тебя вшя нога в гное. Иногда я даже шплю плохо. В другой раз вожьму вот и удеру куда-нибудь, где жа мною будут лучше шмотреть. — Он

хлопнул в ладоши, но слуга не появился. — Вот видишь? — сказал он.

— Что тебе надо?

— Шигареты. У меня в рюкзаке под кроватью. Себастьян стал с трудом подниматься с кресла.

— Я достану, — сказал я. — Которая его кровать?

— Нет, это моя обязанность, — ответил Себастьян.

— Да, — сказал Курт, — я шчитаю, это Шебаштьяна обяжанность.

Так я оставил его вместе с его другом в маленьком домике за глинобитной стеной в дальнем конце извилистого переулка. Больше я для Себастьяна ничего не мог сделать.

Я предполагал вернуться прямо в Париж, но теперь устройство денежных дел Себастьяна потребовало, чтобы я поехали в Лондон и повидался с Брайдсхедом. Я решил ехать морем, сел в Танжере на пароход и в начале июня был дома.

— Полагаете ли вы, что отношения моего брата с этим немцем носят порочный характер? — спросил меня Брайдсхед.

— Ни в коем случае. Просто двое бездомных под одной крышей.

— Вы говорите, он преступник?

— Я сказал „преступный тип“. Содержался в военной тюрьме и с позором уволен с военной службы.

— И, по мнению доктора, Себастьян убивает себя тем, что пьет?

— Ослабляет свой организм. У него нет ни белой горячки, ни цирроза.

— И он в здравом уме?

— Безусловно. Он нашел себе товарища, с которым ему нравится жить, ему приятно о нем заботиться. И место жительства нашел по своему вкусу.

— В таком случае, он должен получать причитающиеся ему деньги, как вы предлагаете. У меня это не вызывает сомнений.

В каком-то смысле с Брайдсхедом было очень просто разговаривать. Ему всегда все было до безумия ясно, и решения его принимались быстро и легко.

— Вам не интересно было бы написать этот дом? — вдруг спросил он. — Один вид с фасада, другой — со стороны парка, потом еще вид главной лестницы и интерьер парадной гостиной? Четыре небольшие картины маслом. Наш отец хочет иметь их в Брайдсхеде на память об этом доме. Я не знаю ни одного живописца. А Джулия

сказала, что вы специализируетесь на архитектурной живописи.

— Да, — сказал я. — Мне это было бы, конечно, очень интересно.

— Вы ведь знаете, его сносят? Наш отец продает его. Здесь собираются построить доходный дом. Название они намерены сохранить — как выяснилось, мы не вправе помешать этому.

— Как грустно.

— Разумеется, я тоже очень сожалею. Вы находите его ценным архитектурным произведением?

— Это один из красивейших особняков, какие я видел. Это несомненно.

— А я этого не чувствую. Мне он всегда представлялся довольно безобразным. Возможно, ваши картины покажут мне его с другой стороны.

Это был мой первый заказ; я должен был работать наперегонки со временем, так как подрядчики дожидались только подписания последних бумаг, чтобы приступить к сносу. Несмотря на это — или, быть может, именно поэтому, ибо мой главный порок в том, что я слишком долго не могу поставить точку и оторваться от уже законченного полотна, — эти четыре картины принадлежат к числу моих самых любимых, и их

успех как у публики, так и у меня самого положил начало всей моей дальнейшей карьере.

Я начал с парадной гостиной, так как им не терпелось вывезти мебель, стоявшую там со дня постройки дома. Это была длинная симметричная комната в изысканном адамовском стиле с двумя великолепными окнами в нишах, выходящими на Грин-парк. В тот час, когда я приступил к работе, заливавший комнату свет заходящего солнца был пронизан нежно-зелеными отблесками свежей листвы за окном.

Я в карандаше разметил перспективу и аккуратно нанес все детали. Я медлил приниматься за краски, как медлит ныряльщик у самой воды: но вот я погрузился в божественную стихию, ушел с головой и испытал восторг и восхитительную легкость. Обычно я писал маслом медленно и тщательно — в тот день, и весь следующий день, и день, следующий за этим, я работал очень быстро. Действия мои были безошибочны. По окончании каждого куска я останавливался, трепеща, не решаясь начать следующий, точно игрок из страха, как бы удача вдруг не изменила и весь выигрыш не исчез без следа. Пятно за пятном, минута за минутой вещь оживала. Я не испытывал трудностей; прихотливая многоплановость света и

цвета обернулась гармоническим единством; нужный оттенок отыскивался на моей палитре именно там, куда я за ним тянулся; каждый завершенный мазок кисти, казалось, был на этом месте от века.

— Можно мне побыть тут и посмотреть? Я обернулся и увидел Корделию.

— Можно, — ответил я, — только не разговаривайте. — И сразу забыл о ней, не прерывая больше работы, покуда померкший свет солнца не принудил меня положить кисти.

— Замечательно, должно быть, уметь такое.

А я не помнил, что она здесь.

— Да.

Я все еще не мог оторваться от полотна, хотя солнце село монохромные сумерки заливали комнату. Я снял картина с мольберта, поднес к окну, потом снова поставил и подсветил какую-то тень. И вдруг, ощутив бесконечную усталость в мозгу, в глазах, в спине и в руке, все отложил и повернулся к Корделии.

Ей было уже пятнадцать лет, и она очень вытянулась за эти полтора года. Она не обещала стать, как Джулия, красавицей Кватроченто, в ее лице уже теперь проглядывали брайдсхедовские черты — чуть длинноватый нос, чуть выступающие

скулы. Она была в трауре по матери.

— Уф-ф, устал, — сказал я.

— Еще бы. Она готова?

— Практически. Завтра утром еще раз по ней пройдусь.

— А вы знаете, что уже давно время ужинать? В доме нет никого, кто бы мог хоть что-нибудь приготовить. Я только сегодня приехала и не предполагала, что здесь уже все в таком запустении. Вам очень не хочется повести меня куда-нибудь поужинать?

Мы вышли с заднего подъезда и в сумерках пошли через парк к „Ритцу“.

— Вы виделись с Себастьяном? Он и теперь не хочет вернуться домой?

Я и не предполагал, что она так много понимает, и сказал ей об этом.

— Видите ли, я люблю его больше всех, — ответила она. — Грустно как с Марчерсом, правда? А вы знаете, что на его месте хотят построить доходный дом и Рекс собирался снять, как он выражался, „особняк“ на крыше? Правда, на него похоже? Бедная Джулия. Это было для нее уж слишком. Он ничего не понял, он думал, ей будет приятно сохранить связь со своим старым домом. Быстро все как-то кончилось, правда?

Оказывается, папа давно в страшных долгах. Продажа Марчерса дала ему возможность уладить свои дела, и, кроме того, это еще принесет бог знает сколько экономии на ренте. Но все-таки, по-моему, жаль его сносить. А Джулия говорит, пусть лучше сносят, чем там поселится кто-нибудь чужой.

— А что будет с вами?

— Да, действительно это вопрос. Имеется множество различных предложений. Тетя Фанни Роскоммон хочет, чтобы я жила у нее. Потом Рекс и Джулия поговаривают о том, чтобы занять половину Брайдсхеда и жить там. Папа назад не вернется. Мы думали, может быть, он захочет, но нет. А часовню в Брайдсхеде епископ и Брайди закрыли; реквием по маме был там последней службой. Когда ее похоронили, священник вернулся — я была там одна, он, я думаю, меня не заметил, — снял алтарную плиту и положил к себе в сумку; потом сжег куски ваты со святым мирром и выбросил пепел за порог, вылил святую воду из чаши, задул светильник в алтаре и оставил дарохранительницу распахнутой настежь и пустую, словно теперь всегда будет страстная пятница. Для вас это все, наверное, одни слова, бедный агностик Чарльз?

Я подождала там, покуда он уйдет, и тогда вдруг оказалось, что никакой часовни больше нет, а есть просто очень странно убранная комната. Не могу передать, как это было. Вы никогда не были на Tenebrae?[32]

— Нет.

— Жаль. Если б были, вы бы поняли, что чувствовали евреи, когда разрушили их храм. „Quomodo seclet sola civitas…“[33]. Красивый распев. Надо бы вам сходить хоть один раз послушать.

— Все еще пытаетесь обратить меня, Корделия?

— Нет-нет. С этим тоже покончено. А знаете, что папа сказал, когда стал католиком? Мама мне рассказывала. Он ей сказал: „Вы возвратили мой род к вере наших предков“. Слишком выспренне, правда? Каждому свое. Ну да все равно наша семья не выказала особого постоянства, ведь верно? Он сам отошел от веры, и Себастьян отошел, и Джулия. Только, знаете, бог не даст им уйти совсем. Помните рассказ, который читала нам мама в тот вечер, когда Себастьян впервые

---

[32] Примечания: 32

Католическая служба в страстной четверг, пятницу и субботу.

[33] Примечания: 33

„Как одиноко спит город“ (лат.) — первый стих из библейского „Плача Иеремии“.

напился, — и в тот, другой, страшный вечер? Патер Браун сказал примерно так: „Я изловил его — вора — с помощью скрытого крючка и невидимой лесы, которая достаточно длинна, чтобы он мог зайти на край света, но все равно притянет его назад, стоит только дернуть за веревочку“.

Мы почти не упоминали о ее матери. Все время, пока шел этот разговор, Корделия с аппетитом ела. Потом она спросила:

— Вы видели в „Таймсе“ стихотворение сэра Адриана Порсона? Удивительно, он знал ее лучше всех — ведь он всю жизнь ее любил — и, однако же, кажется, будто это вовсе и не о ней написано. Из нас всех у меня были с нею самые хорошие отношения, но и я, наверное, никогда не любила ее по настоящему. Так, как она хотела и как заслуживала. И это странно, потому что по натуре я очень любящая.

— Я никуда не был близко знаком с вашей матерью.

— Вы ее не любили. Мне иногда кажется, что, когда хотят ненавидеть бога, ненавидят нашу маму.

— Я вас не понял, Корделия.

— Ну, видите ли, она была мученица, но не святая. Святую ведь нельзя ненавидеть, верно? Тем

более бога. Вот и выходит, когда хотят ненавидеть бога и его святых праведников, ищут кого-нибудь похожего на самих себя, представляют себе, будто это бог, и ненавидят. Вы, наверно, думаете, что все это чушь?

— Я уже один раз слышал нечто подобное от совсем другого человека.

— О, я говорю вполне серьезно. Я об этом долго думала. По моему, это многое объясняет в судьбе бедной мамы.

И это странное дитя с утроенной энергией вновь набросилось на свой ужин.

— Первый раз ужинаю в ресторане одна со знакомым, — сказала она. И позднее:

— Когда Джулия узнала, что Марчерс продают, она сказала „Бедняжка Корделия. Значит, все-таки не будет ей там первого бала“. Это у нас с ней была любимая тема — мой первый бал в Марчерсе. И еще — как я буду подружкой у нее на свадьбе. Из этого тоже ничего не получилось. Когда давали бал для Джулии, мне разрешили побыть внизу один час, я сидела в уголке с тетей Фанни, и она мне сказала: „Через шесть лет все это достанется и тебе…“ Я надеюсь, что у меня окажется призвание.

— Что это значит?

— Это значит, я смогу быть монахиней. Если вы не призваны, ничего все равно не получится, как бы вы ни хотели этого, а если призваны, вам никуда не деться, хотите или нет. Брайди думает, что призван, но ошибается. Раньше я думала, что Себастьян призван, но не хочет, а теперь не знаю. Все вдруг так резко переменилось.

Но я не мог слышать этих монастырских разговоров. В тот день я держал в руке вдруг ожившую кисть — я вкусил от великого, сочного пирога творчества. Я был в тот вечер человеком Ренессанса — Ренессанса по Роберту Браунингу. Я бродил по улицам Рима в генуэзском бархате и видел звезды сквозь трубу Галилея, — и я с презрением отвергал нищенствующих братьев, их пыльные фолианты и запавшие, завистливые глаза, их заумные схоластические речи.

— Вы полюбите, — сказал я.

— Упаси меня бог. Как вы думаете, можно мне съесть еще одну такую чудную меренгу?

Книга третья
СТОИТ ТОЛЬКО ДЕРНУТЬ ЗА ВЕРЕВОЧКУ

Глава первая

Моя тема — память, этот крылатый призрак, взлетевший надо мною однажды пасмурным военным утром.

Эти воспоминания, которые и есть моя жизнь — ибо ничто в сущности, не принадлежит нам, кроме прошлого, — были со мной всегда. Подобно голубям на площади Святого Марка, они были повсюду, под ногами, в одиночку, парочками, воркующими стайками, кивая, расхаживая, мигая, топорща шелковые перья на шее, опускаясь, когда я стоял совсем тихо прямо мне на плечо и даже склевывая раскрошенное печенье у меня с губ, покуда гулкий пушечный выстрел вдруг не возвестил полдень, и вот уже в трепете и блеске крыл мостовая опустела, а небо над головой закрыла темная крикливая птичья туча. Так было и в то военное утро.

Целых десять мертвых лет после того вечера с Корделией меня влекло вперед по дороге, внешне изобилующей событиями и переменами, но за весь этот срок я ни разу — кроме, пожалуй, отдельных мгновений за мольбертом, да и те случались все реже по мере того, как проходило

время, — ни разу не ожил до конца, как я был жив, когда дружил с Себастьяном. Я полагал, что это юность, а не сама жизнь уходит от меня. Меня поддерживала работа, ибо я избрал то, что мне хорошо удавалось, в чем я постоянно совершенствовался и от чего получал удовлетворение; к тому же как-то так вышло, что этим видом деятельности, кроме меня, в те годы никто не занимался. Я стал архитектурным живописцем.

Больше даже, чем произведения великих архитекторов, нравились здания, которые безмолвно разрастались от столетия к столетию, улавливая и сохраняя все лучшее в каждом поколении и предоставляя времени обуздывать гордыню художника и вульгарность обывателя и подправлять корявости тупого ремесленника. Англия изобиловала такими зданиями, последнее десятилетие своего величия англичане словно очнулись и осознали то, что раньше воспринималось ими как нечто само собой разумеющееся, и отдали дань собственным достижениям уже на пороге их гибели. Отсюда мое процветание, значительно превзошедшее мои заслуги; в моих работах не было особых достоинств, кроме постоянно совершенствующейся техники, любви к предмету и независимости от ходячих мнений.

Финансовый кризис тех лет, обрекший на бездеятельность многих живописцев, только способствовал моему успеху, что само по себе было признаком заката. Когда водные источники пересыхают, жаждущие гоняются за миражами. После первой выставки меня стали приглашать во все концы страны, для того чтобы писать портреты с домов, которым предстояло быть покинутыми и обесцененными, самый мой приезд нередко всего на несколько шагов опережал появление аукционера, служа как бы первым вестником смертного приговора.

Я опубликовал три роскошных альбома — „Загородные усадьбы“, „Английские дома“ и „Деревенская и провинциальная архитектура“, — и каждый разошелся в тысяче экземпляров по цене пять гиней. Заказчики мои почти всегда оставались довольны, так как между нами не было расхождений во взглядах; и они и я стремились к одному и тому же. Но с годами я начал с горечью ощущать утрату того, что когда-то познал в парадной гостиной Марчмейн-хауса и потом еще два или три раза, — некоего напряжения чувств, полной отрешенности и веры в то, что не рукою единой вершится дело, — иначе говоря, утрату вдохновенья.

В поисках этого меркнущего света я, как в классической древности, нагруженный парафернáлиями своего ремесла, отправился на два года за границу, дабы освежиться среди чужого искусства. Поехал я не в Европу, ее сокровища были в надежной сохранности, в слишком надежной сохранности, запеленутые и перепеленутые заботами знатоков, сокрытые от взглядов привычным благоговением. Европа могла подождать. Для Европы еще будет время, думал я, ведь не за горами те дни, когда я буду нуждаться в человеке, который бы устанавливал мой мольберт и носил за мною краски; когда я не рискну удалиться больше чем на час ходьбы от комфортабельного отеля; когда я буду нуждаться в прохладном ветерке и мягком солнечном свете; и вот тогда я обращу мои старые глаза к Италии и Германии. Теперь же, пока у меня есть силы, я отправлюсь в дикие страны, где человек покинул свой пост и джунгли подбираются обратно к своим былым твердыням.

И вот я выехал в путь и два года путешествовал по Мексике и Центральной Америке — в мире, который располагал всем, в чем я нуждался, и должен был, после холлов и парков, послужить для меня живительной переменой и исцелить

мой душевный разлад. Я искал утраченное вдохновение среди разграбленных дворцов, и заросших бурьяном монастырей, и заброшенных храмов, где спящие вампиры свисали под куполами наподобие диковинных стручков и только одни муравьи неустанно трудились, подтачивая резные скамьи; среди городов, к которым не вели никакие дороги, и гробниц, под чьими сводами пряталось от дождей одинокое, истерзанное малярией индейское семейство. Там, с большими трудами преодолевая болезни, а порой и опасности, я сделал первые рисунки для „Латинской Америки“. Каждые несколько недель я выбирался на отдых в зону коммерции и туризма, отдыхал, устраивал студию, переносил на полотна свои зарисовки, аккуратно их запаковывал и отправлял нью-йоркскому агенту, а сам со своей малочисленной свитой снова удалялся в пустыню.

Я не очень заботился о поддержании связи с Англией. Куда мне лучше поехать, я узнавал на месте и определенного, заранее составленного маршрута не имел, так что часть адресованных мне писем вообще меня не достигла, а остальные скапливались где-нибудь, покуда их не оказывалось больше, чем можно было прочесть в один присест. Я прятал пачку писем в мешок

и потом читал на досуге, когда вздумается, при этом обычно в обстановке, настолько им не соответствующей — раскачиваясь в гамаке под сеткой при свете „летучей мыши“; спускаясь в лодке вниз по реке, пока слуги на корме лениво поводят веслом, не давая лодке уткнуться носом в берег, а темные воды катятся вперед вместе с нами под зеленой сенью огромных деревьев и обезьяны верещат, освещенные солнцем среди цветов на крыше джунглей; или на веранде гостеприимного ранчо, под бряканье кусочков льда в стакане и игральных костей на столе, любуясь, как цепной оцелот резвится у своей конуры перед домом, — что они казались голосами, почти бессмысленными в своей отдаленности; их содержание проходило через меня, не сбавляя следов, подобно откровенностям случайных попутчиков, от которых никуда не денешься в американских железнодорожных вагонах.

Но несмотря на такую изоляцию и на это продолжительное пребывание в чужих краях, ничто не изменилось, по-прежнему это был не весь я, а только одна сторона моей личности. Через два года я расстался с экзотическим существованием, снял тропический наряд и, как было предусмотрено, вернулся в Нью-Йорк. Улов мой был немал

— одиннадцать полотен и больше пятидесяти зарисовок, — и когда я в конце концов выставил их в Лондоне, художественные критики, многие из которых прежде отзывались о моем успехе не без снисходительности, признали теперь в моей работе новые, более глубокие ноты. „Мистер Райдер, — писал самый уважаемый среди них, — взыграл, словно молодая форель, приняв подкожную инъекцию иной культуры, и раскрыл нам новые могучие грани в перспективе своих возможностей… Нацелив откровенно-традиционную батарею своей элегантности и эрудиции на мальстрем варварства, мистер Райдер наконец нашел себя как художник“.

Лестные слова, но как далеки они были от истины! Моя жена, приехавшая в Нью-Йорк для встречи со мною, увидев плоды двух лет нашей раздельной жизни, развешанные в конторе моего агента, выразила их сущность удачнее. „Конечно, — сказала она, — я понимаю, это совершенно блестящие работы и, право, даже красивые на свой зловещий лад, но как-то чувствуется, что это не совсем ты“.

В Европе мою жену нередко принимали за американку из-за ее броской и элегантной манеры одеваться и своеобразно гигиенического харак-

тера ее красоты; в Америке она обрела чисто английскую кротость и сдержанность. Она приехала в Нью-Йорк на два дня раньше меня и была на пристани, когда наш пароход бросил якорь.

— Ах, как долго тебя не было, — нежно сказала она, когда мы обнялись.

Она не принимала участия в моей экспедиции; знакомым она объясняла, что там неподходящий климат и что дома у нее сын. А теперь еще и дочь, заметила она скромно, и мне вспомнилось, что действительно об этом шла речь перед моим отъездом как о дополнительном соображении, почему ей не следует ехать. Было об этом что-то и в ее письмах.

— По-моему, ты не читал моих писем, — мягко сказала она поздно вечером, когда после шумного ужина в ресторане и нескольких часов в кабаре мы наконец остались одни у себя в номере.

— Много писем не дошло. Я отлично помню, как ты писала, что нарциссы в саду — просто мечта, что новая няня — сокровище, а кровать с пологом начала прошлого века — находка. Но положительно не помню, чтобы ты мне писала, что назвала своего младенца Каролиной. В честь чего это?

— В честь Чарльза, разумеется.

— А-а.

— Я выбрала в крестные матери Берту Ван Холт. По-моему, в крестные матери она очень подходит. Как ты думаешь, что она подарила?

— Берта Ван Холт известная скупердяйка. Что же?

— Сувенир за пятнадцать шиллингов в виде книжечки. Теперь, когда Джонджон уже не один…

— Кто?

— Твой сын, милый. Или ты его тоже забыл?

— Какого черта, — спросил я, — ты его так называешь?

— Это он сам придумал себе такое имя. Разве не мило? Теперь, когда Джонджон уже не один, я думаю, нам пока больше не надо, как ты считаешь?

— Как тебе будет угодно.

— Джонджон так часто о тебе говорит. Он каждый вечер молится о твоем благополучном возвращении.

Она говорила все это и раздевалась, стараясь казаться непринужденной; потом, повернувшись ко мне голой спиной, села за туалетный столик, расчесала гребнем волосы и, глядя на свое отражение в зеркале, спросила:

— Сделать мне лицо бай-бай?

Это ее выражение я не любил. Оно означало, следует ли ей снять с лица всю косметику, обмазаться жиром и надеть на волосы сетку.

— Нет, — сказал я. — Пока не надо.

Она сразу поняла, что от нее требовалось. Для этого у нее была тоже своя аккуратная, гигиеническая манера; но в улыбке, с какой она меня встретила, было и облегчение и торжество. Потом мы лежали врозь на своих кроватях и курили; между нами было расстояние в два шага. Я посмотрел на часы — шел пятый час ночи, ни ее, ни меня даже не клонило в сон, ибо в воздухе этого города присутствовал невроз, который тамошние жители принимают за энергию.

— Чарльз, по-моему, ты нисколько не переменился.

— Да, к сожалению.

— Ты хотел бы перемениться?

— Только в этом и проявляется жизнь.

— Но ведь ты мог бы так перемениться, что разлюбил бы меня.

— Да, мог бы.

— Чарльз, ты не разлюбил меня?

— Ты ведь сама сказала, что я не переменился.

— Теперь мне начинает казаться, что я ошиб-

лась. Я вот не переменилась.

— Да, — сказал я, — вижу.

— Тебе страшно было сегодня, когда мы встретились?

— Нисколько.

— Ты не думал, а вдруг я теперь влюблена в кого-нибудь другого?

— Нет, не думал. Ты влюблена в другого?

— Ты же знаешь, что нет. А ты?

— Нет. Я не влюблен.

Мою жену удовлетворил этот ответ. Она вышла за меня замуж шесть лет назад, когда состоялась моя первая выставка, и с тех пор немало сделала в наших общих интересах. Люди говорили, что она создала меня, но сама она признавала за собой только ту заслугу, что обеспечила мне благоприятную обстановку; она твердо верила в мой талант и „артистический темперамент“, а также в ту истину, что сделанное тайно как бы не сделано вовсе.

Немного погодя она спросила:

— Тебе очень не терпится попасть домой? (Отец подарил мне к свадьбе деньги на покупку дома, и я купил старый дом священника в тех местах, где жили родители моей жены.) Я приготовила тебе сюрприз.

— Да?

— Переделала старый амбар в студию, чтобы тебе не мешали дети или если кто к нам приедет погостить. Пригласила Эмдена для этой работы. Все считают, что получилось очень удачно. Была даже статья в „Сельской жизни“, я привезла тебе посмотреть.

Она показала мне статью: „…удачный образец хороших манер в архитектуре… Сэр Джозеф Эмден тактично приспособил традиционный материал к новым требованиям…“ Текст сопровождался фотографиями. Земляной пол теперь покрывали широкие дубовые доски, в северной стене было пробито высокое окно в каменном переплете, с нишей, а высокий балочный потолок, который раньше терялся в полусумраке, был залит ярким светом, и пространства между балками заштукатурены и выкрашены белоснежной краской; стало похоже на деревенский танцзал. Мне припомнился прежний запах амбара, теперь, должно быть, исчезнувший.

— Мне нравился этот амбар, — вздохнул я.

— Но зато ты сможешь здесь работать, верно?

— Я работал на корточках в облаке гнуса, — ответил я, — под солнечными лучами, от которых обугливалась бумага, и теперь могу работать хоть

на крыше омнибуса. Я думаю, священник будет рад арендовать это помещение для виста.

— Тебя ждет уйма работы. Я обещала леди Энкоредж, что ты напишешь их дом, как только вернешься. Его ведь тоже будут сносить — построят внизу магазины, а сверху двухкомнатные квартирки. Как ты думаешь, Чарльз, эта твоя экзотика не отобьет у тебя охоту к таким вещам?

— Что за вздор!

— Видишь ли, то, что ты делал теперь, совсем не такое. Не сердись.

— Просто и этот дом должны поглотить джунгли, только и всего.

— Да, я знаю, милый, как ты к этому относишься. Георгианское общество подняло страшный шум, но ничего нельзя было сделать… Ты получил мое письмо про Боя?

— Не помню. О чем оно? (Бой Мулкастер был ее брат).

— О его помолвке. Теперь это неважно, потому что все отменилось, но папа с мамой были ужасно расстроены. Такая кошмарная девица. В конце концов пришлось дать ей денег.

— Нет, я ничего не знал про Боя.

— Они с Джонджоном теперь страшные друзья. Так трогательно наблюдать их вдвоем. Когда

бы он ни приехал, он первым делом бежит к нам. Входит в дом, ни на кого даже не смотрит и кричит во всю глотку: „Где тут мой приятель Джонджон?“ — а Джонджон кубарем скатывается по лестнице, и они уходят в рощу и там играют часами. Можно подумать, что это ровесники. И знаешь, это Джонджон его первый образумил насчет той девицы, нет, правда, он такой умненький. Видно, он слышал, как мы с мамой разговаривали, и вот, когда Бой приехал, он вдруг говорит: „Дядя Бой не женится на плохой тете и не оставит Джонджона“, — и в тот же день как раз сговорились на двух тысячах фунтов без суда. Джонджон так восхищается Боем и подражает ему совершенно во всем. Это страшно полезно и для того и для другого.

Я отошел к окну и попробовал — в который раз, и все тщетно, — перекрыть отопление; потом выпил воды со льдом и распахнул окно, но вместе с морозным ночным воздухом в комнату ворвалась музыка из соседнего номера — там был включен радиоприемник. Я закрыл окно и пошел к жене.

Потом она снова заговорила, но уже сквозь сон: „…Сад чудо как разросся… Буксовые кусты — помнишь, ты посадил? — за прошлый год поднялись на пять дюймов… Я пригласила людей из

Лондона привести в порядок теннисный корт… У нас первоклассный повар…“

К тому времени, когда город внизу под нами начал пробуждаться, мы наконец уснули, но ненадолго: раздался телефонный звонок, и гермафродически-веселый голос в трубке произнес: „Отель „Савой-Карлтон“. Доброе утро. Семь часов сорок пять минут“.

— Я, знаете ли, не просил, чтобы меня будили.

— Как вы сказали?

— Ладно. Все равно.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Когда я брился, моя жена, сидя в ванне, сказала:

— Совсем как в прежние времена. Я теперь совершенно успокоилась, Чарльз.

— Прекрасно.

— Я ужасно боялась, что за два года все переменится. А теперь вижу, мы можем опять начать с того, на чем остановились.

— Когда? — спросил я. — На чем? Когда мы на чем остановились?

— На том, что ты уехал, разумеется.

— А может быть, на чем-то еще? Немного раньше?

— Ах, Чарльз, это древняя история. Все это было

пустое. Одни пустяки. Давно кончено и забыто.

— Я просто хотел уточнить, — сказал я. — У нас все, как было в день моего отъезда, так я понял?

И мы начали новый день в точности с того, на чем кончили два года назад: моя жена была в слезах.

Английская сдержанность и кротость моей жены, ее ослепительно-белые ровные зубки, отточенные розовые ногти и облик школьницы, склонной к невинным шалостям, и туалеты школьницы с драгоценностями в современном вкусе, которые изготовляются за огромные деньги с таким расчетом, чтобы издалека казаться обыкновенным ширпотребом, и всех награждающая улыбка, и почтительное отношение ко мне, и горячая забота о моих интересах, и ее любящее материнское сердце, побуждающее ее каждый день слать домой телеграммы, — словом, все ее своеобразное очарование создало ей в Америке множество друзей, и наша каюта в день отплытия была забита подарками в целлофановых пакетах — цветами, фруктами, книгами, игрушками для наших детей — от людей, с которыми она была знакома не более недели. Стюарды, как и медицинские сестры в больницах, судят о важности своих пассажиров по количеству и ценности

подобных подношений, и потому мы начали плаванье, окруженные глубочайшим почтением.

Первая мысль моей жены по прибытии на борт была о списке пассажиров.

— Сколько знакомых! — сказала она. — Нам предстоит чудесное плаванье. Давай сегодня вечером пригласим гостей. Сходни еще не убрали, когда она засела за телефон.

— Джулия? Это Селия — Селия Райдер. Чудесно, что ты оказалась на этом же пароходе. Что ты поделываешь? Приходи к нам сегодня вечером на коктейль и все расскажешь.

— Какая это Джулия?

— Моттрем. Не видела ее тысячу лет.

Я тоже; последний раз мы встретились у меня на свадьбе, а поговорить у нас не было случая со времени вернисажа моей первой выставки, на которой повешенные в ряд четыре полотна с изображением Марчмейн-хауса, одолженные Брайдсхедом, привлекали всеобщее внимание. Эти картины были моей последней связью с Флайтами; наши жизни, в течение почти двух лет такие близкие, разошлись. Себастьян, я знал, по-прежнему находился за границей; Рекс и Джулия, как я слышал, были несчастливы друг с другом. Рекс вовсе не сделал такой блистательной

карьеры, как ему предсказывали; он оставался на периферии правящего круга фигурой видной, но чуточку подозрительной. Живя среди одиозно богатых, он в своих выступлениях выражал ультрарадикальные взгляды. Имя Моттремов иногда звучало в разговорах; их лица нередко мелькали со страниц „Тэтлера“, когда, поджидая кого-нибудь, я рассеянно перелистывал журнал, но мы с ними больше не пересекались; как это бывает в Англии и только в Англии, мы оказались в двух различных мирах, в двух разных планетарных системах личных знакомств; для этого явления можно найти, насколько я понимаю, прекрасную метафору из области физики, в том, как частицы энергии группируются и перегруппировываются в отдельные магнетические системы; метафора эта сама просится на бумагу, если только вы можете со знанием дела трактовать о соответствующих явлениях; я же способен сказать только, что в Англии имеется бесчисленное множество подобных тесных кружков, и можно жить, как жили мы с Джулией, на соседних улицах, видеть по временам в отдалении один загородный горизонт; можно симпатизировать друг другу, вчуже интересоваться даже, как сложились наши жизни, и сожалеть, что судьба

нас развела, отлично зная, что стоит только в одно прекрасное утро снять трубку телефона, и твой голос прозвучит у изголовья другого, как бы распахнув двери и войдя вместе с солнцем и апельсиновым соком, и, однако же, так никогда и не сделать этого шага, покоряясь центростремительной силе наших отдельных мирков и холоду космического пространства между ними.

Моя жена, поджав ноги, сидела на валике дивана среди целлофановых оберток и шелковых лент и энергично названивала по телефону, подбираясь к концу пассажирского списка.„…Да, да, конечно, приведите его, я слышала, Ты прелесть… Да, представьте, и Чарльз тоже, он наконец возвратился ко мне из джунглей, вот чудесно, да?.. Я так рада была увидеть ваше имя в списке пассажиров! Теперь наше плаванье… дорогая, мы тоже жили в „Савой-Карлтоне“, как мы могли не встретиться?..“ Время от времени она оборачивалась ко мне и говорила:

— Я должна убедиться, что ты действительно здесь. Никак не привыкну.

Я вышел на палубу и остановился в одной из тех больших стеклянных коробок, откуда пассажиры смотрели на медленно уходящий берег. „Столько знакомых“, — сказала моя жена. Для меня это бы-

ли совершенно чуждые люди; волнение разлуки еще не улеглось; некоторые из пассажиров, до последней минуты пившие с теми, кто пришел их провожать, были в приподнятых чувствах; другие уже прикидывали, где бы расположиться на палубе со своим шезлонгом; вовсю играл никому не слышный оркестр — люди суетились, как муравьи.

Я ушел и стал бродить по пароходным салонам, которые были велики, но отнюдь не великолепны, напоминая до абсурда увеличенные коридоры железнодорожных вагонов. Я прошел в высокие бронзовые двери, на которых резвились двухмерные ассирийские чудовища, под ногами у меня расстилался ковер цвета промокательной бумаги; расписанные стенные панели тоже напоминали промокательную бумагу — „детские“ рисунки в грязных, плоских тонах; а между стен лежали ярды и ярды светлого паркета, которого не касался инструмент паркетчика, — лесины, незаметно стыкованные одна с другой, гнутые под углом, обработанные паром и давлением и безукоризненно отполированные; здесь и там поверх ковра, похожего на промокательную бумагу, стояли кресла со столиками, сделанные словно по чертежам сантехников, — большие

мягкие кубы с квадратными углублениями вместо сидений, обитые все той же промокательной бумагой; рассеянное освещение исходило из множества разбросанных отверстий — ровный свет без тени; и все гудело от вращения бесчисленных вентиляторов и вибрировало от работы мощных машин под полом.

„Ну, вот я и вернулся, — думал я, — из своих джунглей, от своих руин. Вернулся сюда, где богатство успело лишиться великолепия и сила — достоинства. Quomodo sedet sola civitas (я уже слышал этот великий плач, о котором когда-то в парадной гостиной Марчмейн-хауса говорила мне Корделия, слышал примерно год назад в Гватемале в исполнении негритянской капеллы)“.

Подошел стюард.

— Не угодно ли чего-нибудь, сэр?

— Виски с содовой без льда.

— Прошу прощения, сэр, у нас вся содовая вода со льдом.

— А простая вода тоже?

— О да, сэр, тоже.

— Ну ладно, неважно.

Озадаченный, он засеменил, прочь, неслышно ступая в неумолчном гуле.

— Чарльз.

Я оглянулся.

В одном из мягких кубов, обтянутых промокательной бумагой, сидела Джулия, тихо сложив на коленях руки, — я прошел мимо, даже не заметив ее.

— Я знала, что вы здесь. Мне звонила Селия. Как хорошо.

— Что вы тут делаете?

Она скупым красноречивым жестом развела на коленях ладони.

— Жду. Моя горничная распаковывает вещи. Она постоянно чем-нибудь недовольна с тех пор, как мы выехали из Англии. Сейчас ей не нравится моя каюта. Почему, сама не знаю. Мне кажется, там очень мило.

Вернулся стюард с виски и двумя кувшинчиками — в одном была вода со льдом, в другом кипяток; я смешал их до нужной температуры. Он посмотрел, как я это делаю, и сказал:

— Теперь буду знать, как вы любите, сэр.

У большинства пассажиров были какие-нибудь причуды; ему платили жалованье за то, чтобы он им угождал. Джулия заказала чашку горячего шоколада. Я сел в соседний куб.

— Я теперь совсем не вижу вас, — сказала она. — Я, кажется, не вижу никого из тех, кого

люблю. Почему, сама не знаю.

Но говорила она так, как будто со времени нашей последней встречи прошли недели, а не годы; как будто к тому же перед тем нас с ней связывала близкая дружба. Это было прямо противоположно тому, что происходит обычно при подобных встречах — когда оказывается, что время успело возвести собственную оборонительную линию, замаскировало уязвимые места и заминировало все промежуточное пространство, кроме двух-трех самых проторенных проходов, так что, как правило, мы только и можем что делать друг другу знаки через ряды проволочного заграждения. А тут мы с ней, никогда прежде не бывшие друзьями, встретились так, как будто между нами не прерывалась многолетняя дружба.

— Что вы делали в Америке?

Она медленно подняла на меня от чашки с шоколадом свои прекрасные серьезные глаза и ответила:

— А вы не знаете? Я вам расскажу когда-нибудь. Понимаете, я оказалась в дураках. Вообразила, что люблю одного человека, а вышло все совсем не так.

Память моя перелетела на десять лет назад, в тот вечер в Брайдсхеде, когда это прелестное тон-

коногое девятнадцатилетнее существо, словно получившее разрешение на час спуститься из детской и оскорбленное недостатком внимания взрослых, сказало с вызовом: „Я, например, тоже причиняю семье беспокойство“; и я тогда еще подумал, хотя и сам, как мне теперь казалось, едва вылез из коротеньких штанишек: „До чего эти молоденькие девушки важничают своими романами“.

Теперь все было иначе; в том, как она это сказала, было только смирение и дружеская откровенность.

Мне захотелось ответить ей доверием на доверие, показать, что я принимаю ее дружбу, но в моей ровной, многотрудной жизни последних лет не было ничего, чем бы я мог с нею поделиться. Вместо этого я стал рассказывать о том, как жил в джунглях, о забавных типах, которые мне встречались, и о местах, которые я посетил, но в этой новой атмосфере старой дружбы рассказ мой прозвучал неуместно, быстро иссяк и оборвался.

— Я очень хочу увидеть картины, — сказала она.

— Селия предложила, чтобы я распаковал несколько и развесил по стенам каюты к приходу гостей. Я не мог.

— Ну да… а Селия по-прежнему очаровательна? Я всегда считала ее самой хорошенькой из всех наших сверстниц.

— Она не изменилась.

— Зато вы изменились, Чарльз. Такой тощий и хмурый; совсем не похож на того милого мальчика, которого Себастьян привез с собой когда-то в Брайдсхед. И как-то тверже стали.

— А вы мягче.

— Да, наверно… И я теперь стала терпеливее.

Ей не было еще и тридцати, она только приближалась к зениту своей прелести, с лихвой исполнив все, что обещала когда-то ее расцветающая красота. Модная тонконогость отошла в прошлое; голова, которую я привык относить к итальянскому Кватроченто, казавшаяся раньше словно чужой на ее угловатых плечах, стала теперь органичной частью ее облика, утратив свое флорентийское своеобразие и связь с живописью и искусством, так что бесполезно было бы пытаться расчленить и перечислить по пунктам особенности ее красоты, которая была ее сущностью и поддавалась познанию только в ней самой, с ее согласия, через любовь, которую я должен был вскоре к ней ощутить.

Время произвело в ней и еще одну перемену

— не для нее была теперь самодовольная, лукавая улыбка Джоконды, годы, несшие не только „звон лютни и кифары“, придали ее чертам выражение грусти. Она словно говорила: „Взгляните на меня. Я сделала что могла. Я красива необыкновенной, особенной красотой. Я создана для восторгов. Но что причитается мне самой? Что будет моей наградой?“

Этого в ней не было десять лет назад, и это, в сущности, и было ее наградой — магическая, неизбывная грусть, говорящая прямо сердцу и рождающая в нем немоту, венец ее красоты.

— И грустнее, — сказал я.

— О да, гораздо грустнее.

Когда спустя два часа я вернулся в каюту, моя жена была охвачена кипучей деятельностью.

— Пришлось обо всем позаботиться самой. Как, по-твоему, неплохо?

Нам дали, без приплаты, большой номер-люкс, который из-за его грандиозных размеров почти никогда никто не брал, кроме директоров пароходной компании, так что помощник капитана каждый рейс мог селить там кого-нибудь по своему усмотрению, кого желал особо почтить. (Моя жена обладала специальным талантом завоевывать такие почести: сначала ошеломляла

бедные души своим шиком и моей известностью, а потом, утвердившись на недосягаемой высоте, сразу же переходила на почти заискивающее дружелюбие.) В знак благодарности помощник капитана был включен в число приглашенных, а он в знак благодарности со своей стороны прислал ей ледяного лебедя в натуральную величину, изнутри заполненного черной икрой. Этот роскошный хладный дар возвышался теперь на столе посреди комнаты и медленно таял, роняя с клюва каплю за каплей на серебряное блюдо. Поднесенные ей утром букеты по возможности скрывали стенные панели (ибо эта каюта была точь-в-точь недавно покинутый мною безобразный салон в миниатюре).

— Скорее иди переодеваться. Где ты был все это время?

— Разговаривал с Джулией Моттрем. — Ты с ней знаком? Ах, да, вы ведь дружили с ее алкоголиком-братом.

Боже, как она была ослепительна!

— Она тоже очень высокого мнения о твоей внешности.

— У нее был роман с Боем.

— Не может быть.

— Он так говорил.

— А ты подумала, — спросил я, — как твои гости будут грызть эту икру?

— Знаю. Ледяная, как камень. Но ведь есть все остальное — она открыла блюда со всевозможными глазированными лакомствами. — И потом, гости обычно как-то умудряются все съесть. Помнишь, мы один раз ели креветок ножом для разрезания бумаги?

— Разве?

— Милый, это было в тот вечер, когда ты поставил вопрос ребром.

— Мне помнится, что вопрос ребром поставила ты.

— Ну хорошо, в тот вечер, когда мы обручились. Ты не сказал, как тебе нравятся мои приготовления.

Приготовления, помимо лебедя и цветов, состояли из одного стюарда, уже задвинутого в угол импровизированной винной стойкой, и другого стюарда, с подносом, пользовавшего относительной свободой передвижения.

— Мечта киногероя, — сказал я.

— Кстати о киногероях, — отозвалась моя жена, — именно об этом мне нужно с тобой поговорить.

Она прошла вслед за мной в мою каюту и гово-

рила со мной, пока я переодевался. Ей пришло в голову, что при моем интересе к архитектуре мое истинное призвание — создавать декорации для фильмов, и она пригласила сегодня двух голливудских магнатов, дабы расположить их в мою пользу.

Мы вернулись в гостиную.

— И, пожалуйста, милый, я вижу, ты невзлюбил моего лебедя, но только не говори ничего при помощнике капитана. С его стороны это было очень любезно. И потом, знаешь, если бы ты прочел об этом в описании пира в Венеции шестнадцатого века, ты наверняка сказал бы: вот когда надо было родиться.

— В шестнадцатом веке в Венеции он был бы совсем другой.

— А вот и наш Санта Клаус! А мы как раз стоим и восхищаемся вашим лебедем.

Помощник капитана вошел в каюту и обменялся со мною мощным рукопожатием.

— Дорогая леди Селия, — сказал он, — если вы завтра утром оденетесь во все, что у вас есть с собой самого теплого, и отправитесь вместе со мной на экскурсию по пароходному рефрижератору, я покажу вам целый ноев ковчег таких тварей. Тосты сейчас прибудут. Их пока не подали, чтобы

они не остыли.

— Тосты! — повторила моя жена, словно это превосходило самые утонченные чревоугоднические мечты. — Ты слышишь, Чарльз? Тосты!

Вскоре начали собираться гости; благо им ничто не мешало появиться вовремя.

— Селия, — говорили они, — какая огромная каюта, и какой восхитительный лебедь!

В короткое время наш номер-люкс, хоть и был самым просторным на корабле, оказался тесно набит людьми; и вот уже в лужице, натекшей с ледяного лебедя, стали гасить сигареты.

Помощник капитана произвел сенсацию, как любят моряки, объявив, что ожидается шторм.

— Ну можно ли быть таким жестоким! — льстиво взмолилась моя жена, намекая тем самым, что не только каюта-люкс и черная икра, но и океанские волны зависели от его распоряжений. — Ведь все равно на такие пароходы шторм не влияет, верно?

— Может нас на денек-другой задержать.

— Но укачивать не будет, правда?

— Это уж кого как. Меня, например, всегда укачивает во время шторма, с детских лет.

— Не верю. Он просто хочет нас попугать. Идите все сюда, я вам кое-что покажу.

На столике стояла последняя фотография ее детей.

— Представьте, Чарльз еще не видел Каролину. Вот радость его ожидает!

Моих знакомых среди гостей не было, но примерно треть я знал по фамилии и мог вполне пристойно поддерживать разговор. Одна пожилая дама мне сказала:

— Так вы и есть Чарльз? Мне кажется, я решительно все о вас знаю. Селия столько о вас рассказывала.

„Решительно все? — подумал я. — Решительно все — это довольно много, мадам. Видите ли вы что-нибудь в тех темных закоулках моей души, где тщетно блуждает даже мой собственный взор? Можете ли вы объяснить мне, глубокоуважаемая миссис Стьювесант Оглендер — так, если не ошибаюсь, назвала вас моя жена, — почему в эту самую минуту, разговаривая с вами о моей предстоящей выставке, я все время думаю только о том, когда же придет Джулия? Почему я могу так беседовать с вами, а с ней не могу? Почему я уже выделил ее из всего человечества и себя вместе с нею? Что там свершается в далеких тайниках моей души, о которых вы даже не подозреваете? Что такое творится, миссис Оглендер?“

Но Джулия все не приходила, и голоса двадцати человек в этой тесной комнатке, которая была так велика, что ее никто не брал, звучали, как слитный говор толпы.

И тут я увидел забавную картину. Рыжий господин, которого почему-то никто не знал, одетый отнюдь не так изысканно, как принято в кругу друзей моей жены, вот уже двадцать минут стоял у икры и быстро-быстро, как кролик, ел ложку за ложкой. Наконец он остановился, вытер рот носовым платком и вдруг протянул руку и отер своим платком большую каплю, которая скопилась на носу у ледяного лебедя и вот-вот должна была оторваться и упасть. Проделав это, он оглянулся, чтобы удостовериться, что никто ничего не видел, встретился взглядом со мной и смущенно хихикнул.

— Так и подмывало утереть ему нос, вот не удержался, — пояснил он. — Пари, вы не знаете, сколько выходит капель в минуту. Я знаю. Сосчитал.

— Понятия не имею.

— Отгадайте. Шесть пенсов, если ошибетесь, доллар, если угадаете. Без обмана.

— Три, — сказал я.

— Ишь ты хитрый какой! Тоже небось сосчи-

тали, — ухмыльнулся он, однако платить не стал. — А вот еще угадайте. Я в Англии рожден и вырос, а первый раз плыву через Атлантику.

— Туда, наверно, летели?

— Нет, и не летел.

— Тогда, значит, вы едете вокруг света и плыли через Тихий океан.

— Ну, вы и хитрый же, скажу я вам. А я, между прочим, на этой загадке немало заработал.

— Через какие же города вы ехали? — вежливо осведомился я.

— А, это секрет фирмы. Ну, мне пора. Всего! Ко мне подошла моя жена.

— Чарльз, — сказала она, — познакомься: мистер Крамм из „Интерастрал филмз“.

— Так вы и есть мистер Чарльз Райдер, — сказал мистер Крамм.

— Да.

— Ну-ну. — Он помолчал. Я ждал. — Вот помощник капитана говорит, что нас ждет ухудшение погоды. Ну, что вы на это скажете!

— Гораздо меньше, чем уже сказал помощник капитана.

— Прошу прощения, мистер Райдер, я вас не совсем понял.

— Я только сказал, что помощник капитана

разбирается в этом лучше меня.

— Вот как? Гм-гм. Ну-ну, я получил большое удовольствие от нашей беседы. Надеюсь, она будет не последняя. Какая-то английская дама говорила:

— Ох, этот лебедь! Полтора месяца в Америке привили мне настоящую фобию ко льду. Расскажите мне, что вы испытали, снова встретившись с Селией? Я знаю, я бы чувствовала себя неприлично новобрачной. Но Селия и без того еще не сняла флердоранжа, верно?

Другая дама говорила:

— Разве это не чудесно? Вот сейчас мы распрощаемся, но через полчаса увидимся снова и еще много-много дней будем видеться каждые полчаса.

Гости расходились, и каждый перед уходом сообщал мне о том, что мне сулят в ближайшем будущем заботы моей жены; популярной темой было также наше предстоящее тесное общение. Наконец был вывезен и ледяной лебедь, и я сказал моей жене:

— Джулия так и не пришла.

— Да, она звонила. Я не расслышала, что она говорила, тут был такой шум, что-то насчет платья. И к лучшему, надо признаться, тут и так негде

было яблоку упасть. Было очень мило, верно? Тебе очень не понравилось? Ты держался чудесно и очень импозантно выглядел. А кто этот твой рыжий приятель?

— Первый раз его видел.

— Как странно! Ты сказал что-нибудь мистеру Крамму насчет работы в Голливуде?

— Конечно, нет.

— Ох, Чарльз, сколько мне с тобой хлопот! Мало просто стоять с видом гения и мученика искусства. Ну, пошли обедать. Мы сидим за капитанским столом. Едва ли он сегодня выйдет к обеду, но вежливость требует пунктуальности.

К тому времени, когда мы добрались до кают-компании, места за столом уже были распределены. По обе стороны от пустого капитанского стула сидели Джулия и миссис Оглендер, еще там были английский дипломат с женой, сенатор Стьюве-сант Оглендер и — в блестящей изоляции — американский священник между двумя парами пустых стульев. Позднее он отрекомендовался довольно тавтологическим титулом епископального епископа. Жены и мужья сидели здесь вместе. Моя жена, приняв молниеносное решение, отклонила вмешательство стюарда и села подле сенатора, предоставив епископа мне.

Джулия потерянно кивнула нам через стол.

— Я страшно огорчена, что не смогла прийти, — сказала она. — Моя злодейка-горничная бесследно исчезла со всеми моими туалетами и появилась только полчаса назад. Ходила играть в пинг-понг.

— Я сейчас рассказывала сенатору, как много он потерял, что не был у вас, — обратилась ко мне миссис Стьювесант Оглендер. — Где Селия, там всегда увидишь значительных людей.

— Справа от меня сидят значительные люди, супружеская чета, — сказал епископ. — Они едят у себя в каюте и будут выходить к общему столу, только когда их заранее уведомят, что ожидается присутствие капитана.

Компания за столом подобралась довольно безотрадная; даже светский энтузиазм моей жены не выдерживал такого испытания. По временам до меня доносились обрывки ее разговора с сенатором.

— … презабавный рыжий человечек. Капитан Буремглой собственной персоной.

— Простите, леди Селия, но я вас так понял, что вы с ним не были знакомы?

— Я хочу сказать, что это был кто-то, очень на него похожий.

— Кажется, я начинаю понимать. Он принял облик вашего знакомого капитана с целью попасть в число ваших гостей?

— Нет-нет. Капитан Буремглой — это такой комический персонаж.

— Мне кажется, что в господине, о котором идет речь, ничего комического не было. А ваш знакомый — комик?

— Да нет. Капитан Буремглой — это вымышленный персонаж из английской газеты. Вроде вашего Лупоглаза. Сенатор отложил нож и вилку.

— Я резюмирую. К вам в гости явился некий непрошеный господин, и вы приняли его, ибо усмотрели в нем сходство с карикатурным персонажем?

— Да, пожалуй, в общем и целом так.

Сенатор поглядел на жену, как бы говоря: „Ничего себе значительные люди!“

Мне слышно было, как на другом конце стола Джулия любезно разъясняла английскому дипломату сложные брачно-родственные связи своих венгерских и итальянских кузенов. На пальцах и в волосах у нее вспыхивали огоньки бриллиантов, но руки ее нервно катали хлебные катышки, а лучистая голова печально никла.

Епископ рассказывал мне о миссии доброй воли, с которой он направлялся в Барселону: „… была проделана очень важная предварительная работа, мистер Райдер. И теперь настало время возводить новое здание на более широком фундаменте. Я поставил себе целью примирить между собою так называемых анархистов и так называемых коммунистов, и с этой целью я и мой комитет изучили всю имеющуюся документацию по данному вопросу. И мы пришли, мистер Райдер, к единодушному заключению, что между названными идеологиями нет принципиальной разницы. Все упирается в личностей, мистер Райдер, а что личности разъединили, личности могут и соединить…“

По другую сторону от меня слышалось:

— Позвольте поинтересоваться, какие же организации финансировали экспедицию вашего супруга?

Жена дипломата смело атаковала епископа, преодолев разделяющую, их пропасть:

— А на каком языке вы собираетесь изъясняться в Барселоне?

— На языке Разума и Братства, сударыня. — И, снова обратись ко мне: — Язык будущего — это язык мыслей, а не слов. Вы согласны со мной,

мистер Райдер?

— Да, — ответил я. — О да.

— Ну что слова? — вопросил епископ.

— Действительно, что слова?

— Не более чем условные символы, мистер Райдер, а наш век питает заслуженное недоверие к условным символам.

Голова моя шла кругом; после душного птичника в салоне моей жены и моих неисследованных душевных глубин, после всех многотрудных нью-йоркских удовольствий и месяцев одиночества в душном зеленом сумраке джунглей — это уж было слишком. Я ощущал себя Лиром в ночной степи, герцогиней Мальфи в окружении беснова-тых. Я призывал на свою голову ураганы и хляби небесные, и желание мое, словно по волшебству, вдруг исполнилось.

Уже некоторое время я чувствовал — хотя тогда мне казалось, что у меня просто шалят нервы — какое-то повторяющееся, с постоянно увеличивающимся размахом движение: просторная кают-компания вздымалась и содрогалась, словно грудь спящего. Сейчас моя жена ко мне обернулась и сказала:

— Либо я пьяна, либо начинается качка. — И в ту самую минуту, когда она это произносила, мы

все вдруг завалились набок, у буфета раздался звон падающих ножей и вилок, а на столе все рюмки опрокинулись и покатились, каждый ухватился за свой прибор, и на лицах, обращенных к соседям, отразилась целая гамма чувств — от ужаса у жены дипломата, до облегчения во взгляде Джулии.

Шторм, который вот уже час подбирался к нам, неслышный, невидимый, неощущаемый в нашем замкнутом, изолированном мирке, теперь обошел нас и со всей силой обрушился на нос корабля.

За грохотом последовала тишина, затем высокий нервный сбивчивый смех. Стюарды закрывали салфетками винные пятна на скатерти. Мы попытались возобновить беседу, но каждый ждал, подобно тому рыжему господину, следившему за набухающей на носу у лебедя каплей, следующего удара; и следующий удар приходил и был всякий раз сильнее предыдущего.

— Ну, я должна со всеми проститься, — сказала, вставая, жена дипломата.

Муж увел ее. Кают-компания быстро пустела. Скоро за столом остались только Джулия, моя жена и я, и по какой-то телепатии Джулия сказала;

— Как в „Короле Лире“.

— Только каждый из нас — это все трое.

— Кто трое? — не поняла моя жена.

— Лир, Кент, Шут.

— О господи, сейчас у нас снова все начнется, как в сегодняшнем разговоре про капитана Буремглоя. Ради бога, ничего не объясняй.

— Да я и не смог бы, вероятно, — ответил я. Снова взлет вверх и падение в глубокую пропасть. Стюарды хлопотали, закрепляя, пристегивая, убирая лишнее.

— Ну, — сказала моя жена, — мы пообедали и показали пример британской невозмутимости. Теперь пойдем посмотрим, что происходит.

Один раз на пути в салон нас швырнуло об стену, и мы втроем уцепились за какую-то колонну; в большом зале было пусто; оркестр, правда, играл, но танцующих не было; столы были расставлены для лотереи, но никто не покупал билеты, и судовой офицер, специализировавшийся на выкликании номеров со всеми прибаутками нижней палубы: „Шестнадцать-шестнадцать, рано целоваться!“, „Срок родин — двадцать один!“ — стоял в стороне и болтал с сослуживцами; человек десять-пятнадцать сидели по углам с книгой, кое-где за столиком играли в бридж, в курительной пили коньяк, но из наших недавних

гостей не было видно никого.

Мы посидели втроем перед пустым помостом для танцев; моя жена строила планы, как, соблюдая вежливость, перебраться за какой-нибудь другой стол в капитанской столовой.

— Неужели нам ходить в ресторан, — говорила она, — и платить лишние деньги за совершенно такой же обед? И вообще там обедают одни киношники. Там нам делать нечего.

Немного спустя она сказала:

— Все-таки голова у меня разболелась. И вообще я устала. Пойду спать.

Джулия ушла вместе с ней. Я побродил по закрытым палубам, где слышно было завывание ветра и коричнево-белая пена взмывала из темноты, расползаясь клочьями по стеклу; у выходов дежурили матросы, не пускавшие пассажиров на открытые палубы. Наконец и я тоже ушел вниз.

В моей каюте все бьющиеся предметы были убраны, дверь в соседнее помещение открыта и защелкнута, и моя жена жалобно окликнула меня оттуда:

— Я чувствую себя ужасно. Никогда не думала, что эти огромные пароходы может так болтать, — сказала она, и глаза ее были полны страха и обиды, как у женщины, которая наконец

убедилась, когда подошел ее срок, что самый роскошный родильный дом и самые дорогие доктора не избавят ее от предстоящего испытания; и действительно, взлеты и падения корабля следовали друг за другом через равные промежутки времени, подобно родовым схваткам.

Я спал у себя, вернее, лежал в полузабытьи, между сном и бодрствованием. На узкой жесткой койке, быть может, еще удалось бы обрести отдых, но здесь были широкие пружинистые ложа; я собрал какие-то валики и диванные подушки и попытался заклинить себя ими, но все равно меня швыряло при каждом наклоне — к килевой качке прибавилась теперь бортовая, — и голова гудела от скрежетов и гулов.

В какой-то момент, наверное за час до рассвета, в раскрытой двери, подобно привидению, возникла фигура моей жены, она обеими руками держалась за косяк и жалобно говорила:

— Ты спишь? Неужели ничего нельзя сделать? Может быть, лекарство какое-нибудь?

Я позвонил ночному стюарду, у него наготове было какое-то питье, от которого ей немного полегчало.

И всю ночь между сном и бодрствованием я думал о Джулии; в моих обрывочных сновидениях

она принимала сотни фантастических, жутких и непристойных обличий, но, когда я пробуждался, возвращалась ко мне такой, какой я видел ее за обедом: печально поникнув лучистой головой.

С первым светом я заснул и, проспав часа два, проснулся свежим, с радостным предвкушением чего-то важного.

Ветер, как сообщил мне стюард, немного утих, но все еще дул очень сильно, и на море по-прежнему была крупная зыбь, а для удовольствия пассажиров, как он мне объяснил, ничего нет хуже крупной зыби. „Нынче с утра вот почти никто не заказывал завтрак“,

Я заглянул к жене. Она спала. Я закрыл дверь между нашими каютами, позавтракал лососиной с рисом и холодным брейденхемским окороком и вызвал по телефону парикмахера, чтобы он меня побрил.

— В гостиной много пакетов для мадам, — сказал мне стюард. — Оставить их пока там?

Я пошел посмотреть. Прибыла вторая порция целлофановых пакетов — заказанных по радио нью-йоркскими знакомыми, которых секретари не успели вовремя оповестить о дне и часе нашего отъезда, и присланных в знак благодарности вчерашними гостями. Для цветочных ваз сейчас

было неподходящее время; я велел стюарду оставить все как есть, а потом, озаренный внезапной идеей, поднял с пола букет роз, вынул из него карточку мистера Крамма и отправил с моими наилучшими пожеланиями Джулии.

Она позвонила, когда меня брили.

— Чарльз, что за неудачная мысль! Так не похоже на вас.

— Они вам не нравятся?

— Ну что можно делать с розами в такую погоду?

— Нюхать.

Раздался шорох разворачиваемого целлофана.

— Они совершенно не пахнут. — Что вы ели на завтрак?

— Черный виноград и дыню.

— Когда я вас увижу?

— Перед вторым завтраком. До этого я занята с массажисткой.

— С массажисткой?

— Да, удивительно, верно? Я никогда раньше не делала массажа, только один раз, когда повредила плечо на охоте. Есть что-то такое в пароходной жизни, располагающее всех к праздности и роскошеству, верно?

— Кроме меня.

— А эти неуместные розы?

Парикмахер делал свое дело, являя чудеса ловкости и устойчивости — подобно балетному фехтовальщику, он то балансировал на носке одной ноги, то перепрыгивал на другую, стряхивая с лезвия клочья мыльной пены и низвергаясь с высоты на мой подбородок, как только судно вновь принимало ровное положение; сам бы я не отважился поднести к лицу безопасную бритву.

Снова зазвонил телефон.

Это была моя жена:

— Как ты себя чувствуешь, Чарльз?

— Устал немного.

— Ты ко мне не зайдешь?

— Я уже заходил. Буду чуть погодя.

Я захватил и принес ей цветы из гостиной; они довершили впечатление родильной палаты, которое моя жена успела создать в своей каюте: у ее постели, словно акушерка, стояла стюардесса — накрахмаленный столп уверенности и спокойствия. Моя жена повернула ко мне голову на подушке и слабо улыбнулась; она протянула обнаженную руку и погладила кончиками пальцев ленты и хрусткий целлофан самого большого букета.

— Все так добры, — чуть слышно проговорила

она, словно шторм был ее личной бедой, в которой любящее человечество ей соболезновало.

— Ты, как я понимаю, не встанешь?

— Ах, нет, миссис Кларк так ко мне внимательна. — Она всегда умела запоминать фамилии прислуги. — Ты не беспокойся. Заходи ко мне время от времени и рассказывай, что происходит.

— Нет-нет, деточка, — вмешалась стюардесса, — чем меньше нас сегодня будут беспокоить, тем лучше.

Даже из морской болезни моя жена умудрилась сделать некое общеженское таинство. Каюта Джулии, я знал, находилась где-то под нашей. Я подождал ее у лифта, ведущего на главную палубу; когда она пришла, мы поднялись и сделали один круг по палубе; я держался за перила, а она взяла меня под руку. Прогулка была не из легких; сквозь струящееся стекло был виден перекошенный мир серого неба и черной воды. Когда судно давало резкий крен, я поворачивался, чтобы она могла тоже ухватиться свободной рукой за перила; ветер выл уже не так оглушительно, но пароход стонал и скрипел от напряжения. Сделав один круг, Джулия сказала:

— Бог с ним. Эта женщина выколотила из меня все печенки, у меня больше ноги не ходят. Пой-

дем посидим.

Массивные бронзовые двери салона сорвались с защелок и свободно ходили туда-сюда, послушные пароходной качке; с равномерностью маятника, готовые все смести на своем пути, они по очереди, то одна, то другая половинка, распахивались и запахивались снова; завершив каждый полукруг, задерживались секунду и снова начинали движение, сначала медленно, а под конец быстро, захлопываясь с оглушительным стуком. Серьезной опасности для проходящих они не представляли — разве только сильно замешкаешься и тебя стукнет на обратном, быстром махе; вполне можно было успеть пройти, даже не прибавляя шагу; однако грозный вид этих вырвавшихся на свободу металлических плит легко мог бы человека робкого устрашить и побудить к торопливости; и я с радостью ощутил, что рука Джулии не дрогнула у меня на локте и что она идет рядом со мною, сохраняя совершенную невозмутимость.

— Браво, — сказал какой-то сидевший поблизости человек. — Честно признаюсь, я пошел через другой вход. Не по душе мне что-то пришлись эти двери. С ними тут с утра бьются, никак не закрепят.

В тот день в салонах и на палубе было немного народу, и эти немногие были, казалось, объединены между собой некоей общностью взаимного уважения; никто ничего не делал, только сидели с торжественным видом в креслах, иногда пили что-нибудь и похваливали друг друга за неподверженность морской болезни.

— Вы первая женщина, которую я сегодня вижу, — продолжал этот человек.

— Да, мне повезло.

— Это нам повезло, — возразил он, сделав движение вперед, которое он начал как поклон, но завершил падением на колени, когда промокательная бумага у нас под ногами вдруг круто пошла одним краем вверх. Нас отшвырнуло от него, и мы, цепляясь друг за друга, но все еще на ногах поспешили сесть там, куда завела нас эта фигура нашего танца, — в дальнем конце салона, в стороне от всех; по салону во всех направлениях были протянуты леера, и мы оказались за канатами, точно боксеры на ринге.

Подошел стюард.

— Вам как обычно, сэр? Виски с теплой водой, если я не ошибаюсь? А что для дамы? Могу ли я предложить глоток шампанского?

— Это ужасно, но я действительно с огромным

удовольствием выпила бы шампанского, — сказала Джулия. — Что за роскошная жизнь: розы, полчаса с женщиной-боксером и теперь шампанское!

— Напрасно вы так меня шпыняете за эти розы. Это и вообще-то была не моя идея. Их кто-то прислал Селии.

— О, тогда совсем другое дело. Это с вас полностью снимает вину. И делает мою массажистку еще непростительнее.

— А меня брили в постели.

— Я рада насчет роз, — сказала Джулия. — Признаюсь, они меня неприятно поразили. Показалось, что день начинается нехорошо.

Я понял, что она хотела сказать, и в эту минуту ощутил себя так, словно стряхнул с себя пыль и песок минувших десяти лет; в тот день, как и всегда, каким бы способом она ни объяснялась со мной — недомолвками, отдельными словами, избитыми фразами современного жаргона, едва заметными движениями глаз, губ или рук, — как бы невыразима ни была ее мысль, как ни далеко успевала отскочить рикошетом от обсуждаемого предмета, как ни глубоко уйти с поверхности внутрь вещей, я понимал; даже в тот день, когда я еще стоял на пороге любви, я понимал, что она

хотела сказать.

Мы выпили, и скоро, держась за канат, к нам добрел наш новый знакомец.

— Ничего, если я присоединюсь к вам? Скверная погодка, как ничто, сближает людей. Десятый раз переплываю Атлантику и никогда не переживал ничего подобного. Молодая леди, я вижу, бывалый мореход.

— Вовсе нет. Я никогда раньше не плавала, только вот в Нью-Йорк и теперь обратно, ну и через Канал, конечно. Меня не укачивает, слава богу, но я устала. Сначала я думала, что это после массажа, но теперь склоняюсь к мысли, что виновата качка.

— Моя жена чувствует себя убийственно, а она плавала тысячу раз. Это кое-что да значит, верно?

Он сел вместе с нами обедать. Его присутствие мне не мешало; он явно испытывал нежность к Джулии и при этом считал нас мужем и женой; это его заблуждение и трогательная галантность только сближали нас.

Видел вас вчера вечером за капитанским столом, — сказал он. — Со всеми важными птицами.

— Очень скучные это птицы.

— Если хотите знать, важные птицы всегда скучные. Но в настоящий шторм, вроде этого, сразу видно, кто чего стоит.

— У вас пристрастие к тем, кто не страдает морской болезнью?

— Ну, не то чтобы пристрастие, нет, пожалуй, но я просто хочу сказать, что шторм объединяет людей.

— Да.

— Возьмите нас, например. Если бы не это, мы бы и не познакомились. В свое время у меня было несколько очень романтических встреч на море. Если леди мне позволит, я хотел бы рассказать об одном небольшом приключении, которое произошло со мною в Лионском заливе в бытность мою молодым человеком.

Мы чувствовали усталость; недостаток сна, непрекращающийся грохот и напряжение, которого требовал каждый шаг, вконец нас измотали. После обеда мы разошлись спать по каютам. Когда я проснулся, качка была все такой же сильной, чернильные облака проносились над кораблем и стекла все так же струились водой, но во сне я как-то приспособился к шторму, зажил его ритмом, слился с ним воедино и встал с постели сильным и уверенным в себе. Джулия уже тоже

была на ногах и в таком же настроении.

— Знаете ли вы, — сказала она, — что наш знакомый устраивает нынче вечером для всех, кто хорошо переносит качку, „маленькую суарею“ в курительной комнате? Я звана вместе с мужем.

— Ну и как, мы идем?

— Конечно… Я, наверно, должна себя чувствовать, как та дама, с которой он познакомился по пути в Барселону. Но я вовсе так себя не чувствую, Чарльз.

В курительной собралось восемнадцать человек; между нами не было ничего общего, за исключением неподверженности морской болезни. Мы пили шампанское, потом пригласивший нас всех господин объявил:

— Вот что я вам скажу: у меня с собой есть рулетка. Беда только в том, что ко мне в каюту нельзя, супруга нездорова, а в общественном месте не позволяется.

И мы в полном составе перебрались в мою гостиную и там играли по-маленькой до глубокой ночи, потом Джулия ушла, но наш любезный хозяин успел слишком много выпить и уже не мог обратить внимание на то, что мы с нею обитаем врозь. Когда все, кроме него, разошлись, он уснул, сидя в кресле, и я его там и оставил. Больше уви-

деть мне его не пришлось, так как назавтра — мне рассказал об этом стюард, относивший к нему в каюту рулетку, — он упал, идя по коридору, сломал бедро и был помещен в судовой стационар.

Весь следующий день мы провели с Джулией вместе, и никто нам не мешал. Мы разговаривали, почти не вставая с кресел, удерживаемые на месте накатом волн. После обеда разошлись по каютам последние герои, и мы остались одни, словно помещение специально очистили для нас, словно тактичная стихия отправила всех на цыпочках вон, предоставив нас друг другу.

Бронзовые двери салона удалось наконец закрепить — правда, сначала двое матросов получили серьезные увечья. Были испробованы разные способы — их обвязали канатами, а потом, когда канаты не выдержали, стальными тросами, но тросы закрепить было не к чему. В конце концов загнали под двери деревянные клинья, улучив мгновенье, когда они замирали в распахнутом положении, и эти клинья теперь держали их надежно.

Когда перед ужином Джулия спустилась ненадолго к себе в каюту (никто не переодевался в те дни) и я вошел вместе с нею без приглашения, без спора, будто так и надо, и, закрыв дверь, обнял и

поцеловал ее, ничего не изменилось. Позднее, когда я перебирал все в памяти, то взлетая вместе со своим ложем, то проваливаясь по воле разгулявшихся волн, мне припомнились мои ухаживания за минувшие десять мертвых лет — как перед выходом, вывязывая галстук и вставляя гардению в петлицу, я заранее обдумывал предстоящий вечер, назначая себе сроки и условия для перехода через рубежи и начала наступательных действий; „... этот этап кампании слишком затянулся, размышлял я, пора сделать шаг, который решит ее исход“. С Джулией не было этапов, не было рубежей и вообще никакой тактики.

Но позже, когда она пошла спать и я последовал за нею к дверям ее каюты, она остановила меня.

— Нет, Чарльз, нет еще. Может быть, никогда. Не знаю. Не знаю, способна ли я на любовь.

Что-то, какой-то призрак, сохранившийся от тех десяти мертвых лет — ибо невозможно умереть, хотя бы и ненадолго, и не утратить при этом частицы самого себя, — побудил меня возразить:

— А при чем тут любовь? Я не любви прошу.

— Любви, Чарльз, — ответила она, протянула руку и провела ладонью по моему лицу; потом тихо закрыла за собою дверь.

Меня отшвырнуло сначала к одной, потом к

другой стене длинного, мягко освещенного пустого коридора, ибо шторм, по-видимому, имел форму кольца; весь день мы плыли через его относительно спокойный центр и теперь вновь очутились на периферии, где свирепствовал ураган, и ночь обещала быть много беспокойнее предыдущей.

Десять часов разговоров; что у нас было такого, чем мы должны были поделиться друг с другом? Главным образом факты, события наших жизней, так долго проходивших врозь и теперь сплетшихся в одну. Всю следующую штормовую ночь я возвращался мысленно к тому, что она рассказывала; она не являлась мне больше то демоном соблазна, то лучистым видением — все ее прошлое было теперь передано на хранение мне. Она рассказывала мне, как я уже изложил, об ухаживании Рекса и своем замужестве; рассказывала, словно любовно листая страницы старой книжки с картинками, о своем детстве, и я вместе с нею проводил долгие солнечные дни на полянке под надзором няни Хокинс, восседающей на складном стуле рядом с коляской, в которой мирно спит Корделия, и засыпал тихими вечерами в детской под куполом, а религиозные картинки над кроватью тускнели в свете чуть

теплющегося ночника и меркнущей золы в очаге. Она рассказывала мне о своей жизни с Рексом и о мучительной, порочной тайной эскападе, занесшей ее в Нью-Йорк. У нее тоже были свои мертвые годы. Она рассказала мне о долгой борьбе с Рексом из-за ребенка: сначала она хотела ребенка, потом через год узнала, что ей, для того чтобы родить, потребуется операция; к этому времени они с Рексом уже не любили друг друга, но наследник ему был по-прежнему нужен; и вот, когда она наконец согласилась, ребенок родился мертвый.

— Рекс никогда не обижал меня намеренно, — говорила она. — Просто он не весь человек, а только некоторые свойства человека, развитые до самостоятельных размеров, а остального в нем нет, и все. Он никак не мог взять в толк, почему мне было больно узнать спустя два месяца после нашего возвращения из свадебного путешествия, что он поддерживает прежние отношения с Брендой Чэмпион.

— А я был рад, когда узнал, что Селия неверна, — сказал я. — Это оправдывало мою к ней неприязнь.

— Она тоже? И ты тоже? Я рада. Она и мне всегда была неприятна. Зачем ты на ней женился?

— Физическое влечение. Тщеславие. Все считают, что она — идеальная жена для художника. Одиночество, тоска по Себастьяну.

— Ты любил его, правда?

— Любил. Он был предтечей. Джулия поняла.

Пароход скрипел и сотрясался, взлетал и падал. Из соседней комнаты меня окликнула моя жена:

— Чарльз, ты там?

— Да.

— Я так долго спала. Который час?

— Половина четвертого.

— Качка не меньше, правда?

— Больше.

— Но я чувствую себя чуть получше. Как ты думаешь, если я позвоню, мне не принесут чаю или что-нибудь? Я раздобыл ей чаю с печеньем у дежурного стюарда.

— Весело ты провел вечер?

— Все лежат и мучаются морской болезнью.

— Бедненький Чарльз. И ведь все предвещало такое приятное плавание. Ну, может быть, завтра будет лучше.

Я выключил свет и закрыл между нами дверь. Во сне и наяву, под скрежет, стон и взлеты парохода, лежа плашмя на спине и пружиня раскинутые руки и ноги, чтобы не вывалиться из постели, и

широко раскрытыми глазами глядя в темноту, я думал о Джулии.

„… Мы надеялись, что, может быть, папа вернется в Англию после маминой смерти и даже, может быть, женится, но он ни в чем не изменил свой образ жизни. Мы с Рексом теперь часто ездим к нему. Я его полюбила… Себастьян где-то окончательно затерялся… Корделия в Испании с санитарной машиной… Брайди живет своей удивительной жизнью. Он хотел после маминой смерти заколотить Брайдсхед, но папа почему-то не дал согласия, и теперь там живем мы с Рексом, а у Брайди две комнаты под куполом рядом с няней Хокинс, из прежних детских. Он похож на какой-то чеховский персонаж. Иногда вдруг сталкиваешься с ним, он выходит из библиотеки или поднимается по лестнице, когда даже и не думаешь, что он дома, а время от времени он вдруг появляется неожиданно для всех за обеденным столом, точно привидение.

… О, эти Рексовы званые вечера! Политика и деньги. Никто пальцем не может шевельнуть иначе как за деньги; если они прогуливаются вокруг пруда, то обязательно заключают пари о том, сколько лебедей на нем увидят… Сидишь до двух часов ночи, занимаешь Рексовых дамочек,

слушаешь их сплетни и бесконечное бряканье костей по доске для трик-трака, а мужчины играют в карты и курят сигары. О, этот сигарный дым. Я чувствую, просыпаясь по утрам, как им пропахли мои волосы, а вечером, когда я одеваюсь, его запах идет от моих туалетов. Сейчас от меня тоже пахнет дымом? Может быть, массажистка ощущала, как его запах идет прямо от моей кожи.

… Первое время я ездила вместе с Рексом и гостила в домах у его знакомых. Теперь они больше на этом не настаивает. Ему стыдно, что я оказалась вовсе не та персона, какая ему нужна, стыдно, что он дал такого маху. Он получил на руки совсем не тот товар. Он не находит во мне ничего, и это его смущает, но только он окончательно уверится, что во мне и вправду ничего нет, как вдруг кто-нибудь из его знакомых, мужчина или даже женщина, которых он уважает, проникается ко мне симпатией, и он неожиданно для себя убеждается в существовании целого мира, который ему недоступен, а зато доступен нам… Он был расстроен, когда я уехала. И будет в восторге, что я вернулась. Я была ему верна до этой последней истории. Нет ничего надежнее хорошего воспитания. Знаешь, в прошлом году, когда я надеялась, что у меня будет ребенок, я

ведь решила воспитать его католиком. До этого я мало задумывалась о религии, и потом тоже, но тогда, ожидая рождения ребенка, я думала так: „Это единственное, чем я могу ее одарить. Мне от этого было не много пользы, но теперь я передам это моей дочери“. Странная мысль — подарить то, что тобою утрачено. Но, в конце концов, вышло так, что я ничего не смогла подарить — я не смогла даже подарить ей жизнь. Я так и не видела ее: сначала я была слишком больна и ничего не сознавала, а потом очень долго, до сегодняшнего дня, не хотела говорить о ней — она была дочерью, поэтому Рекс не особенно огорчался, что она умерла.

Я понесла кару за то, что вышла за Рекса. Видишь, эти вещи все-таки не идут у меня из головы — смерть, суд божий, рай, ад, няня Хокинс, катехизис. Они входят в плоть и кровь, если тебя кормят такой пищей с младенческих лет. И однако, я хотела передать это своему ребенку… теперь, наверное, меня ждет кара за новый проступок. Наверное, потому-то мы и оказались здесь с тобой вот так, вместе… это предопределено“.

Таковы были ее последние слова — „это предопределено“, — перед тем как мы пошли с нею вниз и я оставил ее у дверей ее каюты.

На следующий день ветер опять немного утих, и нас опять болтало на мертвой зыби. Разговоры теперь были больше не о морской болезни, а об ушибах и переломах; кого-то ночью выбросило из постели, и несколько серьезных несчастных случаев произошло на кафельном полу ванн.

В тот день, вероятно, потому, что так много было рассказано накануне, и потому, что для остального нам не нужны были слова, мы почти все время молчали. У нас были книги; Джулия нашла какую-то игру себе по вкусу. Но когда после долгого молчания мы обменивались фразой, оказывалось, что наши мысли движутся параллельно, не отставая друг от друга.

Один раз я сказал:

— Ты стоишь в почетном карауле над своей печалью.

— Это все, что я заработала в жизни. Ты сам вчера говорил. Моя награда.

— Вексель от жизни. Обязательство заплатить по первому требованию.

В полдень прекратился дождь; к вечеру тучи разошлись и солнце, садившееся у нас за кормой, вдруг осветило салон, затмив и выжелтив зажженные лампы.

— Закат, — сказала Джулия. — Конец нашего

дня. Она поднялась и, хотя корабль по-прежнему швыряло и вскидывало на волнах, повела меня на верхнюю палубу. Она продела руку под мою и в кармане моего пальто вложила ладонь в мою ладонь. Открытая палуба была пуста и суха, только ветер прокатывался от борта к борту. Медленно, с трудом пробирались мы с кормы на нос, подальше от хлопьев сажи, летевшей из дымовой трубы, и нас то бросало друг к другу, то начинало растаскивать в разные стороны, и руки наши напрягались, пальцы переплетались, и мы останавливались, я — крепко держась за поручни, она — за меня; и снова толкало друг на друга, и снова тянуло врозь; и вдруг, когда пароход особенно круто завалился на борт, меня швырнуло прямо на нее, я прижал ее к борту, схватившись за поручни руками, и она оказалась заперта с обеих сторон; и так мы стояли с ней, пока судно, замерев на какие-то мгновенья, как бы набирало силы для обратного броска, стояли, обнявшись, под открытым небом, щека к щеке, и волосы ее бились на ветру и хлестали меня по глазам; темный горизонт клокочущей воды, здесь и там подсвеченный золотом, остановился где-то высоко над нами, потом пошел, понесся вниз, и прямо перед собой сквозь волосы Джулии

я увидел широко распахнутое золотое закатное небо, а ее прижало к моему сердцу, и мы повисли у борта на моих неразжатых руках, все так же щека к щеке.

И в эту минуту, когда я чувствовал ее губы у своего уха, а на лице ее теплое дыхание в соленом холодном дыхании ветра, она сказала, хотя я не произнес ни слова: „Да, сейчас“, — и, когда пароход выровнялся и качка на какое-то время утихла, Джулия увела меня вниз.

Сейчас было не время для упоений, им еще наступит свой черед, как ласточкам и липовому цвету. А теперь, на разбушевавшемся океане, надлежало выполнить некую формальность, не более. Я вступал во владение ее узкими чреслами и скреплял мое право печатью, дабы потом, на досуге, блюсти и лелеять свое достояние.

В тот вечер мы ужинали высоко в пароходном ресторане и сквозь полукруглое окно видели, как загорались звезды и покачивались на небосклоне, подобно тому, как некогда, вспомнилось мне, они покачивались между башнями и островерхими крышами Оксфорда. Стюарды обещали на завтрашний вечер снова оркестр и полный ресторан народу и советовали, если мы хотим удобно разместиться, заказать столик загодя.

— О господи, — сказала Джулия, — где же нам, сиротам шторма, прятаться в хорошую погоду?

Я не мог оставить ее в ту ночь, но на рассвете следующего утра, опять пробираясь длинными коридорами к себе в каюту, я вдруг заметил, что могу идти, не держась за стены; пароход быстро скользил вперед по успокоившемуся морю, и я понял, что нашему уединению пришел конец.

Моя жена радостно окликнула меня из своей каюты:

— Чарльз, Чарльз, я так хорошо себя чувствую! Угадай, что я ем на завтрак?

Я зашел к ней. Она ела бифштекс.

— Я созвонилась с парикмахерской — представляешь, они не могли записать меня раньше чем на четыре часа, столько у них вдруг оказалось клиентов. Так что до вечера я сегодня нигде не покажусь, но к нам сюда собирается с визитами уйма народа, и я пригласила Дженет с Майлсом позавтракать у нас в гостиной. Боюсь, я была тебе эти двое суток никудышней женой. Чем ты тут занимался?

— Один вечер, — ответил я, — мы до двух часов играли здесь, у тебя за дверью, в рулетку, и господин, который затеял игру, в конце концов утратил дар речи.

— Бог мой. Какое малопочтенное занятие. А ты хорошо себя вел, Чарльз? Не крутил романов с сиренами?

— Не с кем было. Я почти все время проводил с Джулией.

— О, чудесно. Я давно хотела, чтобы вы подружились. Она единственная из моих подруг, которая непременно должна была тебе понравиться. Для нее, я думаю, ты был настоящей находкой. Ей довольно невесело жилось последнее время. Вряд ли она тебе рассказывала, но… — И моя жена поспешила изложить мне ходячую версию о поездке Джулии в Нью-Йорк, — Позову ее сегодня на коктейль, — заключила она.

Джулия пришла вместе с другими, и теперь просто находиться рядом с нею было великим счастьем.

— Я слышала, ты тут без меня любезно опекала моего супруга? — сказала моя жена.

— Да, мы были с ним неразлучны. Он, я и еще один неизвестный господин.

— Мистер Крамм, что с вашей рукой?

— Это все пол в ванной, — ответил мистер Крамм, приступая к детальному описанию происшедшего с ним несчастного случая.

В тот вечер капитан ужинал в кают-компании,

и круг избранных у него за столом замкнулся, так как оба стула по правую руку от епископа оказались тоже заняты четой пожилых японцев, которые выслушивали его прожекты установления всемирного братства человечества с глубоким, вежливым интересом. Капитан галантно подтрунивал над Джулией, предлагал, раз она так стойко перенесла шторм, зачислить ее в команду; за годы плаваний у него накопился запас шуточек на любой случай. Моя жена, только что из косметического кабинета, без каких-либо следов трехсуточной морской болезни на лице, затмевала в глазах многих Джулию, в чьем облике исчезла живописная печаль, уступив место тайной радости и тишине души; тайной для всех, кроме меня; разделенные толпой, мы были с нею одни, и близость наша была нерасторжима, как накануне ночью, когда мы лежали в объятиях друг друга.

В тот вечер на корабле царило праздничное настроение. И хоть завтра предстояло подняться на заре, чтобы успеть упаковаться к началу высадки, в эту ночь каждый стремился наверстать упущенные из-за шторма удовольствия. Уединения искать было негде. Все самые укромные уголки кишели людьми; танцевальная музыка,

громкий, возбужденный разговор; взад-вперед снующие стюарды с подносами, резкий голос офицера, правящего лотереей: „Птичка-единичка! Костыли — одиннадцать! А теперь встряхнем мешок!“, — миссис Оглендер в бумажном колпаке, мистер Крамм с забинтованной рукой, чета пожилых японцев, церемонно бросающих серпантин и шипящих по-гусиному.

Я не говорил с Джулией с глазу на глаз весь вечер.

На следующий день мы сошлись на минуту у правого борта, когда все пассажиры столпились с противоположной стороны — наблюдали прибытие портовых чиновников и разглядывали зеленый девонский берег.

— Куда ты теперь?

— Немного побуду в Лондоне, — ответила она.

— Селия собирается прямо домой. Хочет видеть детей.

— И ты?

— Нет.

— Значит, в Лондоне.

— Чарльз, этот рыжий человек — ну, помнишь, капитан Буремглой? — сказала моя жена. — Его сняли двое полицейских в штатском.

— Не видел. С той стороны было слишком мно-

го народу.

— Я посмотрела поезд и послала телеграмму. Мы будем дома к ужину. Дети уже лягут спать. Не знаю, может быть, поднять Джонджона в виде исключения?

— Ты поезжай, — сказал я. — Я должен задержаться в Лондоне.

— Чарльз, это невозможно! Ты ведь не видел Каролину!

— Разве она так уж изменится за одну-две недели?

— Милый, она меняется каждый день.

— Ну а тогда зачем на нее смотреть теперь? Мне очень жаль, дорогая, но я должен распаковать полотна и посмотреть, как они перенесли перевозку. И мне нужно теперь же договориться насчет выставки.

— Ты думаешь? — с сомнением сказала моя жена, но я знал, что ее противодействие прекратилось, как только я сослался на секреты моего ремесла. — Ужасно обидно. И потом, я даже не уверена, что Эндрю и Синтия уже съехали с квартиры. Они ведь снимали до конца месяца.

— Поеду в гостиницу.

— Но это так грустно. Я не могу допустить, чтобы первую ночь на родине ты провел один-

одинешенек. Я останусь с тобой.

— Дети будут огорчены.

— Да-да. Это верно. — Ее дети, моя живопись — два секрета двух ремесел.

— А в конце недели ты приедешь?

— Если смогу.

— Все с британскими паспортами, пожалуйте в курительную комнату, — объявил стюард.

— Я уговорилась с этим милым человеком из Форин-офис, который сидел с нами за столом, он увезет нас с собою без очереди, — сказала моя жена.

Глава вторая

Мысль назначить вернисаж на пятницу принадлежала моей жене.

— На этот раз мы должны добиться внимания критиков, — заявила она. — Пора им понять, что к тебе надо относиться серьезно. Вот мы и предоставим им такую возможность. Если открытие перенести на понедельник, они почти все только-только вернутся в город и успеют набросать всего по нескольку строк перед ужином — меня сейчас интересуют только еженедельники, конечно. А вот если они смогут не спеша, по-воскресному все обдумать за два дня на лоне природы, отношение у них будет совсем другое. Они усядутся за письменный стол после доброго деревенского обеда, поддернут манжеты и накатают на досуге солидные, пространные эссе, которые потом перепечатают в томиках своих избранных статей. На этот раз меньшим мы довольствоваться не можем.

За этот месяц подготовки она несколько раз приезжала из нашего загородного дома в город, составляла списки приглашенных, помогала развешивать картины.

В пятницу утром я позвонил Джулии.

— Мне уже осточертели эти картины, — сказал я, — я рад бы их больше никогда не видеть, но, боюсь, мне еще придется сегодня там появиться.

— Ты хочешь, чтобы я пришла?

— Предпочел бы тебя там не видеть.

— Селия прислала приглашение, и на карточке зелеными чернилами написано: „Приводите всех“. Когда мы встречаемся?

— В поезде. Ты можешь заехать и прихватить мои вещи?

— Если они у тебя уже упакованы. Я могу и тебя самого прихватить и довезти до галереи. У меня в двенадцать примерка там по соседству.

Когда я вошел в галерею, моя жена стояла у окна и смотрела на улицу. За спиной у нее какие-то незнакомые любители живописи переходили от полотна к полотну с каталогами в руках; это были лица, некогда приобретшие в галерее какую-нибудь гравюру и поэтому числившиеся в списке почетных гостей.

— Никто еще не приходил, — сказала моя жена. — Я здесь с десяти часов. Скука ужасная. Чья это была машина, в которой ты приехал?

— Джулии.

— Джулии? Почему же ты ее не привел сюда?

Как это ни странно, я сейчас только говорила о Брайдсхеде с одним забавным маленьким господином, который, как выяснилось, отлично всех знает. Он из пожилых мальчиков-подручных лорда Постамента в редакции „Дейли свин“. Я попробовала подсказать ему кое-какие мысли и формулировки, но, по-моему, он знает о тебе больше, чем я. Он утверждает, что встречал меня когда-то в Брайдсхеде. Жаль, что Джулия не зашла; мы могли бы спросить ее о нем.

— Я хорошо его помню. Он мошенник.

— Да, это видно на расстоянии. Он рассказывал тут о „брайдсхедовской клике“, как он выразился. Оказывается, Рекс Моттрем превратил Брайдсхед в штаб-квартиру партийной смуты. Ты это знал? Господи, что бы сказала бедная Тереза Марчмейн?

— Я еду туда сегодня вечером.

— О, Чарльз, только не сегодня; сегодня ты не можешь никуда уехать. Тебя ждут, наконец, дома. Ты обещал приехать, как только выставка будет устроена. Джонджон с няней написали большой транспарант: „Добро пожаловать!“ И ты еще не видел Каролину.

— Мне очень жаль, но это решено.

— Кроме того, папа сочтет все это очень стран-

ным. И Бой приедет домой на воскресенье. И ты еще не видел новой студии. Нет, сегодня ты не должен уезжать. А меня они приглашали?

— Разумеется. Но я знал, что ты не сможешь поехать.

— Действительно, сейчас это невозможно. Другое дело, если бы ты предупредил меня заранее. Я бы с удовольствием полюбовалась „брайдсхедовской кликой“ в домашней обстановке. По-моему, ты поступил отвратительно, но сейчас не время для семейных перебранок. Кларенсы обещали приехать до обеда; они могут быть с минуты на минуту.

Наш разговор был прерван, однако не членами королевской фамилии, а женщиной-репортером одной из центральных газет, ее подвел к нам в эту минуту распорядитель выставки. Ей нужны были не картины, а „человеческий материал“ об ужасах и опасностях моей экспедиции. Я поручил ее моей жене и назавтра прочел в газете следующее: „Известный по „Старинным домам“ Чарльз Райдер — добровольный изгнанник. Мэйфэр не может предложить ничего равного змеям и вампирам тропических джунглей — таково мнение великосветского художника Райдера, оставившего особняки великих мира сего ради

руин в дебрях Экваториальной Африки…“

Залы стали наполняться, и скоро я уже был по горло занят своими обязанностями любезного хозяина. Моя жена была повсюду — встречала входящих, знакомила незнакомых, искусно преобразуя случайное сборище в общество друзей. Я видел, как она подводила одного за другим к столику, где лежал подписной лист на новую книгу „Латинская Америка Райдера“, и слышал, как она говорила: „Нет, дорогой мой, нисколько. Неужели вы думали, что меня могло это удивить? Чарльз живет только одним — Красотой. Я думаю, что ему прискучило получать ее в готовом виде у нас в Англии, у него возникла потребность уехать и самому создать ее. Он хотел завоевывать новые миры. Ведь об английских усадьбах он уже сказал последнее слово, вы согласны? Я не хочу сказать, что он оставил их окончательно. Уверена, что для друзей он всегда готов будет сделать один-два вида“.

Фотограф свел нас вместе, полыхнул лампой в лицо и отпустил в разные стороны.

Внезапно стало довольно тихо, публика расступилась — всеобщее замешательство знаменовало собой прибытие членов королевской фамилии. Я увидел, как моя жена присела в реверансе, и

услышал ее слова: „О сэр, вы так добры!“ — затем я был вытолкнут на свободное от людей пространство, и герцог Кларенс сказал, обращаясь ко мне:

— Там, должно быть, жара стоит несусветная?

— Да, сэр.

— Удивительно, как вам удалось передать это ощущение жары. Мне сделалось просто не по себе в моем теплом пальто.

— Ха-ха.

Когда они уехали, моя жена всполошилась:

— Боже, мы опаздываем к обеду. Марго дает обед в твою честь. — А в такси она сказала: — Знаешь, мне сейчас пришла в голову одна мысль. Почему бы тебе не написать герцогине Кларенс и не попросить позволения посвятить ей „Латинскую Америку“?

— С какой стати?

— Ей это было бы приятно.

— Я никому не собирался ее посвящать.

— Ну, вот опять. Как это на тебя похоже, Чарльз. Разве трудно доставить человеку удовольствие?

За обедом собралось человек двенадцать, и, хотя хозяйке и моей жене нравилось думать будто виновником торжества являюсь я, было очевидно, что больше половины из них и не слыхали о моей выставке и приехали просто потому, что

были званы и не имели в это время других дел. Весь обед прошел у них в разговорах о миссис Симпсон, однако почти все вернулись вместе с нами в галерею.

Послеобеденные часы были самыми оживленными. Появились представители Тэйтовской галереи и Национального художественного фонда, они посулили вскоре возвратиться со своими коллегами и просили пока оставить за ними для окончательного решения некоторые картины. Самый влиятельный критик, который когда-то разделался со мною двумя-тремя убийственными покровительственными фразами, заглянул мне в глаза из-под опущенных полей своей мягкой шляпы, кутая подбородок в толстый шарф, и, сдавив мне локоть, буркнул:

„Я знал, что в вас это есть. Сразу чувствовалось. Этого я и ждал“.

Слова похвалы доносились до меня равно из простых и изощренных уст. „Если бы вчера меня спросили, — слышал я в одном конце, — мне бы в голову не пришло назвать имя Райдера. Столько мужества, столько страсти“.

Им всем казалось, что они видят что-то новое. Иначе было на моей предыдущей выставке, происходившей в этих же самых залах незадолго до

моего отъезда. Тогда на всем лежала заметная тень усталости. И разговоры больше касались не меня, а домов, их владельцев, разных связанных с ними историй. Та же дама, припомнилось мне вдруг, которая сейчас восхищалась моей страстностью и мужественностью, остановилась тогда неподалеку от меня перед полотном, на которое я употребил столько мучительного труда, и бросила: „Все так просто, так легко“.

Предыдущая выставка была мне памятна еще по одной причине: как раз в те дни я обнаружил, что моя жена мне неверна. Тогда, как и теперь, она была вездесущей, неутомимой хозяйкой, и я слышал, как она говорила: „Стоит мне увидеть теперь что-нибудь красивое — дом или пейзаж, — и я говорю себе: это — для Чарльза. Я на все смотрю его глазами. Он для меня — вся Англия“.

Я слышал, как она это говорила; подобные изречения вошли у нее в привычку. В течение всей нашей супружеской жизни меня неизменно мутило от отвращения, когда я слышал, что она говорит. Но в тот день в этой же самой галерее я выслушал ее совершенно равнодушно, вдруг осознав, что отныне она бессильна причинить мне боль; я был свободен, она сама выпустила меня на волю своей минутной подлой оплошностью;

ветвистое. украшение у меня на лбу превратило меня в одинокого и гордого царя лесов.

Незадолго перед закрытием моя жена сказала:

— Милый, я должна ехать. Успех был потрясающий, правда? Я придумаю какое-нибудь объяснение для моих домашних, но, право же, мне жаль, что все получилось именно так.

„Значит, знает, — подумал я. — В проницательности ей не откажешь. Вынюхивает с самого обеда и, конечно, напала на след“.

Я подождал, пока она уйдет, и уже собрался последовать за нею — залы к этому времени почти опустели, — как вдруг у входа раздался голос, который я не слышал много лет, незабываемый, с легким нарочитым заиканием, с утрированной негодующей интонацией.

— Нет. Я не п-п-принес пригласительного билета. Не знаю даже, получал ли я пригласительный билет. Я п-пришел не со светским визитом; не хочу втереться в знакомые к леди Селии; и мне не нужно, чтобы в „Тэтлер“ попала моя фотография; я пришел не себя выставлять, а смотреть на картины. Вам, по всей видимости, неизвестно, что здесь выставлены картины. Я, п-п-представьте, имею личный интерес к их автору, к художнику — если это слово вам что-нибудь говорит.

— Антуан — сказал я, — входите.

— Мой милый, там сидит г-горгона, она решила, что я незваный гость. Я только вчера приехал в Лондон и нынче за обедом случайно узнаю, что вы устроили новую выставку, ну и, естественно, бросаюсь со всех ног в сей храм искусства, дабы принести свою дань благоговения. Я очень изменился? Вы бы узнали меня? Где картины? Дайте-ка я вам их растолкую.

Антони Бланш нисколько не изменился с тех пор, как я его видел последний раз, и даже с тех пор, как я увидел, его впервые. Он быстрыми шагами устремился через зал к самому крупному полотну — зелено-черному пейзажу джунглей, — постоял перед ним, склонив голову набок, точно умный терьер, и спросил:

— Мой любезный Чарльз, откуда эта столь пышная растительность? Что сие, уголок оранжереи в Т-тренте или Т-трин-ге? Какой щедрый ростовщик взрастил, вам на радость, эти кроны?

Затем он обошел оба зала, не произнося больше ни слова и только испустив попутно два-три глубоких вздоха. Завершив осмотр, он опять вздохнул, еще глубже, чем прежде, и сказал:

— Зато я слышал, мой милый, вы счастливы в любви. А это все, не правда ли? Или почти все.

— Неужели так плохо?

Антони понизил голос до пронзительного шепота:

— Мой милый, не будем разоблачать ваше маленькое надувательство перед этими добрыми, простодушными людьми, — он заговорщицки повел глазами в сторону последних посетителей, — не будем портить им их невинное удовольствие. Мы с вами знаем, что все это п-полнейшая чеп-пуха. П-пойдемте же отсюда, дабы не оскорблять слуха знатоков. Я знаю здесь поблизости одно очень сомнительное питейное заведение. Отправимся туда и поговорим о ваших п-прочих п-п-обедах.

Понадобился этот голос из прошлого, чтобы вернуть меня на землю. Потоки похвал без разбора, изливавшиеся на мою голову в течение всего этого шумного дня, подействовали на меня, как рекламные щиты, возникающие между тополей вдоль длинной дороги через каждый километр и назойливо повторяющие название гостиницы, в которой тебе почему-то надлежит остановиться, так что в конце пути, пропыленный и изнемогший, ты неизбежно сворачиваешь под вывеску с тем названием, которое тебе сначала примелькалось, потом стало действовать на нервы и

наконец вошло неотъемлемой частью в самый состав твоей усталости.

Антони повел меня по какому-то переулку, и между сомнительного вида книжной лавкой и подозрительной аптекой мы остановились перед дверью, на которой синей краской было выведено: „Голубой Грот. Вход только для членов клуба“.

— Не совсем ваша стихия, мой милый, зато, можете не сомневаться, моя. Но ведь вы пробыли сегодня в своей стихии целый день.

И, войдя в подъезд, где сильно пахло кошками, мы спустились куда-то вниз, откуда уже шел запах джина и окурков и доносились звуки радио.

— Мне дал этот адрес один грязный старикашка в Беф-сюр-ля-Туа. И я ему очень благодарен. Я так давно не был в Англии, а симпатичные местечки вроде этого ужасно недолговечны. Я только вчера вечером здесь отрекомендовался и уже чувствую себя совершенно как дома. Добрый вечер, Сирил.

— А, Тони, вернулся? — приветствовал нас юнец за стойкой.

— Наполним наши стаканы и сядем где-нибудь в углу. Вы должны п-помнить, мой милый, что здесь вы такая же белая ворона, такое же, я бы сказал, ненормальное явление, каким я был бы

у „Брэтта“.

Бар был выкрашен кубовой краской; на полу лежал синий линолеум. На стенах и потолке были беспорядочно наклеены рыбы, вырезанные из серебряной и золотой бумаги. Несколько молодых людей пили у стойки или играли у монетных автоматов под наблюдением человека постарше с вылощенным, пропитым лицом. Возле автомата с жевательной резинкой послышались смешки; затем один из молодых людей подошел к нашему столику.

— Твой друг не хочет потанцевать со мной? — спросил он.

— Нет, Том, не хочет, и коньяка я тебе тоже не куплю, во всяком случае пока. Это очень нахальный юноша, настоящий вымогатель, мой милый.

— Ну, — сказал я с притворной непринужденностью, которой вовсе не испытывал в их вертепе, — что вы поделывали все эти годы?

— Мой милый, мы здесь для того, чтобы поговорить о том, что поделывали вы. Я следил за вами, мой милый. Я верен старой дружбе, и все эти годы я вами интересовался. — Он говорил, и синий бар вместе с барменом, синие плетеные кресла, и монетные автоматы, и граммофон, и

парочка молодых людей, танцующих румбу на синем линолеуме, и хихикающие юнцы возле автоматов, и сизолицый лощеный господин со стаканом, сидящий в углу напротив, весь этот жалкий подпольный притон словно растаял, и я очутился снова в Оксфорде, у стрельчатого рескинского окна, за которым лежал зеленый двор колледжа Христовой церкви. — Я был на вашей первой выставке, — продолжал Антони, — и нашел, что она обаятельна. Там был один интерьер Марчмейн-хауса, очень английский, очень добропорядочный, но совершенно восхитительный. „Чарльз кое-что сделал, — сказал я себе, — не все, что ему предназначено, не все, на что он способен, но кое-что“.

Правда, уже тогда, мой милый, у меня возникло маленькое сомненьице. Мне показалось, что в вашей живописи есть что-то джентльменское. Вы должны помнить, что я не англичанин, мне чуждо ваше страстное поклонение хорошим манерам. Английский снобизм для меня — это нечто еще более зловещее, чем английская мораль. Но как бы то ни было, я сказал себе:

„Чарльз создал произведение восхитительное. Посмотрим, что он создаст дальше“.

Дальше мне в руки попал ваш очень красивый

альбом — „Сельская и провинциальная архитектура“, так, кажется, он называется? Довольно толстый том, мой милый, и что же я в нем нахожу? Опять обаяние. „Это не совсем в моем вкусе, — подумал я, — это искусство чересчур английское“. Я, как вы знаете, отдаю предпочтение вещам более пикантным. Сень старого вяза, сандвич с огурцом, серебряный сливочник, английская барышня, одетая во что они там одеваются для игры в теннис— нет-нет, Джейн Остин, м-мисс М-митфорд — это все не для меня. И тогда, дорогой Чарльз, я, признаюсь честно, в вас отчаялся. „Я старый выродившийся латинянин, — сказал я себе, — а Чарльз (я имел в виду только ваше искусство, мой милый) — это деревенская барышня в цветастом муслиновом платье“.

Вообразите же теперь мое возбуждение, когда сегодня за обедом я вдруг услышал, что все вокруг только о вас и говорят. Я обедал у одной старой приятельницы моей матери, некой миссис Стьювесант Оглендер, оказалось, что она и ваша приятельница, мой милый. Это вульгарная, грубая баба, никак не подумал бы, что вы можете водить с ней компанию. Все присутствующие, как оказалось, успели побывать на вашей выставке, но, впрочем, разговаривали они не о ней,

а о вас — о том, как вы вырвались на свободу, мой милый, уехали в тропики и заделались этаким Гогеном, этаким Рембо. Можете себе представить, как заколотилось мое старое сердце.

„Бедняжка Селия, — говорили они. — А ведь она столько для него сделала“, „Он всем обязан ей. Это ужасно“, „И с Джулией, подумайте, — говорили они. — После всего, что у нее было в Америке“, „Как раз когда она уже возвращалась к Рексу“.

„Ну а картины? — спрашивал я. — Расскажите мне о картинах“.

„Ах да, картины, — они отвечали. — Картины престранные“, „Совсем не в его обычной манере“, „Какая сила“, „Какое варварство“, „Я считаю их просто нездоровыми“, — объявила миссис Оглендер.

Мой милый, у меня едва достало сил усидеть на стуле. Мне хотелось выбежать вон из дома, вскочить в такси и крикнуть:

„Отвезите меня туда, где висят нездоровые картины Чарльза!“ И я действительно приехал, но после обеда в галерее набилось столько глупых женщин в этих ужасных шляпах, поэтому я ушел и отдохнул немного здесь с Сирилом и Томом и с этими толстомясенькими. Я вернулся в немодное время — в пять часов, охваченный

страшным волнением; и что же я вижу? Я увидел, мой милый, что меня очень талантливо и очень рискованно разыгрывают. Это напомнило мне дорогого Себастьяна, который любил забавы ради наклеивать себе бороду. Передо мной было все то же обаяние, мой милый, простое, сливочное английское обаяние, рядящееся в тигровую шкуру.

— Вы совершенно правы, — сказал я.

— Мой милый, разумеется, я прав. Я был прав еще много лет назад — хотя о том, как давно это было, к счастью, не скажешь ни по вашей, ни по моей внешности, — когда, помните, предостерегал вас. Я пригласил вас со мной поужинать и за столом предостерег вас от обаяния. Особо мои предостережения касались семьи Флайтов. Обаяние — это английское национальное бедствие. Болезнь, которая распространена только на этих серых островах. Обаяние пятнает и губит все, к чему прикасается. Оно убивает любовь, убивает искусство; боюсь, мой милый, что оно убило и вас…

К нашему столику снова подошел молодой человек, по кличке Том.

— Не будь злюкой, Тони, — сказал он. — Купи мне коньяку.

Я вспомнил про поезд и оставил Антони в при-

ятном обществе.

Когда я стоял на платформе возле вагона-ресторана, мимо меня проехали мои чемоданы и чемоданы Джулии, а за плечом носильщика маячила знакомая кислая физиономия горничной. Двери вагона уже закрывались, когда вошла Джулия и безмятежно уселась против меня. Я занял столик на двоих. Это был очень удобный поезд; он выезжал за полчаса до ужина и через полчаса после ужина прибывал на нашу станцию, а там мы садились не в поезд местной линии, как было во времена леди Марчмейн, а прямо в поджидающий автомобиль.

Мы отъехали от Паддингтонского вокзала уже затемно, и ровное свечение города скоро уступило место разбросанным огням пригородов, а затем и непроглядной тьме полей.

— Мне кажется, мы не виделись много дней, — сказал я.

— Шесть часов, и вчера были вместе все время. У тебя усталый вид.

— День был кошмарный: толпы посетителей, критики, Кларенсы, обед у Марго и под занавес полчаса справедливого разноса в баре гомосексуалистов… Мне кажется, Селия знает про нас.

— Ну что ж. Должна же она была когда-нибудь

узнать.

— По-моему, знает весь Лондон. Приятель, пригласивший меня в этот бар, только сутки как вернулся из-за границы и уже слышал.

— Пусть все провалятся.

— А Рекс?

— А Рекса просто нет, — ответила Джулия. — Он не существует.

Поезд нес и нес нас сквозь тьму; на столах побрякивали ножи и вилки; темные круги джина и вермута в стаканах вытягивались в овалы и снова сокращались в круги, послушные покачиванию вагона, касались губ и отступали опять, не выплескиваясь через край; весь трудный день остался позади. Джулия сняла шляпу, забросила ее в сетку у себя над головой и встряхнула черными, ночными волосами, издав легкий вздох облегчения — то был вздох, предназначенный для подушки, для меркнущей золы в камине и для окна в спальной, распахнутого к звездам и к шороху обнаженных деревьев.

— Замечательно, что вы опять с нами, Чарльз. Совсем как в прежние времена.

„Как в прежние времена?“ — подумал я.

Рекс, которому было уже сорок лет, погрузнел, приобрел апоплексический румянец и утратил

канадский акцент, зато говорил теперь, как все его друзья, громким сиплым голосом; им словно приходилось постоянно напрягать связки, чтобы перекричать остальных; казалось, расставшись с молодостью, они не могли больше тратить время на то, чтобы говорить по очереди, слушать, отвечать; времени хватало разве только на смех — на гортанный безрадостный смешок, мелкую разменную монету доброй воли.

С полдюжины этих его друзей собралось теперь в Гобеленовом зале: политики, „молодые консерваторы“, перевалившие за сорок, с залысинами и склонностью к гипертонии, один социалист из шахтеров, уже перенявший интеллигентный выговор, но сигары крошились у него на губах, а рука, державшая стакан, нехорошо дрожала; финансист, старше чем остальные, и, судя по тому, как они с ним обращались, богаче; влюбленный фельетонист из газеты, единственный среди всех хранивший молчание и мрачно пожиравший глазами единственную среди них женщину; и сама эта женщина, отзывающаяся на имя Гризель, осведомленная и продувная особа, которую они все в глубине души, кажется, побаивались.

Побаивались они и Джулию, всем обществом, включая Гризель. Джулия поздоровалась и из-

винилась за то, что не была дома и не могла их встретить, и тон ее был таким, что они ненадолго притихли. После этого она увела меня, и мы сели у камина, а буря разговоров разразилась с новой силой и долго еще бушевала над нашими головами.

— Да он может хоть завтра на ней жениться и сделать ее королевой!

— В октябре у нас была такая возможность. Почему, объясните, мы не пустили итальянский флот на дно Средиземного моря? Почему не стерли Силезию с лица земли? Почему не высадились на Пантеллерии?

— Франко — это просто немецкий агент. Они вздумали поставить его у власти, чтобы обеспечить себя воздушными базами для бомбардировки Франции. Ну, как бы то ни было, этот номер у них не прошел.

— Монархия стала бы только крепче, чем когда-либо со времен Тюдоров. Народ его поддерживает.

— Пресса его поддерживает.

— Я его поддерживаю.

— И вообще кто сейчас обращает внимание на разводы? Старые девы, которым они в любом случае не угрожают?

— Если только он надумает вывести их шайку на чистую воду, они просто разбегутся и исчезнут, как… как…

— Почему мы не закрыли Канал? Почему не бомбили Рим?

— И не понадобилось бы. Одна решительная нота…

— Одно решительное выступление в парламенте…

— Одна маленькая демонстрация силы…

— Все равно, Франко не сегодня-завтра уберется обратно в Марокко. Мне говорил один человек, только что из Барселоны…

— … Один человек, только что из Форта Бельведер…

— … Один человек, только что из Палаццо ди Венециа…

— Нам только нужно показать им.

— Показать Болдуину…

— Показать Гитлеру…

— Показать их шайке…

— … не доживу до того, чтобы увидеть мою страну, родину Клайва и Нельсона…

— … мою страну, родину Хоукинса и Дрейка.

— … родину Пальмерстона…

— Будьте любезны, перестаньте, — сказала

Гризель фельетонисту, который в порыве чувств пытался вывихнуть ей запястье. — Мне это не доставляет удовольствия.

— Не знаю, что отвратительнее, — сказал я, — искусство и мода Селии или политика и деньги Рекса.

— Что нам до них?

— О, моя любимая, почему любовь заставляет меня ненавидеть весь мир? Ведь она должна действовать как раз наоборот. У меня такое чувство, будто все люди и бог тоже в сговоре против нас с тобой.

— Так оно и есть.

— Но мы все равно счастливы, им назло. Здесь, сейчас, мы счастливы вдвоем, и они ничего не могут нам сделать, правда?

— Сегодня ночью, сейчас не могут.

Сегодня и сколько еще ночей?

Глава третья

— Помнишь ли, — спросила Джулия тихим летним вечером, напоенным запахами цветущих лип, — помнишь ли тот шторм?

— Болтающиеся бронзовые двери.

— Розы в целлофане.

— Господина, который пригласил всех на „суарею“, а потом исчез.

— Помнишь, как вдруг выглянуло из-за туч заходящее солнце и осветило наш последний вечер? Совершенно так же, как сегодня.

Весь день низкие тучи висели над самой землей, летний дождь с порывами ветра то и дело стучался в окна, и я несколько раз откладывал кисти, пробуждая Джулию от легкого транса, в котором она позировала мне уже бессчетное множество раз; мне никогда не надоедало писать ее, находить в ее облике все новое великолепие и новую нежность; в конце концов мы рано поднялись наверх, и, когда, переодевшись к ужину, спустились в гостиную, мир предстал перед нами преображенным — тучи рассеялись, светило вечернее солнце, ветер улегся и только чуть веял, колыша ветви цветущих лип, чей свежий после

дождя аромат смешивался со сладким запахом буксовых кустов и высыхающего камня. Тень обелиска перечеркивала террасу.

Я принес из галереи две садовые подушки и положил на бортик фонтана. И здесь сидела Джулия в узкой золотой тунике с белой накидкой, опустив руку в воду и безмятежно играя изумрудным перстнем, ловя зелеными гранями отблеск заката; фантастические каменные изваяния высились над темной ее головой, словно гора зеленого мха, сверкающего камня и густой тени, а вода вокруг струилась и бурлила, вспыхивая сотней маленьких пожаров.

— … можно вспоминать, вспоминать, — говорила она. — Сколько было после этого дней, когда мы не виделись? Сто наберется, как ты думаешь?

— Меньше.

— Два рождества…

Эти унылые ежегодные экскурсии в благопристойность. Баутон, наше родовое имение, дом моего кузена Джаспера… С какими тяжелыми воспоминаниями детства я возвращался в его кедровые коридоры, его дышащие сыростью стены! С каким сердечным раздражением я и мой отец, сидя бок о бок в машине моего дяди, сворачивали в аллею веллингтоний, зная, что

в конце пути нас встретят дядя, тетя, тетушка Филипа, кузен Джаспер, в последние годы еще жена и дети Джаспера; а кроме них, быть может, уже прибывшие или ожидаемые с минуты на минуту моя жена и мои дети. Это ежегодное рождественское жертвоприношение соединяло нас; здесь на Рождество с его гирляндами остролиста и омелы, с елкой, ритуальными рождественскими играми и угощениями, с деревенским хором на старинных кедровых антресолях, с пакетами из тисненой оберточной бумаги, перевязанными золотым шпагатом, здесь вопреки любым слухам, ходившим о нас в течение года, мы с ней считались мужем и женой. „Мы должны сохранять это положение любой ценой во имя наших детей“, — говорила моя жена…

— Да, два рождества… И три дня хорошего тона, прежде чем я последовал за тобой на Капри.

— В наше первое лето.

— Помнишь, как я остался в Неаполе, потом приехал, как мы сговорились встретиться на горной тропе и все это оказалось зря?

— Я вернулась на виллу и говорю: „Папа, угадай, кто приехал в гостиницу?“ А он отвечает: „Чарльз Райдер, я полагаю“. Я спрашиваю: „Как ты догадался?“, а папа говорит: „Кара вернулась

из Парижа с известием, что вы с ним неразлучны. У него, как видно, особая склонность к моим детям. Что ж, привези его сюда. По-моему, здесь хватит места“.

— Еще как-то у тебя была желтуха и ты не позволяла мне тебя видеть.

— А в другой раз у меня была инфлюэнца, и ты боялся приходить.

— И бессчетные поездки к избирателям Рекса.

— И коронационная неделя, когда ты сбежал из Лондона. И твоя миссия доброй воли к тестю. И еще тот раз, когда ты ездил в Оксфорд писать картину, которая им не понравилась. Да, дней сто, не меньше.

— Сто дней, потерянных из двух с небольшим лет… и ни одного дня холода, недоверия или разочарования.

— Ни одного.

Мы замолчали; только птицы в липовых кронах щебетали на множество чистых, еле слышных голосов; только вода журчала среди резных камней.

Джулия взяла платок из моего нагрудного кармана и вытерла руку; потом закурила сигарету. Я боялся пресечь чреду воспоминаний, но оказалось, что мысли наши на этот раз бежали в

разных направлениях, потому что, когда Джулия наконец заговорила, слова ее были печальны:

— А дальше что? Еще сто дней?

— Вся жизнь.

— Я хочу стать твоей женой, Чарльз.

— Конечно. Что вдруг сейчас?

— Война, — сказала Джулия. — Ввечеру, поутру, не сегодня-завтра. Я хочу прожить с тобою хоть несколько дней по-настоящему спокойно.

— А это неужели не покой?

Солнце клонилось к лесу на дальних холмах; обращенные к нам склоны покрыла вечерняя тень, только пруды внизу полыхали закатным огнем; свет перед смертью разгорался все пышнее, прочертив через луг длинные тени, вступив на широкие каменные пространства террасы, воспламенив окна, осветив карнизы, колонны, купол, разложив все пестрые ароматные товары земли, листву, камень и окружив сиянием голову и золотые плечи сидящей рядом со мною женщины.

— Что же тогда покой, если не это?

— Еще очень многое. — И холодным, деловитым тоном она продолжала: — Брак не совершается по первому побуждению. Сначала должен быть развод, два развода. Нужно выработать план,

— План, развод, война — и это в такой вечер!

— Иногда я чувствую, — сказала Джулия, — словно прошлое и будущее так теснят нас с обеих сторон, что для настоящего совершенно не остается места.

Тут по ступеням навстречу закату сошел Уилкокс и объявил, что ужинать подано.

В Расписной гостиной ставни были закрыты, шторы задернуты и ярко горели свечи.

— О, три персоны?

— Да, ваша светлость, лорд Брайдсхед приехал полчаса назад. Он просил передать, чтобы вы приступали к ужину, не дожидаясь его, так как он может слегка запоздать.

— Он бог знает как давно не был, — сказала Джулия. — Не понимаю, чем он там занимается в Лондоне.

Мы часто гадали об этом, теряясь в самых фантастических предположениях, ибо Брайди был личность таинственная, некое скрытное, подпольное существо, тупорылый зверь, который роет подземные ходы, прячется от солнечного света и долгие месяцы проводит в спячке. Всю свою взрослую жизнь он пребывал в полнейшем бездействии, разговоры о том, чтобы ему вступить в армию, стать, членом парламента,

уйти в монастырь, так и остались разговорами. Наверняка о нем было известно только одно — да и то потому, что как-то в пору газетного голода это послужило темой большой заметки под заглавием „Редкое хобби пэра“, а именно что он собирает коллекцию спичечных коробков. Он наклеивал их на доски, завел на них картотеку и занимал под них с каждым годом все больше и больше места в своем маленьком вестминстерском доме. Сначала газетная известность смущала его, однако вскоре он нашел в ней большое удовлетворение, так как получил благодаря ей возможность установить контакты с коллекционерами во всех частях света и теперь переписывался с ними и обменивался дубликатами. Ни о каких других его интересах сведений не было. Он по-прежнему возглавлял марчмейнских охотников и неукоснительно, бывая дома, выезжал с ними раз в неделю; но никогда не ездил с соседями, у которых были лучшие угодья. Настоящего спортивного азарта он не испытывал и в тот сезон был на охоте считанное число раз; дружбу он ни с кем не водил, исправно навещал своих теток и присутствовал на официальных обедах, которые устраивались католическими кругами. В Брайдсхеде он исполнял все необходимые обще-

ственные обязанности, внося с собой на трибуну, на банкет и на заседания всевозможных комитетов туман прямолинейности и отчуждения.

— На той неделе в Уондсворте был найден труп девушки, задушенной куском колючей проволоки, — заметил я, возобновляя старую игру.

— Не иначе как дело рук Брайди. Он такой. — Мы просидели за столом с четверть часа, когда он наконец к нам присоединился, торжественно войдя в комнату в своем бутылочно-зеленом бархатном смокинге, который он всегда держал в Брайдсхеде и надевал, выходя к столу. В тридцать восемь лет он сильно облысел и обрюзг и вполне мог сойти за сорокапятилетнего.

— Гм, — сказал он, — гм. Только вы двое. Я надеялся застать также и Рекса.

Я часто пытался представить себе, что он думает обо мне и о моем постоянном присутствии; мне казалось, он с полным равнодушием принимает меня как члена семьи. Дважды за два прошедших года он удивил меня поступками, которые можно было понять как знаки дружеского расположения: на прошлое Рождество он прислал мне свою фотографию в одеянии мальтийского рыцаря, а вскоре после этого пригласил меня на обед в своем клубе. И тому и другому имелось объяснение:

он заказал слишком много отпечатков своего портрета и не знал, куда их девать; и он гордился своим клубом. Это было удивительнейшее объединение людей, занимавших весьма видное положение в своих областях, они встречались раз в месяц и проводили вечер за церемонным дуракаванием; каждый имел прозвище — Брайди звался Братец Гранд — и носил соответствующий, изготовленный по специальному рисунку бриллиантовый знак наподобие ордена; еще у них были особые клубные пуговицы на жилетах и очень сложный ритуал представления гостей; по окончании обеда зачитывался доклад и произносились шуточные спичи. Члены клуба щеголяли друг перед другом своими знаменитыми гостями, а так как у Брайди друзей не было, а я был довольно известен, он и пригласил меня. Даже там, за клубным столом, я чувствовал, что от Брайдсхеда исходят магнетические волны светской неловкости, образуя вокруг него словно маленькое море всеобщего замешательства, в котором он плавал невозмутимо, как бревно.

Брайди сел против меня и склонил над тарелкой розовую лысину.

— Ну, Брайди, какие новости?

— У меня действительно есть некоторые ново-

сти, — ответил он. — Однако дело терпит.

— Скажи сейчас.

Он сделал гримасу— в том смысле, что, мол, нельзя же при слугах, — и тут же спросил:

— Как продвигается картина, Чарльз?

— Какая картина?

— Ну, та, что там сейчас у вас на стапелях.

— Я начал набрасывать портрет Джулии, но сегодня свет очень переменчив.

— Портрет Джулии? Мне казалось, вы ее уже писали. Я полагаю, это совсем не то, что архитектура. И видимо, гораздо труднее.

Его беседа всегда изобиловала долгими паузами, во время которых сознание его казалось застывшим, но в конце концов он, изумляя отвлекшегося собеседника, неизменно возвращался к тому, на чем остановился. Вот и теперь, по прошествии не менее чем минуты, он произнес:

— Мир полон самых различных предметов.

— Несомненно, Брайди.

— Если бы я был художником, — продолжал он, — я бы всякий раз избирал совершенно новый предмет. Но обязательно что-нибудь динамичное, как… — И снова пауза. Что сейчас последует, — гадал я. — Летучий Голландец? Кавалерийская атака? Хенлейская регата? — …как Макбет,

неожиданно докончил он. — Было что-то нелепое в мысли о Брайди как о художнике-жанристе или баталисте. В нем вообще было немало абсурдного, и одновременно в его позиции стороннего лица, человека без возраста было какое-то достоинство; он был еще полудитя и уже почти старец, сегодняшняя жизнь даже и не теплилась в нем; он был прямолинеен и непробиваем и совершенно равнодушен к миру, и это внушало даже уважение. Мы много смеялись над ним, но он никогда не был до конца смешон; временами он оказывался грозен.

Мы сидели и обсуждали положение в Центральной Европе, как вдруг, пресекая эту бесплодную тему, Брайди спросил:

— Где мамины драгоценности?

— Вот это было мамино, — ответила Джулия. — И вот это. Мы с Корделией получили все ее собственные вещи. А фамильные драгоценности лежат в банке.

— Я давно их не видел — по-моему, всех мне не показывали никогда. Что там есть? Помнится, мне говорили, что там какие-то знаменитые рубины?

— Да, ожерелье. Мама его часто носила, неужели ты не помнишь? И жемчуга, они всегда были

у нее. А многие вещи оставались в банке из года в год. Там, я помню, есть какие-то ужасные бриллиантовые подвески и викторианское бриллиантовое колье, которое сейчас никто не наденет. А что?

— Мне бы хотелось как-нибудь посмотреть на них.

— Послушай, папа не собирается их закладывать? Неужели он опять в долгах?

— Нет-нет, ничего похожего.

Брайди ел много и не торопясь. Мы с Джулией смотрели на него при свете свечей. Наконец он проговорил:

— Будь я Рекс, — он был полон подобных допущений:

„Будь я епископ Вестминстерский“, „Будь я главой железнодорожной компании „Большая Западная““, „Будь я актрисой“, словно он лишь по совершенной случайности не является ни тем, ни другим, ни третьим и может еще в одно прекрасное утро проснуться в своем истинном обличье, — будь я Рекс, я бы жил среди своих избирателей.

Рекс говорит, что, живя вдали отсюда, экономит себе четыре рабочих дня в неделю.

Жаль, что его сегодня здесь нет. Я должен сде-

лать одно сообщение. Я…

— Брайди, не будь таким таинственным. Скорей скажи, в чем дело.

Он снова сделал гримасу „не при слугах“. Позже, когда на столе появился портвейн и мы остались втроем, Джулия сказала:

— Я и не подумаю уйти, пока не услышу твоего сообщения!

— Ну хорошо, — проговорил Брайди, откинувшись на спинку стула и пристально разглядывая свой стакан с вином. — „Не далее как в понедельник вы бы все равно прочли об этом черным по белому в газетах. Я собираюсь жениться. Надеюсь, тебя это радует“.

— Брайди! Как… как чудесно! На ком же?

— Ты не знаешь.

— Она хорошенькая?

— Я думаю, хорошенькой ее едва ли можно назвать. Приятная — вот, пожалуй, подходящее слово. Она крупная женщина.

— Толстая?

— Нет, крупная. Фамилия ее Маспрэтт, миссис Маспрэтт, зовут Берил. Я знаком с нею долгое время, но до прошлого года у нее был муж; теперь она овдовела. Что тут смешного?

— Прости, Брайди. Совершенно ничего. Просто

все так неожиданно. Она… она твоих лет?

— Да, я думаю, примерно моих. У нее трое детей, старший мальчик в этом году поступил в Эмплфорт. Они живут в довольно стесненных обстоятельствах.

— Но, Брайди, где ты ее нашел?

— Ее покойный муж, адмирал Маспрэтт, собирал спичечные коробки, — с бесподобной серьезностью ответил он.

Джулия затрепетала от еле сдерживаемого смеха, потом, овладев собой, спросила:

— Но ты женишься не ради ее спичечных коробков?

— Нет-нет, вся коллекция передана в собственность Фалмутской городской библиотеки. Я испытываю к этой женщине самое сердечное расположение. Несмотря на все жизненные трудности, она неизменно сохраняет бодрость духа, любит театр. Она связана с Католической гильдией актеров-любителей.

— А папа знает?

— Я получил от него сегодня письмо, где он выражает свое одобрение. Он давно склонял меня к женитьбе.

В эту минуту нам с Джулией одновременно пришло в голову, что мы напрасно дали волю

удивлению и любопытству; и мы оба стали поздравлять его с сердечностью, в которой почти отсутствовала шутливость.

— Благодарю, — ответил он. — Благодарю вас. Я считаю себя счастливцем.

— Но когда мы с ней познакомимся? Право, ты мог бы привезти ее с собой.

Брайди не ответил; он сидел, попивая портвейн и мечтательно глядя перед собою.

— Брайди, — сказала Джулия, — хитрый старый крот, ну почему ты ее не привез, скажи на милость?

— О, это никак нельзя, знаете ли.

— Да почему же? Я умираю от нетерпения скорее с ней познакомиться. Давай позвоним ей сейчас и пригласим приехать. Она сочтет нас очень странными людьми, если мы в такое время оставим ее одну.

— У нее дети, — сказал Брайдсхед. — К тому же вы ведь и есть странные люди, верно?

— О чем это ты?

Брайдсхед поднял голову и, важно глядя прямо в глаза своей сестре, спокойно продолжал, словно речь шла все о том же, что и раньше:

— Я не могу пригласить ее сюда при данных обстоятельствах. Это неприлично. В конце концов, я

здесь только жилец. В настоящее время это, если угодно, дом Рекса. И то, что здесь происходит, его дело. Но привезти сюда Берил я не могу.

— Я не понимаю тебя, — довольно резко сказала Джулия. Я поглядел на нее: от ее веселой шутливости не осталось и следа; она казалась встревоженной, почти испуганной. — Само собой разумеется, что Рекс и я хотим ее здесь видеть.

— Да-да, конечно, я не сомневаюсь. Затруднение совсем в другом. — Он допил вино, снова наполнил свой стакан и пододвинул графин ко мне. — Видишь ли, Берил — женщина строгих католических правил, которые у нее подкрепляются еще предрассудками, свойственными среднему классу. Я не могу привезти ее сюда. Для меня не имеет значения, что ты считаешь для себя предпочтительным — жить в грехе с Рексом, или Чарльзом, или с обоими. Я никогда не вдавался в подробности вашего menage, но Берил ни при каких обстоятельствах не согласится быть твоей гостьей.

Джулия встала.

— Ты, надутый осел… — начала она, замолчала и бросилась к двери.

Сначала я подумал, что ее душит смех, но, открывая перед ней дверь, вдруг с ужасом увидел в

глазах у нее слезы. Как я должен был поступить? Она выскользнула из комнаты, даже не взглянув в мою сторону.

— На основании моих слов может создаться впечатление, — как ни в чем не бывало продолжил Брайдсхед, — будто это брак по расчету. Не могу говорить за Берил; моя материальная обеспеченность, несомненно, оказала на нее некоторое влияние. Она сама мне в этом призналась. Однако с моей стороны, я хочу подчеркнуть, наличествует самая страстная привязанность.

— Брайди, как вы могли так оскорбить Джулию?

— Я не сказал ничего такого, против чего она могла бы возразить. Я просто констатировал хорошо известный ей факт.

В библиотеке ее не было; я поднялся к ней в комнату, но и там было пусто. Я подождал у ее заставленного туалетного стола, думая, что, может быть, она сейчас войдет. И вдруг в открытом окне в полосе света, тянувшейся через террасу и дальше в сумерки, к фонтану, который во всех случаях жизни притягивал нас, даря прохладу и успокоение, мелькнуло на сером камне белое платье. Было уже почти темно. Я нашел ее в самом затененном углу, на деревянной скамье,

обнесенной буксовой стеной, вплотную подступавшей к бассейну. Я обнял ее, и она прижалась лицом к моему сердцу.

— Тебе не холодно здесь?

Она не ответила, только прильнула плотнее; плечи ее вздрагивали.

— Родная, ну что ты? Почему ты так приняла это к сердцу? Разве важно, что говорит этот олух царя небесного?

— Я не приняла, это не важно. Просто от неожиданности. Не смейся надо мною.

За два с лишним года нашей любви, которые казались целой жизнью, я впервые видел ее такой расстроенной и впервые был бессилен ее утешить.

— Как он посмел так говорить с тобой? — сказал я. — Бездушный болван… — Но это были не те слова.

— Нет, — отозвалась она. — Дело не в этом. Он прав. Они все знают, Брайди и его вдова, для них все написано черным по белому, можно купить за один пенс на любой церковной паперти. Там за пенни можно получить что угодно, написанное черным по белому, и никто даже не будет следить, заплатили вы или нет, только старуха со шваброй, которая копошится у исповедальни,

и девушка, ставящая свечку перед Семью скорбями. Бросьте пенни в ящик, а то и не бросайте, и берите трактат. В нем про все написано, черным по белому.

Называется одним коротким словом, одним плоским, убийственным словечком, которое покрывает целую жизнь.

„Жить в грехе“ — это не просто поступить дурно, как в тот раз, когда я уехала в Америку: поступить дурно, знать, что это дурно, перестать поступать дурно, забыть об этом. Нет, речь о другом. Не за это пенсы плачены. Там ведь все написано черным по белому.

„Жить в грехе“, всегда со своим грехом, постоянным, неизменным, как тщательно ухоженный, огражденный от мира идиот-ребенок. „Бедняжка Джулия, — говорят они, — она никуда не выезжает. Ей нужно нянчить свой грех. Жаль, что он не умер при рождении, — говорят они, — у него такое крепкое здоровье. Эти дети всегда очень крепкие. А Джулия так за ним ухаживает, за своим маленьким слабоумным грехом“.

А я думал: „Час назад она сидела в лучах заката, играла перстнем в воде и считала дни счастья; и вот теперь, под первыми звездами, при последнем сером вздохе дня, вдруг этот таинственный

всплеск горя! Что случилось с нами в Расписной гостиной? Какая мрачная тень упала на нас при зажженных свечах? Две грубые фразы и одно избитое выражение“.

Она была вне себя; ее голос, то приглушенный у меня на груди, то звонкий, исполненный муки, доносил до меня отдельные слова и обрывки фраз:

— Прошлое и будущее; годы, когда я старалась быть хорошей женой в сигарном дыме, под стук костяшек на доске триктрака, пока господин, который был „выходящим“ за столом у мужчин, разливал вино по бокалам; когда вынашивала его нерожденное дитя, сама раздираемая на части тем, что уже умерло; потом вычеркнула его, забыла, нашла тебя, прошедшие два года с тобой, все будущее с тобой, все будущее с тобой или без тебя, и надвигающаяся война, и конец света — грех.

Слово из далекого-далекого прошлого, где няня Хокинс сидит и что-то шьет у камина, а перед Пресвятым Сердцем горит ночничок. Мы с Корделией у мамы в комнате за катехизисом — это по воскресеньям перед обедом. Мама. Мама, которая несет в церковь мой грех, сгибается под ним и под черной кружевной вуалью; выходит с ним на лондонские улицы рано-рано, когда еще не

дымят трубы; спешит с ним по безлюдным тротуарам, на которых стоят передними копытами лошади молочников; мама, которая принимает смерть за мой грех, пожиравший ее безжалостнее ее собственной смертельной болезни.

Мама, принявшая за него смерть; Христос, принявший за него смерть, прибитый за руки и за ноги гвоздями; Христос, висящий в детской над моей кроватью; висящий долгие годы в темной комнатке на Фарм-стрит, где был такой навощенный линолеум; висящий в темной церкви, где одна только старушка поднимает шваброй пыль и одна только свеча проливает слабый свет; висящий в жаркий полдень высоко над толпой и над солдатами; не дождавшийся ничего, кроме губки с уксусом и слов сочувствия от разбойника; висящий вечность; не прохлада гроба и могильные пелены на каменной плите, не умащения и благовония в темной пещере — а только полуденное солнце и стук жребья, бросаемого о хитоне его, тканом сверху.

И нет пути назад; ворота на запоре; вдоль стен — все ангелы и святые. Вышвырнутая, выскребленная, брошенная гнить; старик с волчанкой на лице и с раздвоенной палкой, выползающий ночью порыться в отбросах в надежде найти и

засунуть в мешок что-нибудь, что может ему пригодиться, и тот отворачивается с омерзением.

— Мертвая и безымянная, как дитя, которое завернули и унесли, и я ее так и не видела…

Она плакала и говорила, говорила и плакала и, выговорившись, замолчала. Я ничем не мог ей помочь; я был далеко; ладони мои на сребротканой ее тунике застыли от холода, глаза были сухи; она прильнула в темноте к моей груди, а моя душа была так же далеко от нее, как много лет назад, когда я раскуривал ей сигарету по пути со станции, или потом, когда, из сердца вон, она была где-то, а я жил долгие пустые годы в бывшем доме священника и в американских джунглях.

Слезы зарождаются от слов; замолчав, она через некоторое время перестала и плакать. Она отстранилась от меня, выпрямилась, взяла мой носовой платок, поежилась и встала.

— Да, — сказала она почти совсем обычным голосом. — Брайди, конечно, мастер преподносить сюрпризы.

Я вернулся с нею в дом и поднялся в ее комнату; она села перед зеркалом.

— Не так скверно, учитывая, что я только что закатила истерику, — сказала она. Глаза ее неестественно блестели и казались огромными,

лицо было очень бледным, и только на скулах, где в юности она накладывала румяна, рдели два ярких пятна. — Обычно у истеричек вид как во время сильного насморка. А тебе надо переменить рубашку, перед тем как идти вниз, эта вся проплаканная и в губной помаде.

— А мы пойдем вниз?

— Обязательно. Не можем же мы оставить бедного Брайди одного в вечер его помолвки.

Когда я к ней возвратился, она сказала:

— Извини меня за эту ужасную сцену, Чарльз. Я не могу тебе объяснить, что со мной было.

Брайдсхед оказался в библиотеке. Он курил сигару и мирно читал детективный роман.

— Хорошо в саду? — спросил он. — Если б я знал, что вы собираетесь погулять, я бы тоже пошел.

— Довольно холодно.

— Я надеюсь, что не причиняю особых затруднений тем, что выживаю отсюда Рекса. Понимаете, на Бартон-стрит нам будет слишком тесно с тремя детьми. К тому же Берил любит жить за городом. Папа в своем письме предлагает теперь же перевести все имение на мое имя.

Мне вспомнилось, как Рекс говорил мне в день моего первого приезда в Брайдсхед в качестве гостя Джулии:

— Меня такое положение вполне устраивает. — Это были едва ли не первые его слова при встрече. — Старый маркиз держит дом, Брайди — местный лорд-феодал, а живу я, и мне это ни гроша не стоит. Оплачиваю только продовольствие и домашних слуг. Можно бы удобнее, да некуда, а?

— Вероятно, ему будет жаль отсюда перебираться, — сказал я.

— Не беспокойся, он найдет что-нибудь другое на таких же выгодных условиях, — возразила Джулия.

— У Берил есть кое-какая мебель, которой она дорожит. Не совсем уверен, что она подойдет сюда. Знаете, всякие там дубовые комоды, стулья с прямыми спинками, все в таком роде. Я думаю, она сможет поставить ее в бывшей маминой комнате.

— Да, пожалуй, это самое подходящее место. И брат с сестрой просидели до ночи, обсуждая предстоящее переустройство дома. „Час назад, — думал я, — в темном углу среди буксовых кустов она горестно оплакивала, надрываясь, смерть своего бога, а теперь толкует о том, какую комнату лучше отвести детям Берил, старую курительную или бывшую классную“. Это было выше моего

разумения.

— Джулия, — сказал я позже, когда Брайдсхед ушел к себе, — ты видела когда-нибудь картину Холмена Ханта под названием „Пробужденная совесть“?

— Нет.

Несколько дней назад я наткнулся в библиотеке на „Прерафаэлитов“ Рескина; я сходил за ними и прочел ей, что там говорится об этой картине. Она весело смеялась.

— Ты совершенно прав. Именно это я и чувствовала.

— Но я не могу поверить, родная, что такой поток слез был вызван несколькими бестактными словами Брайди. Ты, наверно, думала об этом и раньше?

— Почти никогда; редко-редко; в последнее время чаще, в ожидании трубы архангела.

— Разумеется, у психологов есть этому объяснение: формирующие впечатления детства, комплекс вины из-за чепухи, которую тебе вбивали в голову. В глубине души ты ведь понимаешь, что это чепуха, верно?

— Если бы это было так!

— Когда-то Себастьян сказал мне почти то же самое.

— Себастьян возвратился в лоно церкви, ты знаешь? Конечно, он никогда так решительно не порывал с нею, как я. Я зашла слишком далеко, для меня пути назад нет. Это я понимаю, если ты это имел в виду, когда говорил о чепухе. Единственное, на что мне осталось надеяться, — это что мне удастся привести свою жизнь в относительный земной порядок, покуда весь земной порядок не прекратился. Поэтому я хочу выйти за тебя замуж. Хочу родить ребенка. Это я еще могу… Пойдем снова выйдем. Луна, наверно, уже взошла.

Полная луна сияла высоко в небе. Мы обошли вокруг дома. Под липами Джулия задержалась, обломила цветущую ветку, прошлогодний побег, которыми топорщились остриженные низкие кроны, и на ходу ободрала ее до хлыстика, какие делают из липовых побегов дети; но движения ее были нервными, недетскими; она оборвала цветы, листья, сминая их пальцами, царапая ногтями, начала счищать кору. И вот мы опять стояли у фонтана.

— Как в классической комедии, — сказал я. — Декорации — барочный фонтан в саду знатного вельможи; акт первый — на закате, акт второй — в сумерки, акт третий — при луне. Действующие

лица каждый раз сходятся у фонтана безо всякой к тому причины.

— Комедии?

— Ну, драме. Трагедии. Фарсе. Как тебе будет угодно. Идет сцена примирения.

— А разве была ссора?

— Было отчуждение и взаимное непонимание во втором акте.

— Почему такой безобразный, подлый тон? Неужели тебе обязательно все воспринимать со стороны? Ну почему то, что происходит, для тебя спектакль? Почему моя совесть — прерафаэлитская картина?

— Так мне представляется.

— Это отвратительно!

Ее вспышка ярости была так же внезапна, как и все, что происходило в этот вечер головокружительных виражей. Неожиданно она хлестнула меня липовым прутиком по лицу, хлестнула со злобой, больно, изо всей своей силы.

— Отвратительно! Почувствовал теперь? Она ударила еще раз.

— Ну? — сказал я. — Бей еще.

Она уже занесла руку, но осеклась, и полуободранная палочка полетела в фонтан и закачалась на воде, черно-белая в лунном свете.

— Больно?

— Да.

— Я?.. Тебя?..

Ярость ее улетучилась; ее слезы, хлынув с новой силой, увлажнили мне щеку. Я отстранил ее, положив ей руку на плечо, и она, склонив голову, по-кошачьи потерлась об мою руку щекой, совсем не по-кошачьи уронив на нее слезу.

— Эх ты, кошка на крыше, — сказал я.

— Бессердечный!

Она прикусила мою руку, но я не пошевелился, когда ее зубы притронулись к моей коже, и она, не укусив, коснулась губами и, не поцеловав, лизнула ее.

— Кошка под луной.

Такое настроение ее было мне знакомо. Мы пошли к дому. В освещенной прихожей она тронула пальцами горящие рубцы на моем лице.

— Бедные щеки. Будут завтра следы?

— Очевидно.

— Чарльз, я с ума сошла? Что случилось сегодня? Я так устала.

Она зевнула; на нее напала непреодолимая зевота. Она сидела у себя за туалетным столом, опустив голову, уронив волосы на лицо, и безудержно, беспомощно зевала, и, когда она

выпрямилась на минуту, из-за ее плеча я увидел в зеркале лицо, оцепеневшее от усталости, как у солдата в отступлении, а выше — мое собственное, перечеркнутое двумя пунцовыми полосами.

— Так устала, — повторила она, снимая свое золотое платье и оставляя его на полу, — устала, и с ума сошла, и ни на что не гожусь.

Я уложил ее спать; голубые веки сомкнулись; бледные губы зашевелились, касаясь подушки, но было ли то пожелание спокойной ночи или же молитва — детская присказка, которая пришла ей на язык в это сумеречное мгновенье между сном и страданием, древний религиозный стих, который дошел к няне Хокинс через века, через все перемены языков и наречий из тех времен, когда развьючивали по вечерам лошадей на долгом Пути Странника — этого я не знал.

На следующий вечер приехал Рекс со своими политическими дружками.

— Они не будут воевать.

— Они не могут воевать. У них нет денег… у них нет нефти.

— У них нет молибдена… у них не хватит людей.

— У них не хватит наглости.

— Они побоятся.

— Они боятся французов… боятся чехов… боятся словаков… боятся нас.

— Это блеф.

— Конечно, блеф. Где у них вольфрам? Где у них марганец?

— Где у них хром?

— Я расскажу вам одну историю…

— Вот, вот, послушайте, это интересно, Рекс расскажет одну историю.

— …один мой приятель путешествовал на машине по Шварцвальду, только на днях вернулся, и вот он рассказывал мне вчера, пока мы с ним играли в гольф. Едет он, представьте, проселочной дорогой, дорога поворачивает, и он с ходу выезжает на шоссе. А на шоссе — что бы вы думали? Танковая колонна. Тормозить поздно, он вылетает на асфальт и на всем ходу врезается прямо в танк. Ну, думает, крышка… Слушайте, слушайте, сейчас будет самое смешное.

— Сейчас будет самое смешное.

— Он проехал танк насквозь и даже краску с кузова не содрал. Что б вы думали? Танк-то был брезентовый — разрисованный брезент на бамбуковой раме.

— У них нет стали.

— У них нет станков. Нет рабочей силы. Они

голодают.

— У них нет жиров. Их дети болеют рахитом.

— Их женщины страдают бесплодием.

— Их мужчины страдают бессилием.

— У них нет докторов.

— Доктора были евреи.

— Теперь у них туберкулез.

— Теперь у них сифилис.

— Одному моему приятелю говорил Геринг…

— Одному моему приятелю говорил Геббельс.

— Мне говорил Риббентроп, что армия поддерживает Гитлера у власти, пока ему все достается на дармовщину. Стоит ему где-нибудь наткнуться на сопротивление, и все будет кончено. Военные расстреляют его.

— Либералы повесят его.

— Коммунисты разорвут его на куски.

— Он бы уже погубил себя, если бы не Чемберлен.

— Если бы не Галифакс.

— Если бы не сэр Сэмюель Хоур.

— И Комитет 1922 года.

— Мирные обещания.

— Министерство иностранных дел.

— Нью-йоркские банки.

— Все, что нужно, — это твердая разумная по-

литика.

— Сформулированная Рексом.

— И мною.

— Мы дадим Европе твердую разумную политику. Европа ждет, чтобы Рекс выступил с речью.

— И чтобы я выступил с речью.

— И я. Объединим все миролюбивые народы земли. Германия поднимется, Австрия поднимется. Чехи и словаки не могут не подняться.

— За речь, с которой выступит Рекс, и за речь, с которой выступлю я.

— А как насчет роббера-другого? Виски? Кто хочет толстую сигару, друзья? А вы, парочка, уходите?

— Да, Рекс, — ответила Джулия. — Мы с Чарльзом идем любоваться луной.

Мы закрыли за собою двери на террасу, и голоса заглохли. Лунное сияние лежало на террасе, подобно густому инею, и пение фонтана достигло нашего слуха; каменная балюстрада террасы была как троянские стены, а безмолвный парк лежал внизу, точно лагерь греков, в шатрах которых находилась в ту ночь прекрасная Крессйда.

— Несколько дней, несколько месяцев.

— У нас нет времени.

— У нас есть целая жизнь от восхода луны до

захода. А потом тьма.

Глава четвертая

— И, разумеется, попечение над детьми останется за Селией.

— Разумеется.

— А как насчет Дома священника? Вы ведь едва ли захотите поселиться с Джулией у нас под самым носом. И дети, знаете ли, считают Дом священника своим домом. Робину поселить семью негде, покуда не помрет его дядюшка. А новой мастерской вы ведь, в конце концов, так и не пользовались? Робин только на днях говорил, что там получится замечательный гимнастический зал — хватит места даже для бадминтона.

— Пусть Робин берет Дом священника себе.

— Теперь что касается денег. Селии и Робину, естественно, для себя ничего не нужно, однако имеется еще такая сторона, как обучение детей.

— С этим все будет в порядке. Я поговорю с моими поверенными.

— Ну, по-моему, все, — сказал Мулкастер. — Знаете, видел я в своей жизни разводы, но не помню, чтобы хоть раз все устраивалось так удачно для всех заинтересованных сторон. Всегда, как бы по-дружески люди сначала ни держались,

чуть доходит до дела, и выплывают всякие там обиды и счеты. Имейте в виду, я все равно считаю, что последние два года вы иногда обходились с Селией, так сказать, не слишком. Конечно, о родной сестре трудно судить, но, на мой взгляд, она девица что надо, для всякого лакомый кусок — да еще с артистическими интересами, как раз по вашей части. Должен, впрочем, сказать, у вас губа не дура. Я сам всегда был неравнодушен к Джулии. Ну, теперь все обернулось ко всеобщему счастью. Робин уже больше года без ума от Селии. Вы его знаете?

— Смутно. Помнится, такой прыщавый зеленый юнец.

— Ну нет, я бы не сказал. Конечно, он довольно молод, но, самое главное, Джонджон и Каролина от него без ума. У вас двое превосходных детей, Чарльз. Так передайте мой поклон Джулии, да скажите ей, что в память о прошлом я желаю ей счастья.

— Я слышал, ты разводишься, — сказал мой отец. — Неужели это так обязательно после всех лет, что вы были счастливы вместе?

— Дело в том, что мы не были особенно счастливы.

— Не были? Вот как? Я отчетливо помню, что

видел вас вместе на Рождество и еще удивился вашему определенно счастливому виду. Ломать свой жизненный уклад— это очень хлопотно, уверяю тебя. Сколько тебе сейчас — тридцать четыре? В таком возрасте поздно начинать жизнь сначала, время окончательно остепениться. Каковы твои дальнейшие намерения?

— Собираюсь жениться вторично, как только будет оформлен развод.

— Ну, знаешь ли, это я считаю полнейшим вздором. Могу понять человека, который сожалеет, что вступил в брак, и желает из него выпутаться — хотя сам я ничего подобного не испытывал, — но избавиться от одной жены, чтобы тут же связать себя с другой — это, извини меня, просто нелепо. Селия всегда была со мной в высшей степени любезна. Я находил ее на свой лад вполне приятной особой. Если ты не сумел быть счастливым с ней, какие у тебя основания рассчитывать на счастье с какой-либо другой женщиной? Послушай совета, мой мальчик, и откажись от всей этой затеи.

— Но при чем тут мы с Джулией? — сказал Рекс. — Если Селия хочет снова выйти замуж, на здоровье, пусть выходит. Это дело ее и ваше. Но, по-моему, мы с Джулией вполне счастливы,

как есть. Вы не можете сказать, чтобы я чинил какие-то затруднения. Многие на моем месте наломали бы дров. Но я человек светский. И потом, у меня есть свои интересы. Однако развод — это совсем другое, от развода еще никогда ни одному человеку не было проку.

— Это дело ваше и Джулии.

— О, Джулии подавай развод во что бы то ни стало. Я надеялся, может, вы бы ее отговорили. Не знаю, кажется, я никому не мешал, старался, во всяком случае. Если я мешал, если приезжал слишком часто, прошу мне сказать. Сейчас так много всяких дел, Брайди вот хочет, чтобы я выселился из дома, ей-богу, у меня и без того забот полон рот.

Политическая карьера Рекса приближалась к решающему повороту. Она сложилась не так благополучно, как он рассчитывал. Я ничего не понимал в финансах, но и мне приходилось слышать разговоры о том, что на его финансовую деятельность в ортодоксальных консерваторских кругах смотрят довольно косо. Даже его достоинства — его общительность и энергия — сослужили ему дурную службу, ибо о его брайдсхедских сборищах начинали поговаривать. Вообще о нем слишком часто писали в газетах, он пользовался

неизменной любовью властителей Прессы и их грустноких, бодро улыбающихся клевретов; в своих речах он говорил такие вещи, которые были хлебом насущным для Флит-стрит, а это сильно подрывало доброе отношение к нему его партийного руководства; только война могла произвести решающий толчок и вынести Рекса на вершины власти. Развод не должен был причинить ему особого вреда; просто, я думаю, он так был занят важными делами, что не хотел отвлекаться на мелочи.

— Что ж, если Джулия непременно хочет развода, придется ей дать развод, — сказал он. — Но ей-богу, она выбрала неподходящее время. Чарльз, скажите ей, чтобы подождала хоть самую малость, будьте другом.

— Вдовушка Брайди сказала: „Я слышала, вы разводитесь с одним разведенным мужчиной и выходите за другого? Звучит очень сложно, милочка. — Она назвала меня „милочкой“ не меньше двадцати раз. — Я заметила, что в каждом католическом доме есть один отпавший от церкви член семьи, и очень часто это ее гордость и украшение“.

Джулия только что приехала с обеда, который давала леди Роскоммон в ознаменование помолв-

ки Брайдсхеда.

— Какова она собой?

— Пышная и величественная; вульгарная, конечно; гнусавый голос, большой рот, глазки-точечки, крашеная блондинка — и вот что я тебе скажу: она обманула Брайди насчет своего возраста. Ей добрых сорок пять лет. И, по-моему, она неспособна обеспечить продолжение рода. Брайди на нее не надышится. Он так и ел ее глазами весь вечер самым неприличным образом.

— Держалась дружески?

— О да, очень. Дружески-снисходительно. Понимаешь, она, вероятно, привыкла быть первой дамой в морских кругах, где всякие флаг-адъютанты и прочие юные карьеристы ходили вокруг нее на цыпочках и смотрели ей в рот. Ну, естественно, у тети Фани на роль первой дамы ей не очень-то приходилось рассчитывать, поэтому она была рада иметь подле себя заблудшую овцу, которая нуждается в наставлении на путь истинный. Она сосредоточила на мне все свое внимание, спрашивала моего совета насчет магазинов и покупок, сказала, довольно подчеркнуто, что надеется часто видеть меня в Лондоне. По-моему, ей зазорно только спать под одной крышей со мною. А у модистки, или в парикмахерской, или

за завтраком в „Ритце“ я не могу причинить ей особого вреда. И в любом случае это Брайди такой щепетильный, а не его вдовушка; у нее просто мертвая хватка.

— А она им заметно помыкает?

— Пока не очень. Он пребывает в любовном оцепенении, бедняга, ничего не видит и не слышит. А она просто добрая женщина, которая хочет обеспечить дом для своих детей и не потерпит никаких препятствий у себя на пути. Сейчас она разыгрывает карту набожности. Но, по-моему, потом, устроившись, она не будет так уж держаться всяких строгостей.

Среди наших знакомых о предстоящих разводах говорили много; в то лето общей тревоги еще сохранились укромные уголки, где частным делам уделялось преимущественное внимание. Моя жена, как всегда, сумела представить события в свете, выгодном для нее и неблагоприятном для меня; всем было ясно, что она держалась замечательно и что только одна она способна выказать такое терпение. „Робин на семь лет ее моложе, он и для своего возраста немного недозрелый, — шептались в укромных уголках, — но зато он всем существом предан бедняжке Селии, и, право же, она этого заслуживает после всего,

что ей пришлось пережить“. А что до Джулии и меня, то ведь это не новость. „Выражаясь грубо, — пояснил мой кузен Джаспер, как будто он когда-либо выражался иначе, — непонятно, почему вдруг тебе пришла охота жениться“.

Кончилось лето; ликующие толпы встречали Невиля Чемберлена из Мюнхена; Рекс произнес в Палате общин „бешеную“ речь, которая раз навсегда решила его судьбу, хотя как именно должно еще было показать будущее. Адвокаты Джулии, в чьей конторе черные жестяные коробки с надписью „Маркиз Марчмейн“ занимали чуть не целую комнату, начали кропотливую, медлительную процедуру ее развода; мои адвокаты, представители более оперативной фирмы, опережали их на несколько недель. Было необходимо, чтобы Рекс и Джулия официально разъехались, поэтому Джулия впредь до новых перемен осталась у себя в Брайдсхеде, а Рекс перевез свои чемоданы и своего камердинера в их лондонский дом. Протокол против меня и Джулии был составлен у меня на квартире. Свадьба Брайдсхеда была назначена на рождественские каникулы, чтобы его будущие пасынки могли принять в ней участие.

Однажды в ноябрьские сумерки мы с Джулией стояли у окна в гостиной и смотрели, как ветер

хозяйничает в парке и оголяет ветви лип, срывая желтые листья, как гонит их, то взметая вверх, то кружа и раскидывая по цветникам и террасам, по светлым лужам и темной траве, то тут, то там прижимая к стене или оконному стеклу одинокий трепещущий лист и оставляя их наконец у стены наметанными в большие мокрые груды.

— Весной мы их уже не увидим, — сказала Джулия. — А может, и вообще больше никогда…

— Один раз, давно, уезжая отсюда, я уже думал, что больше не вернусь.

— Может быть, через много лет, да только что останется от нас и что останется от всего этого?..

Позади нас в сумраке комнаты открылась и закрылась дверь. Уилкокс прошел в красном свете камина и почтительно остановился у окон в сером отблеске угасшего дня.

— Телефонный звонок, ваша светлость, от леди Корделии.

— От леди Корделии! Откуда она звонила?

— Из Лондона, ваша светлость.

— Уилкокс, как чудесно! Она едет домой?

— Леди Корделия звонила уже по пути на вокзал и предполагает быть здесь после ужина.

— Я не видел ее двенадцать лет, — сказал я; я действительно последний раз виделся с нею в

тот вечер, когда мы ездили вместе ужинать и она обмолвилась о своем желании стать монахиней; в тот вечер, когда я писал парадный интерьер Марчмейн-хауса. — Она была обаятельная девочка.

— Она живет странной жизнью. Сначала этот монастырь; потом, когда там ничего не вышло, война в Испании. Я не видела ее с тех пор. Другие девушки, которые отправлялись с санитарным транспортом, после окончания войны вернулись, но она осталась, помогала людям добираться домой, работала в лагерях для военнопленных. Странная девушка. И знаешь, она выросла совсем некрасивой.

— Ей известно про нас?

— Да, она прислала мне чудесное письмо. Больно было думать о том, что Корделия выросла „совсем некрасивой“, что весь этот горячий запас любви тратится на инъекции и порошок против вшей. Когда она приехала, усталая с дороги, довольно дурно одетая, с поступью женщины, которая не заботится о производимом ею впечатлении, я нашел ее действительно некрасивой. Странно, думал я, как одни и те же составные части в разных сочетаниях образуют и Брайдсхеда, и Себастьяна, и Джулию, и ее. Что она их сестра,

не вызывало сомнений, но в ней не было грации Себастьяна и Джулии, как не было серьезности Брайди. Она производила впечатление деловой и энергичной женщины, привыкшей к обстановке лагерей и перевязочных пунктов, насмотревшейся на простые и великие страдания и потому утратившей способность к более тонким удовольствиям. На вид ей было много больше ее двадцати шести лет; трудная жизнь огрубила ее; постоянная необходимость изъясняться на чужих языках привела к утрате нюансов родной речи; она сидела у огня, слегка расставив ноги, и, когда она сказала: „Хорошо дома“, это прозвучало для меня как урчание собаки, укладывающейся вечером на свою подстилку.

Таковы были впечатления первого получаса, обостренные контрастом с белой кожей и шелковистыми мерцающими волосами Джулии и с моими воспоминаниями о ней самой — девочке.

— Моя работа в Испании кончена, — сказала она. — Власти были отменно любезны, выразили благодарность за все, что я сделала, даже дали медаль и выставили меня вон. Но кажется, здесь тоже скоро будет сколько угодно такой же работы. — Потом она спросила: — Еще не поздно подняться к няне?

— Нет, она просиживает до глубокой ночи у своего приемника.

Втроем мы поднялись в бывшую детскую. Мы с Джулией бывали у няни Хокинс каждый день. Она и мой отец оказались единственными людьми, не подверженными никаким переменам, за все время, что я их помнил, ни тот, ни другая не постарели и на час. Теперь небольшой радиоприемник прибавился к собранию ее простых удовольствий — к молитвеннику, „Книге пэров“, аккуратно обернутой в серую бумагу для лучшей сохранности красного с золотым тиснением переплета, фотографиям и каникулярным сувенирам, разложенным на комоде. Когда мы сообщили ей, что собираемся с Джулией пожениться, она сказала: „Ну что ж, милочка, надеюсь, это все к лучшему“, — ибо ее религия не позволяла ей сомневаться в правоте поступков Джулии.

Брайдсхед не был ее любимцем. Услышав весть о его помолвке, она заметила: „Долго же он собирался“, — а когда ее поиски сведений о родне миссис Маспрэтт по страницам Дебретта оказались бесплодными, заключила: „Ну конечно, поймала она его“.

Мы застали ее, как всегда по вечерам, у камина с чашкой чаю на столике и с рукоделием на

коленях.

— Я знала, что вы придете, — сказала она. — Мистер Уилкокс послал предупредить меня.

— Я привезла тебе кружев, няня.

— Да, милочка, это очень красивые кружева. Совсем как покойница ее светлость нашивала в церковь. Хотя зачем их делают черными, не могу понять, ведь от природы-то кружева белого цвета. Большое спасибо, деточка, очень мило с вашей стороны.

— Можно, я выключу радио, няня?

— Ну конечно. Я на радостях и не заметила, что оно играет. Что это вы сделали со своими волосами?

— Да, ужасно, я знаю. Теперь, когда я вернулась, надо будет всем этим заняться. Няня, голубушка моя.

Теперь, когда мы сидели и разговаривали и любящие глаза Корделии покоились на всех нас, я начал различать, что и у нее тоже есть своя, особенная красота.

— Я видела Себастьяна месяц тому назад.

— Сколько уж, как он уехал! Здоров ли?

— Да не совсем. Я потому к нему и ездила. Ведь от Испании до Туниса рукой подать. Он там у монахов.

— Надеюсь, они там хорошо за ним смотрят. Тоже, наверно, хлебнули с ним горя. Мне он каждое рождество присылает поздравления, да ведь это совсем другое дело, когда бы он сам приехал. Зачем вам всем непременно за границу надо, не могу понять. Ну в точности как его светлость. Когда пошли тут эти разговоры насчет войны с Мюнхеном-то, я так себе и сказала: „Ну вот, а Корделия, Себастьян и его светлость — все трое за границей, какое для них неудобство“.

— Я хотела, чтобы он поехал со мною домой, но он не согласился. Знаешь, у него теперь борода, и он очень набожен.

— Ну, этому я никогда не поверю, даже если увижу своими глазами. Он всегда был настоящий маленький язычник. Брайдсхед, тот был церковная душа, а Себастьян — нет. И борода, подумать только. Когда у человека такая чистая, хорошая кожа. Он всегда казался умытым, хоть бы целый день близко к воде не подходил, а вот Брайдсхеда как ни мой, все равно, бывало, не отмоешь.

— Страшно подумать, — сказала однажды Джулия, — как ты совершенно забыл Себастьяна.

— Он был предтечей.

— Так ты сказал тогда, во время шторма. Но мне иногда кажется, что, может быть, я тоже только

предтеча.

„Может быть, — думал я, ощутив, как ее слова повисли между нами в воздухе, точно клок табачного дыма, чтобы потом растаять как дым и не оставить в душе следа, — может быть, всякая наша любовь — это лишь знак, лишь символ, лишь случайные слова, начертанные мимоходом на заборах и тротуарах вдоль длинного, утомительного пути, уже пройденного до нас многими; может быть, ты и я — лишь некие образы, и грусть, посещающая нас порою, рождается разочарованием, которое мы испытываем в своих поисках, тщась уловить в другом то, что мелькает тенью впереди и скрывается за поворотом, так и не подпустив к себе“.

Я не забыл Себастьяна. Он каждый день был со мною в Джулии, вернее, в нем любил я Джулию в далекие аркадийские дни.

— Звучит не слишком-то утешительно, — сказала Джулия, когда я попытался ей это объяснить. — Откуда мне знать, что в один прекрасный день я не окажусь кем-то еще? По-моему, это удобный предлог бросить бедную девушку.

Я не забыл Себастьяна; каждый камень в том доме был для меня памятью о нем, и теперь, при словах Корделии, расставшейся с ним не далее

как месяц назад, он наполнил все мои мысли. Когда мы вышли из детской, я сказал:

— Расскажите мне о Себастьяне.

— Завтра. Это длинная история. И вот назавтра, прогуливаясь по дорожкам осеннего парка, она мне рассказала:

— До меня дошли сведения, что он умирает. От одного бургосского журналиста, недавно побывавшего в Северной Африке. Речь шла о совершенно опустившемся человеке по фамилии Флайт, о котором говорили, будто он английский лорд; святые отцы из одного монастыря близ Карфагена подобрали его умирающим с голоду и взяли к себе. Вот что я услышала. Я знала, что это не может быть абсолютной правдой — как ни мало мы сделали для Себастьяна, по крайней мере его деньги ему пересылаются, — но выехала, как только смогла.

Все оказалось очень просто. Я, прежде всего, пошла в консульство, и там о нем было известно; он находился в лазарете при одной из миссий. По сведениям консула, в Тунис он приехал в один прекрасный день в автобусе из Алжира и хотел поступить в миссию медицинским братом. Отцы-миссионеры только посмотрели да него и принять отказались. И тогда он начал пить. Он

жил в маленькой гостинице на краю арабского квартала. Я потом там была; это небольшой бар, а наверху несколько номеров. Хозяин там грек. Во всем доме пахнет горячим маслом, и чесноком, и перекисшим вином, и старой одеждой, и там собираются мелкие торговцы-греки, играют в шашки и слушают радио. Там он прожил больше месяца, пил греческую полынную водку, иногда уходил куда-то, они не знали куда, потом возвращался и снова пил. Они боялись, как бы с ним чего не случилось, и иногда незаметно ходили за ним следом, но он бывал только в соборе или же нанимал автомобиль и ездил в монастырь за городом. Его там любили. Его, как видите, по-прежнему любят, где бы и в каком бы состоянии он ни находился. Это его свойство, оно всегда останется при нем. Слышали бы вы, как о нем говорил хозяин гостиницы и все его домочадцы, говорили со слезами на глазах; они, несомненно, грабили его, как только могли, но при этом ухаживали за ним и старались, чтобы он обязательно что-нибудь ел. Их это страшно пугало — что он отказывался есть, что при таких деньгах он был худ как щепка. Кое-кто из тамошних завсегдатаев забрел в гостиницу, пока мы вели этот разговор на своеобразной разновидности французского

языка, и все повторяли на всевозможные лады одно и то же — такой хороший господин, говорили они, больно было видеть, как он бедствует. Они очень дурно отзывались о его родных, которые допустили его до подобного состояния; у них, греков, такого не могло бы случиться, говорили они, и, вероятно, были правы.

Впрочем, все это было уже потом. Из консульства я отправилась прямо в монастырь и разговаривала с отцом игуменом. Это суровый старый голландец, пятьдесят лет проживший в Центральной Африке. Он рассказал мне то, что было известно ему: как Себастьян в один прекрасный день появился в монастыре, действительно с бородой и с чемоданом, и просился к ним в санитары. „Намерение его было совершенно серьезно, — подчеркнул игумен (Корделия изобразила его гортанный выговор; у нее еще в детстве, как я вспомнил, был дар подражания). — На этот счет, пожалуйста, не питайте ни малейших сомнений: он полностью в здравом уме, и намерения его совершенно серьезны“. Он хотел, чтобы его отправили в джунгли, куда-нибудь как можно дальше, к первобытным племенам, к каннибалам. „У нас нет каннибалов“, — сказал отец игумен. Тогда он сказал, хотя

бы к пигмеям, или просто в какую-нибудь дикарскую деревню над рекой, или к прокаженным — к прокаженным лучше всего. Игумен ответил: „Прокаженных у нас много, но они живут в наших лепрозориях под наблюдением докторов и святых сестер. И там все благоустроено“. Он помолчал, подумал и сказал, что, пожалуй, прокаженные — это не совсем то, что ему нужно, а нет ли у них где-нибудь небольшой церкви над рекой — ему непременно хотелось, чтобы была река, — где он мог бы присматривать за порядком в отсутствие священника. Игумен ответил: „Да, такие церкви у нас есть. Теперь расскажите мне о себе“. — „О, я ничего собой не представляю“, — сказал он. „Нам случается видеть людей со странностями, — Корделия снова обратилась к подражанию, — он, безусловно, человек со странностями, но намерение его было вполне серьезно“. Отец игумен завел речь о послушничестве и учении и заметил: „Вы не молоды. И не кажетесь сильным“. Он ответил: „Да. Я не хочу идти в учение. Не хочу делать ничего такого, что связано с учением“. И отец игумен сказал: „Мой друг, вам самому нужен миссионер“, — а он ответил: „Да, это верно“. И он велел ему уйти.

Назавтра он пришел опять. Накануне он

весь вечер пил. Он объяснил, что решил стать послушником и поступить в учение. „Но к несчастью, — сказал отец игумен, — есть такие вещи, которые для человека, работающего в джунглях, недопустимы. Одна из таких вещей — пьянство. Это не худший из пороков и, однако же, совершенно губительный, перечеркивающий все усилия. И я отослал его“. Тогда он стал приходить по два три раза в неделю, неизменно пьяный, так что в конце концов игумен распорядился, чтобы привратник больше не впускал его. Я сказала: „Боюсь, он причинил вам очень много беспокойства“, — но таких вещей они там, конечно, не понимают. Отец игумен просто ответил: „Я не видел, чем я могу ему помочь, кроме молитвы“. Он очень святой старец и различает это в других.

— Что — это? Святость?

— О да, Чарльз, это вам надо понять в Себастьяне. Ну вот, потом в один прекрасный день они нашли Себастьяна у главных ворот без сознания. Он пришел из города пешком — обычно он нанимал автомобиль, — упал и пролежал там всю ночь. Сначала они подумали, что он просто опять пьян, но потом убедились, что он очень болен, и положили его в лазарет, и он все это время был там.

Я пробыла с ним две недели, пока не миновал кризис. Он выглядел ужасно, старик с лысиной и с растрепанной бородой, но такой же милый, как раньше. Его положили в отдельную комнату едва ли больше монашеской кельи, с распятием на выбеленной стене и с железной кроватью. Сначала он почти не мог говорить и нисколько не удивлялся моему появлению; потом удивился, но тогда уже не хотел говорить; и только уже перед самым моим отъездом рассказал мне обо всем, что с ним было. Почти все это касалось Курта, его немецкого друга. Вы его видели и все знаете сами. Наверно, отвратительная личность, но Себастьяну, из за того что он мог за ним ухаживать, было с ним хорошо. Он рассказывал, что одно время даже совсем уже было перестал пить, пока они жили вместе с Куртом. Курт болел, и у него была незаживающая рана. Себастьян выходил его. Потом, когда Курт поправился, они поехали в Грецию. Знаете, как в немцах иногда пробуждается чувство порядочности, когда они оказываются в классической стране. Казалось, на Курта это подействовало. Себастьян говорит, что в Афинах он почти приобрел облик человеческий. Но потом он попал в тюрьму — за что, я так толком и не поняла, как будто бы особой вины

его в этом не было — произошла какая-то драка с каким-то официальным лицом. Как только он был интернирован, он попал в поле зрения германских властей. В это время они как раз свозили немецких подданных со всего света, чтобы сделать из них нацистов. Курт не хотел уезжать из Греции, но грекам он был не нужен, и потому вместе с другими искателями приключений он прямо из тюрьмы был под конвоем препровожден на пароход и отправлен на родину.

Себастьян поехал за ним и целый год не мог напасть на след. Но потом он его все же нашел в каком-то провинциальном городке, облаченного в форму штурмовика. Сначала он отказывался иметь с Себастьяном дело, изрыгал весь набор официальных словес о возрождении фатерланда, о сыновнем долге перед родиной, об обретении своего „я“ в судьбах нации. Но это не пустило в нем глубоких корней. Шесть лет с Себастьяном обучили его большему, чем один год с Гитлером; в конце концов он от всего отказался, признал, что ненавидит Германию и что хочет выбраться оттуда. Не знаю, насколько это была просто тяга к легкой жизни, к праздности за Себастьянов счет, к теплым средиземноморским купаниям, прибрежным кафе, вычищенной обуви по утрам.

Себастьян говорит, что этим все не исчерпывалось, что в Афинах Курт уже начал становиться человеком. Может быть, он и прав. Как бы то ни было, он решил сделать попытку вырваться. Но у него ничего не вышло. У него всегда, по словам Себастьяна, все кончалось плохо, что бы он ни затеял. Его поймали и посадили в концентрационный лагерь. Себастьяну не удалось поехать за ним, он не получал от него никаких известий и не мог даже узнать, в каком лагере он находится; так он провел в Германии еще почти год, опять много пил и однажды, будучи сильно пьян, услышал от собутыльника, который, как оказалось, только что приехал из того же лагеря, куда заключили Курта, что Курт в первую же неделю повесился в своем бараке.

На этом Европа для Себастьяна кончилась. Он возвратился в Марокко, где счастливо жил прежде, и понемногу перебирался по побережью из города в город, покуда однажды, в период протрезвления — запои у него бывают теперь почти через равные промежутки времени, — ему не пришла мысль податься к дикарям. И вот он обратился в монастырь.

Я не звала его домой, я понимала, что он не поедет, а он был еще слишком слаб, чтобы вступать

в пререкания. Когда я уезжала, он был настроен вполне счастливо. Ему, разумеется, никогда не удастся поехать в джунгли или вступить в орден, но отец игумен возьмет его под свое покровительство. У них возникла мысль сделать его, так сказать, помощником привратника; в божьих домах всегда есть разные странные служители, люди, не сумевшие приспособиться ни к монастырской, ни к светской жизни. Я и сама, вероятно, отношусь к их числу. Но так как я не пью, меня легче использовать.

Мы достигли наиболее удаленной точки нашего пути — каменного мостика над плотиной в конце последнего и самого маленького пруда; внизу под нами высоко стоящие воды с шумом низвергались в реку. Дальше дорожка делала поворот и вела обратно к дому Мы остановились у парапета, глядя на темную воду.

— У меня была гувернантка, которая в один прекрасный день спрыгнула с этого моста и утонула.

— Да, я знаю.

— Откуда?

— Это было первое, что я о вас услышал, — еще до того, как мы познакомились.

— Как странно.

— Вы рассказали про Себастьяна Джулии?

— Только в основных чертах; не так подробно, как вам. Она ведь никогда не любила его так, как любим мы.

„Любим“. Это прозвучало мне упреком; для Корделии у глагола „любить“ не было прошедшего времени.

— Бедный Себастьян! — сказал я. — Как это грустно. Какой его ждет конец?

— Мне кажется, я могу вам точно сказать, Чарльз. Я знала и других таких, как он, и верю, что они очень близки и милы богу. Он так и будет жить, наполовину среди братии, наполовину сам по себе, со своей неизменной метлой и связкой ключей. Старшие из святых отцов будут его любить, молодые послушники будут над ним подсмеиваться. И все будут знать о его запоях — примерно раз в месяц он будет куда-то пропадать на два-три дня, и они будут кивать и говорить с улыбкой:

„Старина Себастьян снова закутил“, — а вернувшись, встрепанный и понурый от стыда, будет несколько дней особенно горячо молиться. У него, наверно, появятся тайники в монастырском саду, где он будет держать бутылку и потихоньку к ней прикладываться. Всякий раз, когда пона-

добится сопровождать посетителей, говорящих по-английски, это будет поручаться ему, и гости будут им очарованы и станут расспрашивать о нем и, вероятно, услышат в ответ, что он из очень знатной у себя на родине семьи. Если он проживет долго, то станет для нескольких поколений миссионеров во всех концах земли незабываемым старым чудаком, связанным в их памяти со светлыми годами их ученья, и они будут поминать его в своих молитвах. У него разовьются свои маленькие ритуалы, свои привычки в общении с богом; его можно будет увидеть в храме в самое неожиданное время и не застать там, когда собираются все. Потом в одно прекрасное утро его подберут у ворот умирающим и во время соборования только по глазам увидят, что он еще в сознании. И поверьте, это не самый скверный способ прожить жизнь.

Я вспомнил юношу с плюшевым мишкой под сенью цветущих каштанов и сказал:

— Да. Но это трудно было предвидеть. Я надеюсь, он не страдает?

— Думаю, что страдает. Кто может себе представить, какие страдания испытывает человек с таким увечьем, как у него, — лишенный собственного достоинства, лишенный воли? Невозможно

быть святым, не страдая. У него это приняло такую форму… Я видела столько страданий за последние годы; и столько еще предстоит всем нам в самом близком будущем. Это — родник любви… — И, снисходя к моему язычеству, она добавила: — Там очень красиво, где он сейчас живет, — белые аркады у моря, колокольня, зеленые грядки с овощами и монах, поливающий их на закате. Я засмеялся:

— Вы знали, что я не смогу понять?

— Вы и Джулия… — отозвалась она. А потом, уже по дороге к дому, вдруг спросила: — Скажите, когда вы вчера меня увидели, подумали вы: „Бедняжка Корделия, была такое милое дитя, а выросла некрасивая и набожная старая дева, посвятившая себя благотворительности“? Подумали вы: „Загубленная жизнь“?

Было не время кривить душой, и я ответил:

— Да. Подумал. Но сейчас я уже в этом не так уверен.

— Забавно, — сказала она. — Именно это слово пришло мне в голову при виде вас и Джулии. Когда мы вчера сидели с няней в детской, я подумала: „Загубленная страсть“.

Она говорила с мягкой, еле уловимой насмешкой, унаследованной от матери, но в тот же вечер

мне с болезненной явственностью вспомнились эти ее слова.

В тот вечер на Джулии был расшитый китайский халат, в котором она часто выходила в Брайдсхеде к столу, когда мы ужинали одни; тяжелые жесткие складки китайской ткани подчеркивали ее покойную грацию; стройная шея красиво поднималась из гладкого золотого круга, охватывающего ворот, ладони неподвижно покоились среди драконов у нее на коленях. Сколько вечеров я так любовался ею, не в силах отвести глаз, но сегодня, когда она сидела в двойном тусклом свете, между камином и затененной лампой, а у меня перехватывало дыхание от её красоты, мне вдруг подумалось: „Когда я уже видел ее вот такой же? Какое видение она мне сейчас напоминает?“ И я вспомнил, что так она сидела тогда на пароходе перед штормом и казалась такой же, как сейчас, потому что сейчас к ней вернулось то, что я считал в ней утраченным безвозвратно, — магическая печаль, которая привлекла меня к ней, потерянный, погубленный вид, как бы говорящий: „Ну разве для этого я создана?“

Ночью, в темноте, я проснулся и долго лежал, перебирая в памяти разговор с Корделией. Мне вспомнилось, как я сказал: „Вы знали, что я не

смогу понять“. Сколько раз в жизни, думалось мне, я вот так останавливался вдруг на полном скаку, словно лошадь, испугавшаяся препятствия, и пятился, не слушаясь шпор, не решаясь даже вытянуть шею и обнюхать то, что встретилось на пути.

И еще другой образ представился мне — арктическое жилище и в нем одинокий зимовщик-охотник среди своих мехов при керосиновой лампе и горящем очаге; в хижине у него сухо и тепло и все убрано и чисто, а за стенами свирепствует последняя зимняя пурга и наметает сугроб к самой двери. Огромный белый груз в полном безмолвии налегает на бревна, засов дрожит в скобе; с каждой минутой все выше растет наметаемый в темноте сугроб, а когда, наконец, ветер стихнет и лучи проглянувшего солнца упадут на обледенелый склон и начнется медленное таяние, где-то высоко вверху сдвинется снежный пласт, заскользит, обрушится, набирая силу, и вот уже весь склон понесется вниз, и тогда маленькая, освещенная лампой хижина распахнется, расколется и покатится вниз, скрываясь из глаз, низвергаясь с лавиной в глубокое ущелье.

Глава пятая

Мой бракоразводный процесс — вернее, не мой, а моей жены — был назначен примерно в одно время со свадьбой Брайдсхеда. Дело о разводе Джулии должно было слушаться только на следующей сессии, а пока всеобщая чехарда — мои вещи перевозились из Дома священника ко мне на квартиру, вещи моей жены — из моей квартиры в Дом священника, вещи Джулии — из лондонского дома Рекса и из Брайдсхеда ко мне на квартиру, а Рекса — из Брайдсхеда в его лондонский дом и вещи миссис Маспрэтт — из Фалмута в Брайдсхед — была в полном разгаре, и все мы так или иначе чувствовали себя бездомными, как вдруг все приостановилось, и лорд Марчмейн с тем же вкусом к неуместным драматическим эффектам, каким отличался и его старший сын, объявил о своем намерении ввиду осложнившегося международного положения возвратиться в Англию и провести свои преклонные лета в отчем доме.

Единственным членом семьи, которому эта неожиданная перемена могла оказаться во благо, была Корделия, всеми заброшенная в недавней

суматохе. Правда, Брайдсхед обратился к ней с формальным приглашением считать его дом своим, сколько ей будет желательно, но, когда стало известно, что ее невестка собирается сразу же после свадьбы поселить там на каникулы детей под надзором своей сестры и сестриной подруги, Корделия тоже решила переехать и собиралась поселиться в Лондоне на холостяцкой квартире. Теперь же она за одну ночь превратилась, подобно Золушке, во владычицу замка, а ее брат с женой, которые со дня на день должны были стать там полноправными хозяевами, оказались без крыши над головой; документы о передаче недвижимого имущества, переписанные набело и подготовленные на подпись, были свернуты в трубку, перевязаны веревочкой и спрятаны в одну из черных жестяных коробок, хранящихся в Линкольн-Инне. Миссис Маспрэтт чувствовала себя уязвленной; она вовсе не была честолюбивой женщиной, ее бы вполне удовлетворило что-нибудь гораздо менее роскошное, чем Брайдсхед, но ей так хотелось, чтобы у ее детей было на рождественские каникулы уютное пристанище. Дом в Фалмуте стоял пустой и объявленный к продаже; более того, миссис Маспрэтт, расставаясь со своим прежним обиталищем, естественно, не

воздержалась от кое-каких гордых высказываний о своем будущем доме, так что о возврате в Фалмут вообще не могло быть речи. Она вынуждена была спешно вынести свою мебель из бывшей комнаты леди Марчмейн в старый каретный сарай и снять меблированную виллу в Торквее. Она не была, как я уже говорил, честолюбивой женщиной, но, когда тебе внушают такие надежды, а потом вдруг они лопаются как мыльный пузырь, это неприятно. Люди в деревне, занятые приготовлениями к встрече молодоженов, срочно заменяли на транспарантах букву „Б“ на букву „М“ и на остриях гербовых коронок помещали шарики и добавляли земляничные листья. Все готовились к возвращению лорда Марчмейна.

Известие о его предстоящем приезде прежде всего прибыло его поверенным, потом Корделии, потом Джулии и мне — это были быстро следовавшие одна за другой телеграммы самого противоречивого содержания. Лорд Марчмейн приедет ко дню свадьбы; он приедет после свадьбы, повидавшись с лордом и леди Брайдсхед по пути в Париж; он будет ждать их в Риме; он вообще не может никуда ехать ввиду нездоровья; он уже выезжает; у него неприятные воспоминания о зиме в Брайдсхеде, поэтому он приедет только

к исходу весны, когда установится погода и будет отремонтировано отопление; он приезжает один; он берет с собой своих итальянских слуг; он желает, чтобы о его приезде нигде не сообщалось, и будет вести самую замкнутую жизнь; он собирается дать бал. Наконец была назначена дата в январе, которая и оказалась верной.

Несколькими днями раньше прибыл Плендер. В деле этом были свои сложности. Плендер не принадлежал к Брайдсхедскому дому; он был денщиком лорда Марчмейна в ополчении и с Уилкоксом виделся только однажды по деликатному делу вывоза вещей своего хозяина, когда было решено не возвращаться с войны домой. После этого Плендер считался камердинером и официально сохранял этот статус поныне, однако в последние годы он привлек к делу своего рода вице-камердинера, слугу-швейцарца, на которого возлагалась забота о гардеробе, а также, когда необходимо, помощь по хозяйству, сам же превратился в некоего мажордома среди непостоянного, летучего штата слуг; по телефону он даже рекомендовался иногда секретарем. И теперь им с Уилкоксом предстояла трудная задача найти общий язык.

Однако, по счастью, они понравились друг дру-

гу, и все трудности были урегулированы в серии трехсторонних переговоров с Корделией. Плендер и Уилкокс получили оба звание камер-лакеев с одинаковыми полномочиями, наподобие конногвардейцев и лейб-гвардейцев, причем областью деятельности Плендера оставались личные покои его светлости, а Уилкоксу предоставлялись парадные апартаменты; старший ливрейный лакей получал черную ливрею и производился в дворецкие, а швейцарец по приезде должен был остаться в партикулярном платье и становился полным лакеем; кроме того, предусматривалось всеобщее повышение жалованья в соответствии с новыми титулами, и все были удовлетворены.

Мы с Джулией, уже простившись месяц назад с Брайдсхедом, как мы думали, навсегда, возвратились, чтобы встретить лорда Марчмейна. В день прибытия Корделия поехала на вокзал, мы же остались и должны были приветствовать его дома. День был хмурый, дул порывистый ветер. Дома в деревне и павильоны в парке были украшены; сначала предполагалось, что вечером разведут костер, а на террасе будет играть деревенский духовой оркестр, но от этих планов отказались, и только флаг, который не поднимали двадцать пять лет, развевался над куполом и

хлопал на ветру в низком свинцовом небе. Пусть хриплые голоса беды надсадно кричали в микрофоны Европы и станки военных заводов гудели от напряжения — здесь приезд лорда Марчмейна в родные края все еще оставался событием первостепенного значения.

Поезд прибывал в три часа. Мы с Джулией ждали в гостиной, и вот Уилкокс, державший на проводе начальника железнодорожной станции, объявил: „Поезд показался!“ — и еще через минуту: „Поезд у перрона! Его светлость на пути домой“. Мы вышли на крыльцо и стали ждать в окружении старших слуг. Вскоре из-за поворота аллеи показался „роллс-ройс“, за ним на почтительном расстоянии следовали два фургона. Кортеж подъехал и остановился; первой вышла Корделия, за ней Кара; потом произошла заминка, шоферу был передан плед; подоспевшему лакею — трость; и вот из машины медленно высунулась нога. У дверцы в это время уже стоял Плендер; другой слуга — камердинер-швейцарец — выскочил из фургона; вдвоем они вынули лорда Марчмейна из машины и поставили на ноги; он протянул руку за тростью, схватил ее и несколько мгновений постоял, набираясь сил для восхождения по плоским ступеням парадного

крыльца.

Джулия тихо ахнула и коснулась моей руки. Мы видели его девять месяцев назад в Монте-Карло, и тогда он был прямой и величественный господин, почти не изменившийся с тех пор, как я познакомился с ним в Венеции. Теперь это был старик. Плендер говорил нам, что его хозяин в последнее время недомогает; к этому он нас не подготовил.

Лорд Марчмейн стоял, высохший и согбенный под тяжестью шубы, белый шарф выбился у него из-под воротника, лоб закрывал низко надвинутый суконный картуз, под ним белело морщинистое, старое лицо с покрасневшим от холода носом; глаза слезились, но не от избытка чувств, а от восточного ветра; он тяжело дышал. Кара заправила ему под воротник концы шарфа и что-то шепнула на ухо. Тогда он поднял руку в детской серой вязаной варежке и устало помахал собравшимся на крыльце; потом очень медленно, глядя себе под ноги, поднялся по ступеням и вошел в дом.

С него сняли шубу, картуз, и шарф, и меховую жилетку, которая на нем была под шубой; лишенный этих оболочек, он казался совсем усохшим, но зато более элегантным; неприглядность пол-

ного изнеможения оставила его. Кара поправила ему галстук; он вытер глаза большим клетчатым платком и, опираясь на трость, прошел к камину.

У стены рядом с камином стоял высокий геральдический стул из тех, что были расставлены в прихожей, наверное только ради замысловатых гербов на прямых спинках, — неудобные, с плоскими сиденьями, на которых никто, даже усталый лакей в передней, ни разу не присаживался со дня их появления в доме; здесь и уселся лорд Марчмейн и еще раз утер глаза.

— Холодно, — проговорил он. — Я забыл, как в Англии холодно. С непривычки совсем расклеился.

— Не угодно ли чего-нибудь, ваша светлость?

— Нет, благодарю. Кара, где эти проклятые пилюли?

— Алекс, ведь доктор сказал, не больше трех в день.

— К черту доктора. Я совсем расклеился.

Кара вынула из сумочки синий пузырек, и лорд Марчмейн принял таблетку. Это, казалось, его оживило. Он остался сидеть на стуле, все так же вытянув перед собою длинные ноги и положив подбородок на костяную рукоятку трости, стоя-

щей между колен, но теперь он начал замечать нас, здороваться и отдавать распоряжения.

— Боюсь, я сегодня не совсем в форме; переезд меня вымотал. Надо было переночевать в Дувре. Уилкокс, какие комнаты для меня приготовлены?

— Ваши прежние, милорд.

— Не подойдут. Покуда я не встану на ноги. Слишком много ступеней. Нужно на первом этаже. Плендер, приготовьте мне постель на первом этаже.

Плендер и Уилкокс обменялись тревожными взглядами.

— Очень хорошо, милорд. Какую же комнату вы желаете? Лорд Марчмейн задумался на мгновение.

— Китайскую гостиную. И, Уилкокс, „королевино ложе“.

— Китайскую гостиную, милорд? „Королевино ложе“?

— Да, да. Возможно, мне придется провести там некоторое время, ближайшие две-три недели.

Китайской гостиной на моей памяти никогда не пользовались; в нее и войти-то по-настоящему было нельзя дальше тесного выгороженного веревками пятачка сразу за дверью, где толпились

посетители в те дни, когда в дом открывался доступ для публики; это был нежилой роскошный зал-музей чиппендельской резьбы, фарфора, лака и разрисованных драпировок; „королевино ложе“ тоже было музейным экспонатом под огромным бархатным балдахином, как в соборе святого Петра. Неужели, подумал я, лорд Марчмейн еще в солнечной Италии задумал для себя этот пышный смертный одр? Или мысль эта пришла ему в голову под холодным, косым дождем во время нескончаемого, мучительного путешествия? А может быть, она появилась только сию минуту, как некое внезапно пробудившееся воспоминание детства, как давняя мечта — „Вот стану взрослым, буду спать на „королевином ложе“ в Китайской гостиной“, — как апофеоз взрослого великолепия?

Едва ли что-либо могло произвести в доме такой же переполох. День, который должен был стать торжественным, оказался наполнен самой утомительной суетой; горничные растапливали камин, снимали чехлы, приносили простыни; мужчины в фартуках, никогда прежде не появлявшиеся в доме, двигали мебель; были приглашены столяры из деревни, чтобы внести и поставить „королевино ложе“. Его спускали

частями по парадной лестнице, и это продолжалось с перерывами до самого вечера: тяжелые спинки, изрезанные завитками в стиле рококо; обтянутые бархатом карнизы; крученые, с позолотой и бархатной обивкой колонны, служащие подпорками для балдахина; перекладины неполированного дерева, не предназначенные для глаза и выполняющие невидимые конструктивные функции под прикрытием драпировок; плюмажи из раскрашенных перьев, торчащие из вызолоченных страусовых яиц, которые осеняли сверху балдахин; и, наконец, матрацы, каждый из которых, надрываясь, тащило по четыре человека. Лорду Марчмейну словно придавала силы вся эта сумятица, порожденная его капризом; он сидел у огня, наблюдая за происходящим, а мы стояли перед ним полукругом — Кара, Корделия, Джулия и я — и беседовали с ним.

Краска снова появилась у него на лице, и в глазах опять загорелся свет.

— Брайдсхед и его жена обедали со мной в Риме, — рассказывал он. — Поскольку мы здесь в узком семейном кругу, — и его взгляд иронически скользнул с Кары на меня, — я могу говорить без обиняков. Я нахожу все это достойным сожаления. Ее прежний супруг был, насколько мне

известно, моряком и, видимо, в связи с этим не отличался взыскательностью, но как мог мой сын в зрелом возрасте тридцати восьми лет, имея к своим услугам, если только положение в Англии не изменилось самым коренным образом, весьма широкий выбор, остановить его на… э-э-э… видимо, я должен называть ее так, э-э-э… Берил… — И он красноречиво оборвал фразу.

Лорд Марчмейн не выказывал намерения куда-либо перебираться из холла, поэтому немного погодя мы придвинули стулья — те самые геральдические стулья с прямыми спинками, поскольку вся прочая обстановка здесь была чересчур массивной, — и расселись вокруг.

— Я едва ли по-настоящему встану на ноги до наступления лета, — сказал он. — И полагаюсь на вас четверых — вы будете меня развлекать.

В ту минуту мы были бессильны развеять воцарившееся уныние, наоборот, он держался среди нас бодрее всех.

— Расскажите, — предложил он, — как Брайдсхед познакомился со своей будущей супругой. Мы рассказали что знали.

— Спичечные коробки, — сказал он, — Спички. По-моему, она уже не способна родить.

Нам подали чай прямо к камину.

— В Италии, — рассказывал лорд Марчмейн, — никто не верит, что будет война. Считается, что все „устроится“. Джулия, ты, как я полагаю, больше не имеешь доступа к политическим новостям? Кара вот у нас, по счастью, британская подданная. Это обстоятельство она, как правило, не склонна афишировать, но оно еще, может быть, окажется кстати. Официально она именуется миссис Хикс, не правда ли, дорогая? О Хиксе мы знать ничего не знаем, но будем ему очень обязаны, если дело дойдет до войны. А вы, — перенес он огонь на меня, — вы, я не сомневаюсь, станете штатным рисовальщиком?

— Нет. Я как раз сейчас веду переговоры о месте офицера Специального запаса.

— О, напрасно, напрасно. Вам непременно надо быть рисовальщиком. В прошлую войну у меня был один при эскадроне, несколько недель — пока мы не вышли на передовую.

Эта язвительность в нем была новостью. Я всегда ощущал под пластом его учтивых манер каменный костяк недоброжелательства, теперь же он проступил, как нос, лоб, подбородок и скулы на его обтянутом кожей лице.

„Королевино ложе“ было готово только с наступлением темноты, и мы отправились

посмотреть на него, возглавляемые лордом Марчмейном, который теперь вполне бодро шагал через анфиладу комнат.

— Поздравляю. Все выглядит великолепно. Уилкокс, помнится, я видел когда-то серебряный кувшин с тазом — они, по-моему, стояли в комнате, которую мы зовем Кардинальской гардеробной; что, если поставить их вот на этой консоли? Теперь можете прислать ко мне Плендера и Гастона, а багаж подождет до завтра, достаточно только дорожного несессера и моих ночных вещей. Плендер знает. Если вы теперь оставите меня с Плендером и Гастоном, я лягу. Увидимся позднее; вы будете ужинать здесь со мною и заботиться о том, чтобы я не скучал.

Мы направились к двери, но он окликнул меня.

— Живописное ложе, правда?

— Да, очень.

— Не хотите нарисовать? И озаглавить: „На смертном одре“?

— Да, — подтвердила Кара, — он вернулся домой умирать.

— Но ведь днем, когда вы только приехали, он так уверенно говорил, что к весне поправится.

— Это потому, что ему было очень худо. В пол-

ном рассудке он сознает, что умирает, и мирится с этим. Его болезнь идет со спадами и подъемами; один день, иногда даже несколько дней подряд он бодр и оживлен, и тогда он готов к смерти, потом ему становится худо, и тогда он боится. Не знаю, как получится дальше, когда ему будет становиться все хуже и хуже. Это покажет время. Римские доктора не дают ему и года. Завтра, по-моему, должен приехать кто-то из Лондона, от него мы узнаем больше.

— Но что с ним?

— Сердце. Какое-то ученое слово у него на сердце. Он умирает от ученого слова.

Вечером лорд Марчмейн был в отличном расположении духа; комната приобрела хогартовский вид — у гротескного „китайского“ камина стоял стол, накрытый на четыре персоны, а на кровати, утопая в подушках, полулежал хозяин, попивая шампанское, отведывая, расхваливая и отставляя многочисленные кушанья, приготовленные по случаю его возвращения домой. В честь такого события Уилкокс выставил на стол золотой сервиз, который на моей памяти никогда не употреблялся; и это золото, и зеркала в золоченых рамах, и резьба по дереву, и пышные драпировки огромной кровати, и богдыханский халат Джулии

вместе создавали впечатление рождественской пантомимы, какой-то пещеры Аладдина.

Только под самый конец, когда мы уже собрались уходить, бодрость оставила его.

— Я не усну, — ворчливо сказал он. — Кто будет сидеть со мной? Кара, carissima, ты совсем без сил. Ты, Корделия, не останешься ли пободрствовать часок в этой Гефсимании?

Наутро я справился у нее, как прошла ночь.

— Он заснул почти сразу же. В два я зашла к нему развести огонь; свет горел, но он опять спал. Очевидно, он просыпался и зажег лампу; для этого ему надо было встать с постели. Я думаю, что он боится темноты.

Естественно получилось, что Корделия с ее лазаретным опытом взяла на себя уход за отцом. Доктора, осматривавшие в тот день лорда Марчмейна, по собственному почину обращались со своими указаниями к ней.

— Пока ему не станет хуже, — объявила она, — я и камердинер управимся сами. Без нужды не будем приглашать в дом сиделок.

На этой стадии болезни докторам нечего было рекомендовать, кроме покоя и болеутоляющих на случай приступа.

— Сколько это продлится?

— Леди Корделия, я знаю людей, благополучно доживших до весьма преклонного возраста, которым доктора тридцать лет назад отводили не больше недели. Медицина научила меня одному: никогда не пророчествовать.

Чтобы сказать ей это, оба эскулапа проделали долгий путь из Лондона в Брайдсхед; здесь их ждал местный врач, получивший те же указания, но в терминах сугубо профессиональных.

Вечером лорд Марчмейн вернулся к разговору о своей новой невестке; собственно, он держал ее в уме весь день, нет-нет да и роняя какой-нибудь язвительный намек; но теперь, откинувшись на подушки, он разговорился о ней прямо.

— Я не был прежде особенно заражен домашним идолопоклонством, — рассуждал он, — однако признаюсь, мысль, что место, некогда принадлежавшее в этом доме моей матери, должна занять… э-э-э… Берил, вызывает у меня содрогание. Почему эта гротескная чета должна доживать здесь свой век в бездетности, на погибель роду и дому? Не скрою от вас, Берил мне решительно антипатична.

Может быть, причина в том, что наше знакомство состоялось именно в Риме. Кто знает, не было бы все иначе в каком-нибудь другом месте?

Хотя не представляю себе, где бы я мог с ней встретиться и не испытать неприязни? Мы обедали у Раньери — это тихий, маленький ресторанчик, где я бываю уже много лет, — вы, без сомнения, знаете его. Берил заняла собою всю залу. Угощал, разумеется, я, хотя послушать, как Берил пичкала моего сына, и можно было подумать как раз наоборот. Брайдсхед с детства страдает склонностью к обжорству; жена, которая заботится о его благе, должна была бы ограничивать его. Впрочем, это неважно.

Она, без сомнении, слышала обо мне как о человеке, ведущем беспутную жизнь. Ее обращение со мною я не могу назвать иначе, как игривым. Старый греховодник — вот кем я был в ее глазах. Вероятно, ей приходилось иметь дело со старыми гуляками-адмиралами, и она знает, как с ними ладить… Никогда бы не смог воспроизвести ее манеру разговора. Приведу только один пример.

Утром они были на аудиенции в Ватикане, получали благословение своему браку — я не очень-то прислушивался, нечто в этом духе, как я понял, уже когда-то происходило — с предыдущим супругом, при предыдущем папе. Она довольно живо описала, как в тот раз она была допущена вместе с целой процессией молодоже-

нов, главным образом итальянцев, самых разных сословий, кое-кто из совсем простых девушек был прямо в подвенечных платьях, и как все разглядывали друг друга, молодые мужья сравнивали достоинства своих жен и так далее. И в конце она сказала: „На этот раз мы, естественно, были одни, и знаете ли, лорд Марчмейн, какое у меня было чувство? Будто это я привела под благословение свою невесту“.

Это прозвучало неприлично. Я еще не вполне понял, что именно она хотела сказать. Не было ли здесь намека на несомненную девственность моего сына, как вы думаете? По-моему, это вполне правдоподобно. И вот в любезностях подобного рода мы и провели вечер.

По-моему, здесь она будет не на месте, как вам кажется? Кому же мне оставить Брайдсхед? Ведь ограничения на порядок наследования кончились на мне. Себастьян, увы, исключается. Кто хочет этот дом? Quis? Может быть, ты, Кара? Да нет, что я, конечно, нет. Корделия? По-моему, лучше всего будет, если я оставлю его Джулии и Чарльзу.

— Что ты, папа? Он принадлежит Брайди.

— И… Берил? В ближайший день приглашу Грегсона, и мы посмотрим, как обстоят дела. Дав-

но пора подновить мое завещание — в нем уйма несообразностей и анахронизмов… Право, мне нравится мысль поселить здесь Джулию; ты так красива сегодня, моя дорогая, так красива всегда; гораздо, гораздо уместнее.

Вскоре после этого он действительно послал в город за своим поверенным, но в день его приезда лорд Марчмейн лежал в припадке и видеть его не смог. „Времени еще много, — произнес больной, мучительно ловя ртом воздух. — Как-нибудь в другой раз. Когда я буду чувствовать себя лучше“. Но мысль о выборе наследника не покидала его, и он часто заговаривал о том времени, когда мы с Джулией будем мужем и женой и станем владельцами Брайдсхеда.

— Как ты думаешь, он в самом деле хочет оставить его нам? — спросил я Джулию.

— Думаю, что да.

— Но это было бы чудовищно по отношению к Брайди.

— Ты так считаешь? А по-моему, он не очень дорожит этим домом. Я вот дорожу, как ты знаешь. Им с Берил было бы гораздо уютнее в каком-нибудь доме поменьше.

— Значит, ты собираешься согласиться?

— Конечно. Папино право завещать Брайдсхед

кому он захочет. Мне кажется, нам с тобою было бы здесь очень хорошо.

Это открывало неожиданные виды — подобно тому как когда-то, в мой первый приезд с Себастьяном, поворот аллеи вдруг открыл вид на уединенную долину с цепочкой прудов, уходящих вниз и вдаль, а на переднем плане высился старинный дом, и весь остальной мир был отринут и забыт; здесь был свой мир — мир тишины, любви и очарования, греза воина на дальнем бивуаке; так, наверное, вдруг открываются в пустыне высокие колокольни храма после многих дней голода и ночей шакальего лая. Должен ли я был упрекать себя, если это видение порою захватывало меня?

Недели недуга тянулись своим чередом, и вся жизнь в доме зависела от колеблющегося состояния больного. Были дни, когда лорд Марчмейн, одетый, стоял у окна или, тяжело опираясь на руку слуги, бродил от камина к камину по комнатам нижнего этажа; когда приходили и уходили посетители, соседи, и служащие в имении, и какие-то люди с делами из Лондона; когда вскрывались бандероли с новыми книгами и о них велись оживленные разговоры; когда в Китайскую гостиную вкатывали рояль; однажды на

исходе февраля, в неожиданно солнечный, единственный погожий день, он даже распорядился подать машину, вышел в холл, был облачен в шубу и уже дошел до входной двери. Но потом вдруг раздумал, как-то обмяк, пробормотал: „Не сегодня. Позже. Как-нибудь летом“, оперся на руку слуги и был препровожден к своему креслу. В другой раз ему вдруг вздумалось совсем перебраться из Китайской гостиной, потому-де, что chinoiserie[34] мешает ему спать — он по ночам не гасил света, — успел отдать подробные распоряжения о переносе всего, что ему может быть нужно, в Расписную гостиную, однако снова в последнюю минуту пал духом, все распоряжения отменил и остался на прежнем месте.

Но были дни, когда весь дом, притихнув, слушал, как лорд Марчмейн, сидя высоко в подушках, с трудом, мучительно дышит. Правда, и тогда он хотел, чтобы мы непременно были рядом; одиночество и днем и ночью было ему невыносимо; когда он не мог говорить, его взгляд следовал за нами по комнате, и, если кто-нибудь выходил, вид его выражал беспокойство, и Кара, часами сидевшая с ним об руку прямо на кровати, успо-

---

[34] Примечания: 34
Китайщина (франц.)

каивала его, говоря: „Ничего, ничего, Алекс, она сейчас придет“.

Возвратился из свадебного путешествия Брайдсхед с женой и провел с нами несколько дней; лорду Марчмейну в это время опять сделалось хуже, и он отказался допустить их к себе. Берил была здесь впервые, и никого не могло удивить, что она выказывала естественный интерес к тому, что чуть было уже не стало, а теперь вновь обещало вскоре стать ее домом. Берил этого естественного интереса не скрывала, за время пребывания в Брайдсхеде осмотрела все довольно тщательно. Среди беспорядка, воцарившегося вокруг в связи с болезнью лорда Марчмейна, ей, очевидно, многое представилось запущенным и требующим хозяйского вмешательства, и она несколько раз ссылалась в разговоре на то, как ведутся столь же обширные хозяйства в других местах, где ей случалось бывать. Днем Брайдсхед возил ее с визитами к арендаторам, по вечерам же она бодрым и самоуверенным тоном толковала со мною о живописи, с Корделией о госпиталях и с Джулией о туалетах. Тень предательства, угроза краха их справедливых ожиданий — все это ощущалось мною, но не ими. Я испытывал смущение в их обществе, но для Брайдсхеда это было

не ново; в маленьком поле неловкости, всегда образовывавшемся вокруг него, моя виноватость осталась незамеченной.

Постепенно становилось очевидно, что лорд Марчмейн их видеть не намерен. Брайдсхед без супруги был допущен для краткого прощания, после чего они отбыли. „От нашего пребывания здесь нет никакой пользы, — пояснил Брайдсхед. — И оно болезненно для Берил. Если станет хуже, мы приедем“.

Приступы делались длительнее и наступали все чаще; была приглашена сиделка. „В жизни не видела такой комнаты, — возмутилась она. — Ни в одном доме нет ничего подобного. Подумать только, никаких удобств“. Она сделала попытку переместить больного наверх, где в кранах — как она привыкла — была вода, где можно было оборудовать комнатку и для нее самой и где стояли „нормальные“ кровати, которые можно обойти и дотянуться до пациента; но лорд Марчмейн не пожелал об этом и слышать. Еще через некоторое время, когда ночи и дни стали для него неразличимы, появилась и вторая сиделка; из Лондона опять приехали специалисты; был прописан еще один сильнодействующий препарат, но, видно, тело больного уже устало от лекарств и никак не

отзывалось на новое лечение. А вскоре хороших полос вообще больше не стало, а были только короткие колебания в скорости, с какой шло ухудшение.

Вызвали Брайдсхеда. Были пасхальные каникулы, и Берил осталась со своими детьми. Он приехал один и, молча постояв несколько минут перед отцом, который молча сидел и смотрел на него, вышел из комнаты и, возвратясь в библиотеку, где мы все сидели, сказал: „Папе нужен священник“.

Тема эта затрагивалась не впервые. Еще раньше, вскоре по приезде лорда Марчмейна домой, ему нанес визит священник местного прихода (после того, как закрыли Брайдсхедскую часовню, в Мелстеде появилась новая приходская церковь). Тогда Корделия выпроводила его с вежливыми извинениями, но после его ухода сказала: „Еще не время. Он еще папе не нужен“.

При этом присутствовали Джулия, Кара и я; каждому из нас было что сказать по этому поводу; каждый из нас начал было что-то говорить, потом раздумал, и сказано ничего не было. В разговорах вчетвером к этой теме больше не возвращались, но с глазу на глаз со мной Джулия сказала:

— Чарльз, я предвижу серьезные церковные

затруднения.

— Неужели они не дадут ему умереть спокойно?

— Для них „спокойно“ — это нечто совсем другое.

— Это было бы надругательством. Никто не мог бы яснее доказать всей своей жизнью собственного отношения к религии. И вот теперь, когда ум его слабеет и сил бороться становится все меньше, они сбегутся и объявят, что он раскаялся на одре смерти. Раньше я все же питал какое-то уважение к их церкви. Но если они это сделают, я буду знать: все, что говорят о них глупые, тупые люди, правда! Это действительно сплошное суеверие и мошенничество. — Джулия молчала. — Ты не согласна? — Джулия все так же хранила молчание. — Ты разве не согласна?

— Не знаю, Чарльз. Просто не знаю.

С тех пор, хотя вслух ничего не произносилось, я чувствовал, что эта проблема постоянно присутствует и растет с каждой неделей болезни лорда Марчмейна, я сознавал это, когда Корделия уезжала по утрам к ранней обедне, и потом, когда вместе с ней стала ездить Кара: я видел маленькое облачко, не более человеческой ладони величиной, которое должно было разрастись и

разразиться штормом.

И вот теперь Брайдсхед на свой неуклюжий, беспощадный лад высказал все прямо.

— Ах, Брайди, ты думаешь, он согласится? — вздохнула Корделия.

— Об этом я позабочусь, — ответил Брайдсхед. — Завтра же приведу к нему отца Маккея.

Облака сгущались, но гроза еще не разразилась: никто из нас не сказал ни слова. Кара и Корделия вернулись к больному; Брайдсхед поискал себе книгу, нашел и оставил нас.

— Джулия, — сказал я, — как нам остановить этот балаган?

Она сначала не ответила, потом, помолчав, спросила:

— Зачем?

— Ты знаешь не хуже меня. Это… это просто недостойная затея.

— Кто я такая, чтобы возражать против недостойных затей? — грустно сказала она. — Да и какой вред от этого может быть? Давай спросим доктора.

Мы спросили доктора, он ответил:

— Трудно сказать. Конечно, это может его встревожить; с другой стороны, я знал случаи, когда это оказывало на больного удивительно

успокаивающее действие, а в одном случае даже имело несомненный стимулирующий эффект. И, как правило, это служит большим утешением для близких. Так что, мне кажется, решение здесь за лордом Брайдсхедом. Имейте в виду, что оснований торопиться нет никаких. Сегодня лорд Марчмейн очень слаб; завтра он может опять почувствовать себя вполне сносно. Разве в таких случаях не принято немного повременить?

— От него не очень-то много помощи, — сказал я Джулии, когда мы ушли.

— Помощи? Право, я не вполне понимаю, почему ты так хлопочешь о том, чтобы мой отец не получил последнего причастия.

— Потому что это сплошное шаманство и лицемерие.

— Да? Во всяком случае, оно существует уже две тысячи лет. И непонятно, какой смысл вдруг теперь негодовать по этому поводу. — Голос ее зазвенел; последние месяцы она легко приходила в ярость. — Бога ради, напиши в „Тайме“, выйди и произнеси речь в Гайд-парке, устрой уличные беспорядки под лозунгом „Долой папизм!“. Только меня, пожалуйста, оставь в покое. Какое дело тебе или мне — повидается ли мой отец со священником здешнего прихода?

Мне были знакомы эти приступы озлобления у Джулии, как тогда, при луне у фонтана, и я смутно различал даже их истоки; я знал, что слова тут бессильны. Да я и не мог произнести никаких слов, ибо ответ на ее вопрос еще не созрел, еще покоился в моей душе туманным предчувствием, что здесь решается судьба не одной души, что на высоких склонах уже пришли в движение пласты снега.

На следующее утро к завтраку спустились Брайдсхед и я; с нами завтракала ночная сиделка, только что освободившаяся с дежурства.

— Он сегодня гораздо бодрее, — сообщила она. — Прекрасно спал почти три часа. Когда пришел Гастон с бритвенным прибором, он был очень разговорчив.

— Превосходно, — сказал Брайдсхед. — Корделия поехала к обедне. Она привезет отца Маккея еще к завтраку.

С отцом Маккеем я встречался несколько раз; это был немолодой коренастый и добродушный ирландец из Шотландии, и он имел обыкновение каждый раз, когда мы встречались, задавать мне такие вопросы: „Как вы находите, мистер Райдер, художник Тициан более артистичен, чем художник Рафаэль, или нет?“; более того, он запоминал

мои ответы, приводя меня этим в еще большее смущение: „Если вернуться, мистер Райдер, к тому, что вы сказали в прошлый раз, когда я имел удовольствие вас видеть, и беседовать с вами, правильно ли будет заключить, что художник Тициан…“ И под конец обычно делал замечание наподобие нижеследующего: „Да, это великое благо для человека — иметь такие таланты, как у вас, мистер Райдер, и время, чтобы развивать их“. Корделия прекрасно ему подражала.

В это утро он плотно позавтракал, проглядел заголовки в газете и наконец профессионально бодрым голосом произнес:

— А теперь, лорд Брайдсхед, наш страдалец уже, наверное, готов повидаться со мной, как вы думаете?

Брайдсхед повел его к больному; Корделия пошла следом, и я остался за столом один. Не прошло и минуты, как за дверью опять послышались голоса всех троих:

— …могу только извиниться.

— …бедный страдалец. Поверьте мне, все потому, что он увидел новое лицо, в этом все дело — в неожиданности. Это так понятно.

— …отец, простите… привезти вас так издалека, и вот…

— Не думайте об этом, леди Корделия. Да в меня бутылки швыряли. Дайте ему время. Я знаю случаи, когда и хуже бывало, а как прекрасно умирали. Молитесь за него… Я приеду еще… а теперь, если позволите, я нанесу краткий визит миссис Хокинс. Да, конечно, я прекрасно знаю к ней дорогу.

Корделия и Брайдсхед вошли в столовую.

— Как я понимаю, визит к больному не увенчался успехом?

— Не увенчался. Корделия, ты отвезешь отца Маккея домой, когда он спустится от няни? Я должен позвонить Берил и узнать, когда я ей буду нужен.

— Брайди, это было ужасно. Что нам теперь делать?

— Мы сделали все возможное на сегодняшний день. — И Брайдсхед вышел из комнаты.

Лицо Корделии было серьезно; она взяла с тарелки кусочек ветчины, обмакнула в горчицу и съела.

— Все Брайди, — сказала она. — Я знала, что ничего не выйдет.

— Что произошло?

— Хотите знать? Мы вошли к нему гуськом, Кара читала папе газету. Брайди сказал: „Я привел к

тебе отца Маккея“, а папа сказал: „Отец Маккей, боюсь, вас привели сюда по недоразумению. Я не при смерти, и я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом вашей церкви. Брайдсхед, покажи отцу Маккею, как отсюда выйти“. И тогда мы трое сделали поворот кругом и вышли, и я слышала, как Кара возобновила чтение газеты, вот, дорогой Чарльз, и все.

Я принес это известие Джулии, которая еще лежала в постели; здесь же стоял поднос из-под завтрака и валялись газеты и конверты.

— Камлание не состоялось, — сказал я. — Шаман отбыл восвояси.

— Бедный папа.

— Брайди остался с носом.

Я был очень доволен. Я оказался прав, а все остальные неправы; истина восторжествовала; опасность, которая нависла над Джулией и мною с того самого вечера у фонтана, теперь была устранена и, может быть, развеяна навеки; и вдобавок ко всему — теперь я могу признаться — я тайно праздновал еще одну невысказанную, невыразимую, нечестную маленькую победу. Можно было предположить, что события этого утра воздвигли между лордом Брайдсхедом и его законным наследием новые преграды.

И в этом я не ошибся; было послано за представителем лондонской адвокатской конторы; дня через два он действительно явился, и в доме стало известно, что лорд Марчмейн сделал новое завещание. Но я глубоко заблуждался, когда думал, что религиозным разногласиям положен конец; накануне отъезда Брайдсхеда после ужина они вспыхнули с новой силой.

— ...папины точные слова были: „Я не при смерти, я уже двадцать пять лет не являюсь практикующим членом церкви“.

— Не „церкви“, а „вашей церкви“.

— Не вижу разницы.

— Разница огромная.

— Брайди, ведь ясно, что он хотел сказать.

— По-моему, он хотел сказать то, что сказал. Что он не имеет обыкновения причащаться регулярно и, поскольку в данный момент еще не умирает, не видит причины изменять своим привычкам — пока что.

— Это крючкотворство.

— Почему люди считают стремление к точности крючкотворством? Он ясно выразился, что не согласен видеть священника именно в тот день, но согласится, когда будет при смерти.

— Пусть бы мне кто-нибудь объяснил, — сказал

я, — в чем, собственно, смысл этого, таинства? Значит ли оно, что, если человек умрет в одиночестве, он попадет в ад, а если священник помажет его маслом…

— О, дело не в масле, — возразила Корделия. — Масло — для исцеления.

— Еще того страннее — ну, не важно, что бы ни делал священник, для того чтобы он попал на небо. В это вы верите?

Здесь вмешалась Кара:

— Помнится, мне говорила няня или кто-то говорил, во всяком случае, что, если священник войдет, пока тело еще не остыло, тогда все в порядке. Это так, ведь правда?

Ее слова встретили дружный отпор.

— Нет, Кара, неправда.

— Разумеется, нет.

— Кара, вы что-то спутали.

— А я помню, когда умирал Альфонс де Грене, мадам де Грене спрятала священника прямо за дверью — Альфонс не переносил их вида, — а потом впустила его, когда тело еще не остыло, она сама мне рассказывала, и по нем отслужили полную панихиду, я на ней была.

— Панихида вовсе не означает, что вы обязательно попадете в рай.

— Мадам де Грене считала, что означает.

— Она ошибалась.

— Знает ли кто-нибудь из вас, католиков, зачем нужен священник? — спросил я. — Хотите ли вы просто, чтобы ваш отец мог быть похоронен по христианскому обряду? Или вы хотите, чтобы он не попал в ад? Я прошу объяснения.

Брайдсхед стал давать мне подробные объяснения, но, когда он кончил, Кара нарушила единство католического фронта, простодушно заметив:

— Вот, а я и не знала ничего этого.

— Давайте посмотрим, — сказал я. — Человек должен проявить свободную волю, должен раскаяться и желать примирения с богом. Так? Но только бог может знать, что у него в душе, священник этого знать не может; если же священника при этом нет и он примиряется с богом в душе своей, это так же ценно, как и в присутствии священника. Вполне возможно даже, что воля действует, когда человек уже совсем слаб, не в силах внешне это ничем выразить. Так? Он может лежать неподвижно, как мертвый, и при этом активно желать примирения с богом, и бог это будет знать. Так?

— Приблизительно так, — ответил Брайдсхед.

— Тогда для чего же нужен священник?

Последовала пауза, во время которой Джулия тяжело вздохнула, а Брайдсхед набрал в грудь воздуха, словно готов был снова приступить к расчленению посылок. И пока остальные молчали, Кара произнесла:

— Я только знаю, что сама непременно позабочусь о том, чтобы у меня был священник.

— Благослови вас бог, Кара, — сказала Корделия. — Вот, по-моему, самый лучший ответ.

И на этом мы прекратили спор, хотя каждый про себя считал его исход неудовлетворительным.

Позже, вечером, Джулия мне сказала;

— Ты не мог бы не заводить богословских споров?

— Не я их завел.

— Ведь ты никого ни в чем не убедил и даже не убедил самого себя.

— Мне просто хочется знать, во что эти люди верят. Ведь они говорят, что у них все на логической основе.

— Если бы ты дал Брайди договорить, у него бы и получилось все очень логично.

— Вас там было четверо, — настаивал— я, — Кара понятия ни о чем этом не имела и то ли

верит, то ли нет, неизвестно; ты знаешь кое-что и не веришь ни одному слову; Корделия знает не больше твоего и страстно верит; один только бедняга Брайди знает и верит по-настоящему, и, однако, когда дошло до объяснения, он оказался, на мой взгляд, совершенно беспомощен. А еще говорят: „По крайней мере католики знают, во что верят“. Сегодня мы видели как на ладони…

— Ох, Чарльз, к чему эти разглагольствования? Я могу подумать, что ты и сам начал испытывать сомнения.

Проходили недели, а лорд Марчмейн все еще был жив. В июне вступил в силу мой развод, и моя бывшая жена заключила второй брак. Джулия должна была стать свободна в сентябре. Чем ближе была наша свадьба, тем тоскливее, как я заметил, говорила о ней Джулия. Война тоже приближалась — это не вызывало у нас сомнений, — но грустное, отрешенное, даже порой отчаянное нетерпение Джулии шло не от той неопределенности, что была вне ее, а время от времени оно вдруг сгущалось в мгновенные приступы озлобления, и она бросалась на сдерживающую преграду своей любви ко мне, точно зверь на железные прутья клетки.

Меня вызвали в военное министерство, опро-

сили и внесли в список на случай национальной опасности; Корделию тоже внесли в какой-то список; списки снова вошли в нашу жизнь, как когда-то в школьные годы. Все лихорадочно подготавливалось к ожидающейся национальной опасности. В этом темном министерстве слово „война“ не произносилось, на нем лежало табу; нас должны были призвать, если возникнет „национальная опасность“ — не военная смута, которая есть акт человеческой воли, не такие ясные и простые вещи, как гнев и расплата, нет, национальная опасность — нечто являющееся из глубин вод, чудовище с безглазым ликом и хлещущим хвостом, которое всплывает со дна морского.

Лорд Марчмейн выказывал мало интереса к тому, что происходило вне стен его комнаты; каждый день мы приносили ему газеты и пытались читать их, но он поворачивал голову, разглядывая окружавшие его замысловатые узоры. „Читать, дальше?“ — „Да, пожалуйста, если вас это не утомляет“. Но он не слушал; изредка, при упоминании знакомого имени, он бормотал: „Ирвин… Знал его. Посредственность“; изредка делал какие-нибудь не идущие к делу замечания: „…чехи — превосходные кучера, и только“; но

мысли его были далеки от дел земных, они были здесь, в этой комнате, обращены на него самого; у него не было сил на другие войны, кроме его собственной войны, которую он вел в одиночку за то, чтобы не умереть.

Я сказал доктору, посещавшему нас теперь каждый день:

— У него великая воля к жизни, правда?

— Вы это так определяете? Я бы сказал — великий страх смерти.

— А разве есть разница?

— О да, конечно. Ведь страх не придает ему сил. Он его истощает.

Кроме смерти, быть может, из-за сходства с нею он больше всего боялся темноты и одиночества. Ему нравилось, когда мы все собирались у него в комнате и всю ночь в ней среди золоченых фигурок горел свет; ему не нужно было от нас речей, он разговаривал сам, но так тихо, что мы часто не могли расслышать его слов; он говорил сам, потому, мне кажется, что собственный голос был для него единственным надежным доказательством его продолжающейся жизни; речи его предназначались не для нас, не для чьих бы то ни было ушей, а только для него самого.

— Сегодня лучше. Сегодня лучше. Уже различаю

там в углу мандарина с золотым колокольчиком и под ним кривое деревце в цвету, а вчера все расплывалось и пагоду я принимал за второго человека. Скоро увижу мостик, и трех аистов, и то место, где тропинка уходит за холм.

А завтра будет еще лучше. У нас в семье живут долго и женятся поздно. Семьдесят три еще не старость. Тетя Джулия, тетка моего отца, дожила до восьмидесяти восьми, в этом доме она родилась и в нем же умерла, замуж так и не вышла, помнила, как горел огонь на Маячном мысу во время Трафальгарской битвы; этот дом у нее назывался „новый дом“— так его именовали в детской и в деревне, когда у неграмотных людей была долгая память. Где старый дом стоял, и сейчас видно— за деревенской церковью. Это место называется Замковый холм, на Хорликовом поле, там земля такая неровная, половина под пустырем, крапива да колючки, вся в ямах, не вспашешь. Выкапывали фундамент, брали камень на строительство нового дома. Новый, а ему уже сто лет было, когда тетя Джулия на свет родилась. Вот где наши корни — на изрытом пустыре под названием Замковый холм, в зарослях колючек и крапивы, среди надгробий в старой церкви и в часовне, где давно не слышно голоса причетника.

Тете Джулии были известны все надгробия — рыцарь со скрещенными ногами, граф в пышной кирасе, маркиз в тоге римского сенатора; известняк, алебастр, итальянский мрамор; она постукивала эбеновой тростью по гербам на щитах, заставляла гудеть, как колокол, шлем старого сэра Роджера. Тогда мы были рыцари, бароны после Азенкура, прочие титулы пришли с Георгами. Пришли последними и уйдут первыми, а баронство останется. Когда всех вас уже не будет на свете, сын Джулии останется жить под именем, которое его праотцы носили, когда еще не пришли тучные дни: дни стрижки овец и широких хлебных пашен; дни роста и строительства, когда осушались болота и вспахивались пустыри; когда один человек строил дом, его сын возводил над ним купол, сын сына пристраивал два крыла и ставил запруды на реке. Тетя Джулия видела, как строили фонтан; он был стар еще до того, как очутился здесь, пережил два столетия неаполитанского солнца, привезен на борту военного фрегата в нельсоновские времена. Скоро фонтан иссякнет и будет стоять, покуда его не наполнят дожди и не поплывут в бассейне прошлогодние листья, а пруды зарастут тростником. Сегодня лучше.

Сегодня мне лучше. Гораздо лучше. Я жил осмотрительно, закрывался от холодного ветра, ел умеренно пищу по сезону, пил тонкие вина, спал в собственной постели; я проживу долго. Мне было пятьдесят, когда нас спешили и отправили на передовую; старым оставаться на базе — гласил приказ; но Уолтер Винеблс, мой командир, сказал мне: „Вы, Алекс, не уступите и самым молодым“. Я и не уступал и не уступаю, было бы мне только легче дышать.

Воздуха нет, ни дыханья ветерка под бархатным балдахином. Когда наступит лето, — говорил лорд Марчмейн, забывая о спелых хлебах, и сочных плодах, и о сытых пчелах, лениво летящих к улью в жарком, солнечном свете у него за окном, — когда наступит лето, я встану с постели и буду сидеть на воздухе, чтобы легче дышалось.

Кто бы подумал, что все эти золотые человечки, джентльмены в своем отечестве, смогут так долго жить не дыша. Словно жабы в угольной яме, и горя не знают. Господи спаси, зачем мне выкопали эту яму? Неужели человек должен задохнуться в собственных погребах? Плендер, Гастон! Откройте окна! Скорее!

— Все окна распахнуты, милорд.

Возле его кровати был установлен кислород-

ный баллон с длинной трубкой, воронкой и краном, который он сам мог поворачивать. Он часто жаловался.

— Там ничего нет, сестра, посмотрите, оттуда ничего не идет.

— Идет, лорд Марчмейн, баллон полон, это видно вот здесь, по пузырьку в пробирке; давление максимальное. Слышите, как шипит? Старайтесь вдыхать медленнее, лорд Марчмейн, понемножку, не торопясь, тогда почувствуете.

— Легкий, как воздух, есть такое выражение — легкий, как воздух. А мне теперь приносят воздух в тяжелой железной бочке.

Один раз он спросил:

— Корделия, что сталось с часовней?

— Ее закрыли, папа, после маминой смерти.

— Это была ее часовня, я ей подарил. У нас в семье все были строители. Я построил ее в павильоне из старых камней, в старых стенах; это было последнее добавление к новому дому; пришло последним и первым ушло. До войны там был свой капеллан. Помнишь?

— Я была слишком маленькой.

— Потом я уехал — оставил ее молиться в часовне. Это была ее часовня. Ее место. Назад я не вернулся, не хотел мешать ее молитвам. Говори-

ли, что мы сражаемся за свободу; я одержал свою собственную победу. Разве это преступление?

— По-моему, да, папа.

— И взываете к небесам об отмщении? Так вот почему, наверно, меня заточили в эту пещеру с черной трубкой, подающей воздух, и с желтыми человечками по стенам, умеющими жить не дыша? По-твоему, так, дитя? Но скоро подует ветер, быть может завтра, и нам всем станет легче дышать. Дурной, злой ветер, который принесет мне облегчение. Завтра будет еще лучше.

Так пролежал лорд Марчмейн при смерти до середины июля, растрачивая последние силы в битве за жизнь. Потом, поскольку не было причины опасаться резких перемен в его состоянии, Корделия уехала в Лондон выяснить у себя в женской организации кое-какие вопросы в связи с предстоящей „национальной опасностью“. И в этот день лорду Марчмейну внезапно стало хуже. Он лежал, неподвижный и безмолвный, и мучительно, с трудом дышал, только взгляд открытых глаз, иногда перемещавшийся по комнате, свидетельствовал о том, что больной в сознании.

— Это конец? — спросила Джулия.

— Неизвестно, — ответил доктор, — конец, когда он наступит, будет, вероятно, таким же. Но от

теперешнего приступа он еще может оправиться. Главное — ничем его не тревожить. Любое потрясение может быть фатально.

— Я еду за отцом Маккеем, — сказала она. Я не удивился. Я все лето знал, что у нее на уме. Когда она уехала, я сказал доктору:

— Мы должны помешать этой нелепице. Он ответил:

— Мое дело — заботиться о теле. А не рассуждать о том, кому лучше жить, кому умереть и что с кем будет после смерти. Я просто стараюсь, чтобы человек не умер.

— Но вы только сейчас говорили, что потрясение его убьет. Может ли быть что-нибудь вреднее для человека, который так боится смерти, чем вид приведенного к нему священника, священника, которого он выставил за дверь, когда еще был в силах?

— Я допускаю, что это может его убить.

— Значит, вы это запрещаете?

— Я не вправе запрещать что-либо. Могу только выразить мое мнение.

— Кара, а вы что думаете?

— Я не хочу, чтобы его огорчали. Только на одно сейчас еще можно надеяться — что он умрет, сам того не сознавая. Но все-таки я хотела бы, чтобы

священник был здесь.

— Так постарайтесь уговорить Джулию, чтобы она его к нему не пускала до… до конца. Потом уже вреда не будет.

— Хорошо, я попрошу ее не причинять Алексу горя. Через полчаса Джулия возвратилась с отцом Маккеем. Мы все сошлись в библиотеке.

— Я телеграфировал Брайди и Корделии, — сказал я, — надеюсь, все согласятся ничего не предпринимать до их приезда.

— Мне очень жаль, что их нет сейчас, — сказала Джулия.

— Ты не можешь одна взять на себя ответственность, — убеждал ее я. — Все остальные против тебя. Доктор Грант, скажите ей, что вы сегодня говорили мне.

— Я говорил, что вид священника вполне может его убить; в противном случае не исключено, что он оправится от этого приступа. В качестве его лечащего врача я обязан возражать против всего, что может причинить ему беспокойство.

— Кара?

— Джулия, милая, я знаю, вы хотите сделать как лучше, но ведь вы же знаете, Алекс не был религиозен. Он всегда смеялся над религией. И мы не должны теперь пользоваться его немощью

для успокоения собственной совести. Если отец Маккей войдет к нему, когда он будет без сознания, это даст нам право похоронить его по закону, ведь верно, отец?

— Пойду взгляну, как он, — сказал доктор.

— Отец Маккей, — обратился я к священнику, — вы помните, как лорд Марчмейн встретил вас в прошлый раз? Неужели это возможно, по вашему мнению, чтобы он с тех пор переменился?

— Хвала богу, его милостью это возможно.

— Может быть, — предложила Кара, — вы бы вошли потихоньку, когда он спит, и произнесли над ним слова отпущения, а он и не узнал бы.

— У меня на глазах умерло так много людей, — ответил он, — и я не видел, чтобы кто-нибудь из них в последний час был огорчен моим присутствием.

— Но ведь то все были католики, а лорд Марчмейн не был, разве только формально, по крайней мере последние годы. Он смеялся над этим, Кара сама говорила.

— Христос пришел звать к раскаянию не праведников, но грешников.

Вернулся доктор.

— Без перемен, — сказал он.

— Ну подумайте, доктор, — повернул к нему

священник свое спокойное, невинное, серьезное лицо, — могу ли я вызвать у кого-нибудь потрясение? — Он обвел взглядом нас всех. — Вы знаете, что я хочу сделать? Это так немного и так просто. Я ведь даже не ношу специального облачения, иду в чем есть. Вид мой ему уже знаком. Ничто не может его испугать. Я только спрошу у него, жалеет ли он о совершенных грехах. И буду ждать от него утвердительного знака, в крайнем случае довольно будет и того, что он не скажет мне „нет“; потом я дам ему божье прощение. А затем, хотя это уже и не так обязательно, я его помажу. Это сущий пустяк, прикосновение пальцев и капли масла вот из этой баночки; смотрите, ничего не может ему повредить.

— Ох, Джулия, как нам решить? — вздохнула Кара. — Постойте, я попробую с ним поговорить.

Она ушла в Китайскую гостиную; мы молча ждали; стена огня разделяла меня и Джулию. Немного погодя Кара возвратилась.

— По-моему, он ничего не слышал, — растерянно проговорила она — Мне казалось, я придумала, как начать. Я сказала:

„Алекс, ты помнишь Мелстедского священника? Ты его очень обидел, когда он приезжал тебя навестить. Ты был с ним так резок. Он опять

приехал. Я хочу, чтобы ты с ним повидался ради меня и чтобы вы помирились“. Но он не ответил. Если он без сознания, его не может огорчить вид священника, ведь правда, доктор?

Джулия, до этого стоявшая молча и неподвижно, вдруг шагнула вперед.

— Благодарю вас за совет, доктор, — проговорила она. — Я беру на себя полную ответственность за все, что может случиться. Отец Маккей, будьте добры пройти теперь к моему отцу. — И, не взглянув на меня, пошла впереди него к двери.

Мы все потянулись следом. Лорд Марчмейн лежал так же, как я его видел утром, только глаза у него были теперь закрыты; руки его вверх ладонями покоились на одеяле, на одной из них сиделка как раз щупала пульс.

— Входите, входите, — бодро сказала она. — Теперь вы его уже не потревожите.

— Уже?

— Нет-нет, но он больше ни на что не реагирует. Она поднесла к его лицу кислородную трубку, и шипение выходящего газа было единственным звуком у постели умирающего.

Священник наклонился над лордом Марчмейном и благословил его. Джулия и Кара опустились на колени в изножье кровати. Доктор, сиделка и

я стояли позади.

— Ну, — сказал священник, — я знаю, вы жалеете обо всех своих грехах, правда? Сделайте знак, если можете. Ведь вы жалеете? — Но знака не было. — Попытайтесь припомнить свои грехи и попросите у бога прощения. Я отпущу вам грехи. А вы тем временем попросите у бога прощения за все, в чем ослушались его. — Он заговорил по-латыни. Я узнал слова:

„Ego te absolve in nomine Patris…“[35] — и увидел, что священник осеняет себя знаком креста. И тогда я тоже опустился на колени и стал молиться: „О бог, если бог есть, прости ему его грехи, если такая вещь, как грех, существует“. И лежащий на кровати открыл глаза и испустил вздох, какой, по моим представлениям, испускают люди, умирая, но глаза его были подвижны, так что мы знали, что жизнь еще не покинула его.

Внезапно я почувствовал, что всей душой хочу этого знака, пусть даже только из учтивости, пусть даже только ради женщины, которую я люблю и которая, я знал, в эту минуту, стоя впереди меня на коленях, молилась о знаке. Казалось, то была совсем пустячная просьба — всего лишь

---

[35] Примечания: 35
„Я отпускаю тебе грехи во имя Отца“ (лат.)

кивок в благодарность, взгляд узнавания в толпе. Я стал молиться еще проще: „Бог, прости его грехи. И пожалуйста, сделай так, чтобы он принял твое прощение“.

Совсем пустячная просьба.

Священник вынул из кармана серебряную баночку, опять сказал что-то по-латыни и прикоснулся к умирающему масляным тампоном; покончив со всем, что полагалось сделать, он убрал баночку и благословил умирающего последний раз. Внезапно лорд Марчмейн зашевелился и медленно поднес руку ко лбу; у меня мелькнула мысль, что он почувствовал влагу елея и хочет его стереть. „О бог, — молился я, — не дай ему это сделать!“ Но мой страх был напрасен: так же медленно рука опустилась на грудь, потом передвинулась к плечу, и лорд Марчмейн осенил себя знаком креста. И тогда я понял, что просьба моя была совсем не о пустяке, не о попутном кивке узнавания, и мне припомнились слова из далеких времен моего детства о завесе, которая разодралась в храме надвое сверху донизу.

Все было кончено; сиделка опять подошла к кислородному баллону; доктор склонился над больным. Джулия шепнула мне:

— Проводи отца Маккея, хорошо? Я побуду

здесь еще немного.

За дверью отец Маккей снова стал тем простым и добродушным человеком, которого я знал.

— Ну, разве не прекрасное было зрелище? У меня на глазах это случалось несчетное количество раз. Диавол сопротивляется до последней минуты, но в конце милость божия над ним торжествует. Вы, мистер Райдер, не католик, насколько мне известно, но по крайней мере вас должно это радовать ради дам, получивших теперь утешение.

Пока мы ждали шофера, мне пришло в голову, что отцу Маккею следует заплатить за его услуги. Я, смущаясь, спросил его об этом.

— Не беспокойтесь, мистер Райдер. Для меня это было удовольствие, — ответил он. — Но все, что бы вы ни уделили, будет кстати в таком приходе, как мой. — У меня в бумажнике оказались три фунтовые ассигнации, и я отдал их ему. — Право, вы более чем щедры. Благослови вас бог, мистер Райдер. Я заеду опять, хотя едва ли ему еще долго пребывать в этом мире.

Джулия оставалась в Китайской гостиной, и в пять часов пополудни ее отец умер, доказав тем самым правоту обеих споривших сторон — и доктора, и священника.

Здесь я подхожу к тем обрывочным фразам, которые оказались последними, сказанными между мною и Джулией, к последним воспоминаниям.

Когда отец ее умер, Джулия еще некоторое время оставалась у тела; сиделка вышла в другую комнату с печальным сообщением, и в открывшуюся дверь я мельком видел ее стоящей на коленях в изножье кровати; рядом в кресле сидела Кара. Вскоре они обе вышли, и Джулия сказала мне:

— Не сейчас, я отведу Кару в ее комнату. Позже. Пока она еще оставалась наверху, приехали из Лондона Брайдсхед и Корделия; и, когда мы наконец встретились наедине, это произошло украдкой, как у молодых влюбленных. Джулия сказала:

— Здесь, в темноте, в углу под лестницей, — одна минута, чтобы сказать „прощай“.

— Так долго, чтобы сказать так мало.

— Ты знал?

— С утра; еще до того, как наступило утро; уже целый год.

— А я только сегодня. О мой дорогой, если бы ты мог понять. Тогда бы я перенесла разлуку, легче бы перенесла. Я бы должна сказать, что сердце мое разбито, только я не верю в разбитые сердца. Я не могу быть твоей женой, Чарльз, я больше

никогда не смогу быть с тобой.

— Знаю.

— Откуда тебе знать?

— Что ты будешь делать?

— Просто жить дальше — одна. Как я могу сказать, что я буду делать? Ты знаешь про меня все. Знаешь, что я не создана для траура. Я всегда была плохой, Может быть, опять буду жить плохо и опять понесу наказание. Но чем я хуже, тем больше моя нужда в боге. Я не могу отказаться от надежды на его милость. А было бы именно это — новая жизнь с тобой, без него. Нам не дано видеть дальше чем на шаг вперед. Но сегодня я увидела, что есть одна вещь, по-настоящему непростительная — как в школе были такие проступки, за которые даже не наказывали и требовалось только вмешательство мамы, — и эту непростительную вещь я едва не совершила, но оказалась недостаточно плохой, чтобы ее совершить, это — сотворение иного добра, против божьего. Почему, почему мне было дано это понять, а тебе — нет, Чарльз? Может быть, потому что мама, няня, Корделия, Себастьян и даже Брайди и миссис Маспрэтт поминают меня в своих молитвах? А может быть, это мой личный уговор с богом, что, если я откажусь вот от этого,

чего так хочу, потом, как бы плоха я ни была, он под конец все же не отвернется от меня… Ну вот, теперь мы оба останемся одиноки, и мне никогда не добиться, чтобы ты понял.

— Не хочу облегчать тебе разлуку, — сказал я, — и надеюсь, что твое сердце разобьется, но я все понимаю.

Лавина обрушилась, обнажив каменистый склон; последние отзвуки громов замерли среди белых вершин; новый завал безмолвно искрился глубоко в долине.

Эпилог
БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ

— Дыра хуже этой нам еще не попадалась, — сказал батальонный, — ни удобств, ни сообщения, и бригадное командование прямо на шее. Один кабак и тот во Флайт-Сент-Мэри, человек на двадцать вместимостью — туда, понятно, офицерам вход запрещен; есть военная лавка на территории лагеря. Раз в неделю, надеюсь, будет ходить грузовик в Мелстед-Карбери. Марчмейн в десяти милях и ничего собой не представляет. Вследствие всего этого первая забота ротных командиров — организовать отдых для своих солдат. Медицина, прошу вас осмотреть пруды на предмет пригодности для купания.

— Слушаюсь, сэр.

— Штаб бригады поручает нам расчистку помещения. Я лично думал, что их штабные лодыри и симулянты могли бы избавить нас от этой работы, но… Райдер, вам выделена команда из пятидесяти человек, в 10:45 доложитесь коменданту, он покажет, какая часть дома нам поручается.

— Слушаюсь, сэр.

— Наши предшественники, как видно, были не очень-то предприимчивы. Долина располагает отличными возможностями для устройства штурмовой полосы и минометного полигона. Начальник стрелковой подготовки, сегодня же проведите осмотр местности и представьте разметку до приезда бригадного командования.

— Слушаюсь, сэр.

— Я сам отправлюсь с адъютантом на рекогносцировку полигонов. Здешние места никто не знает? — Я промолчал. — Тогда все. Исполняйте.

— Дом старинный и в своем роде замечательный, — сказал мне комендант. — Жалко даже так его трепать.

Это был пожилой отставной подполковник, уже отслуживший свое и теперь вернувшийся в армию; он был из местных и жил где-то неподалеку. Мы встретились в холле у главного входа, где моя полурота выстроилась в ожидании дальнейших распоряжений.

— Пойдемте со мной. Я вам все покажу. Не дом, а целый город, но мы реквизировали только нижний этаж и несколько комнат наверху. Остальные — частная собственность и по большей части забиты мебелью; в жизни такой не видывал, кое-чему там цены нет.

На верхних этажах помещаются смотритель и несколько старых слуг — они вам не помешают — и один католический священник, переживший бомбежку, теперь его приютила леди Джулия, — тихий старичок, весь трясется, но безобидный. Открыл часовню при доме; солдатам туда вход дозволен, и удивительно, до чего многие бывают.

Домовладелица — леди Джулия Флайт, как она теперь себя именует. Она была замужем за Моттремом, знаете, министром чего-то там такого. Сейчас находится за границей, в женских частях, а я тут пока стараюсь приглядывать за домом. Очень было странно, когда старый маркиз оставил все ей, — сыновьям обида.

Вот здесь у тех, кто стоял в доме до вас, размещались писаря — места, прямо скажем, вдоволь. Как видите, камины и стены я распорядился обшить досками — там за ними много ценных произведений искусства. Э, да тут кто-то, я вижу, постарался, какие, право, солдаты все-таки разорители! Хорошо, что мы заметили, не то пришлось бы отвечать вам.

Эта комната тоже из просторных, раньше она вся была увешана гобеленами. Советую использовать для конференций.

— Я здесь только для уборки, сэр. Распределением комнат займутся в штабе бригады.

— А, ну что ж, у вас работа нетрудная. Ваши предшественники были народ вполне приличный. Конечно, им не следовало так обращаться с этим камином. Как они только сумели? С виду такой прочный. Интересно, можно ли будет его когда-нибудь починить?

Бригадный командир, вероятно, займет эту комнату под свой кабинет; прежний, во всяком случае, выбрал именно ее. Здесь много картин, а вынести нельзя: написаны прямо на стенах. Как видите, я сделал что мог, закрыл их по возможности, завесил, но наши армейские до всего доберутся; вот добрались— уже там, в углу. Тут была еще одна комната с картинами на стенах, вход снаружи, со стороны террасы — современная работа, но, на мой взгляд, красивее всех в доме; у них это был узел связи, так они там живого места не оставили. Жаль, надо сказать.

А этот страх божий был у них столовая. Я поэтому не стал и загораживать, хотя вообще-то не велика беда, если бы и повредили. Напоминает, по-моему, публичный дом, из тех, что пошикар-

нее, знаете, Maison Japonaise...[36] А это буфетная.

Мы быстро завершили обход пустых, гулких покоев. Потом вышли на террасу.

— Вон там солдатские уборные и душевая, не знаю, зачем было ставить их на самом виду, это еще до меня сделали. Впрочем, раньше за деревьями ничего не было видно. Мы проложили сюда дорогу прямо от шоссе через те посадки — не слишком живописно, зато удобно: очень много транспорта. Но парк изуродовали, ничего не скажешь. Видите, вон там какой-то олух проехал прямо через живую изгородь и снес кусок балюстрады — трехтонка, а подумаешь, тяжелый танк. А вот это фонтан, владелица дома им очень дорожит; молодые офицеры завели было обычай плескаться в нем, и он уже заметно пострадал, поэтому я обнес его колючей проволокой и выключил воду. Теперь там довольно грязно, все шоферы швыряют в него окурки и обертки от сандвичей, а вымести нельзя — проволока мешает. Фантастическое сооружение, верно?..

Ну, если вы все осмотрели, я поеду. Всего наилучшего. Его шофер бросил окурок в пустой бассейн фонтана, взял под козырек и распахнул

---

[36] Примечания: 36
Японский домик (франц.)

дверцу машины. Я тоже взял под козырек, и комендант уехал через пролом в шеренге лип, окаймлявших аллею.

Хупер, — сказал я, когда мои солдаты приступили к работе, — как вы думаете, могу я на полчаса оставить на вас команду?

— Я как раз сейчас думал, где бы разжиться чайком.

— Что за вздор, — сказал я. — Они только начали.

— Они жутко разозлились.

— Пусть продолжают, ясно?

— Есть. Железно.

Я не задержался в опустошенных комнатах первого этажа, а поднялся наверх и пошел по знакомым коридорам, пробуя двери в комнаты, которые были закрыты, открывая другие, до потолка набитые мебелью. Наконец навстречу мне попалась старая горничная с чайным подносом в руках.

— Господи, — сказала она. — Неужто это мистер Райдер?

— Он самый. Я уже думал, что не встречу никого знакомого.

— Миссис Хокинс наверху, в своей прежней комнате. Я как раз несу ей чай

— Я сам отнесу, если позволите, — сказал я и, войдя через завешенную дверь на лестницу без ковра, поднялся в детскую.

Няня Хокинс не узнала меня, пока я не назвался; мое появление поначалу совсем вывело ее из равновесия; и только когда мы немного посидели с нею у камина, к ней постепенно вернулась прежняя безмятежность. Она, совершенно не менявшаяся все эти годы, теперь вдруг очень сильно постарела. Последние перемены наступили для нее слишком поздно, она уже не в силах была их понять и принять, зрение, пожаловалась она мне, у нее совсем ослабло, и она справляется теперь только с самым простым рукоделием. Речь ее, отточенная за долгие годы „образованных“ разговоров, вновь приобрела мягкий крестьянский распев времен ее молодости.

— …одна только я да две девушки и отец Мемблинг, бедняжка, вот что разбомбило-то его, и ни кола ни двора, ни крыши над головой у него не было, спасибо Джулия, добрая душа, взяла его сюда, а уж с нервами у него до того плохо… И леди Брайдсхед, то есть Марчмейн уже теперь, ее по правильному надо бы величать „ее светлость“, только язык как-то не поворачивается, и с ней то же самое было. Сначала-то, как Джулия

с Корделией ушли на войну, она сюда переехала с двумя мальчиками, ну, потом военные их отсюда выселили, тогда они сняли дом в Лондоне, но и месяца в нем не прожили, а Брайди-то не было, он со своим полком, как в прежние года его светлость, упокой господи его душу, а тут их вдруг возьми да и разбомби, ничего не осталось, а мебель свою она здесь держит, в каретном сарае. Тогда она другой дом сняла, за городом, а военные и этот забрали, вот она теперь и живет, слышно, в гостинице где-то на взморье, а гостиница — это не то что своим-то домом жить, верно я говорю? Куда это годится…

…Слыхали вы вчера, как мистер Моттрем речь говорил? Уж так он этому Гитлеру задал. Я сказала Эффи, девушке, что мне услужает: „Если только Гитлер это слышит, говорю, ну и если он по-английски-то понимает, да только едва ли, вот уж ему небось стыдно“. Кто бы мог подумать, что мистер Моттрем так далеко пойдет? И все друзья его, что здесь-то сколько раз бывали. Я сказала мистеру Уилкоксу, он два раза в месяц меня обязательно навещает, спасибо ему, из самого Мелстеда на автобусе добирается, вот я ему и говорю: „Мы ангелов принимали, того не ведая“, — ведь мистер Уилкокс не жаловал друзей

мистера Моттрема, а я-то их никогда и не видела, но наслышана про них ото всех вас, и Джулия их тоже не жаловала, а они вон как далеко пошли.

Под конец я ее спросил:

— Вы получали что-нибудь от Джулии?

— От Корделии вот только на прошлой неделе, а они там вместе с самого первого дня, и Джулия приписала привет в низу страницы. Поживают обе хорошо, правда, где это, им писать нельзя, но отец Мемблинг читает между строк, он говорит, что в Палестине они, а Брайди со своим полком тоже там, вот как все удачно получилось. Корделия пишет, они ждут с нетерпением, когда можно будет после войны вернуться домой, да мы и все ждем того с нетерпением, вот только доживу ли я, это уж как бог даст.

Я пробыл у нее полчаса и, уходя, посулился навещать почаще. Спустившись в холл, я удостоверился, что ничего не сделано; Хупер встретил меня с виноватым видом.

— Им понадобилось срочно уйти за соломой для тюфяков. Я не знал, но мне сказал сержант Блок. Не уверен, что они вернутся.

— Не уверены? А какое приказание вы отдали?

— Ну, я сказал сержанту, чтобы он привел их обратно, если будет смысл возвращаться, то есть

если останется время до обеда.

Было без малого двенадцать.

— Вас опять надули, Хупер. Солому можно получить в любое время до шести вечера.

— Вот черт, извините, Райдер. Сержант Блок…

— Я сам виноват, что ушел… Соберите ту же команду сразу после обеда, приведите сюда и не отпускайте, пока работа не будет сделана.

— Есть. Железно. А вы правда бывали в этом доме раньше?

— Правда. Это дом моих близких друзей. — И когда я произнес эти слова, они прозвучали, на мой собственный слух, так же странно, как некогда слова Себастьяна, когда он сказал не „Это мой дом“, а „Здесь живет наша семья“.

— Непонятно, ей-богу, одно семейство в таком домище? Какой в нем прок?

— Штаб бригады, мне кажется, нашел в нем какой-то прок.

— Да, но не затем же он был построен, верно?

— Верно, — ответил я. — Он был построен не затем. По-видимому, в этом и состоит одно из удовольствий от строительства дома, как и от рождения сына: в неведении, каким он вырастет. Не знаю. Я никогда ничего не строил; и я утратил право наблюдать, как растет мой сын. Я бездом-

ный, бездетный, никем не любимый пожилой мужчина, Хупер. — Он посмотрел на меня, не зная, всерьез я говорю или шучу, решил, что шучу, и расхохотался. — А теперь ступайте в лагерь, да не попадайтесь на глаза батальонному, если он уже вернулся с рекогносцировки, лучше пусть никто не знает, что мы ухлопали утро впустую.

— Окей, Райдер.

Оставалась еще одна часть дома, где я до сих пор не побывал, и теперь я направился туда. В часовне не заметно было следов недавнего запустения; краски в стиле модерн были все так же ярки, перед алтарем, как прежде, горела лампада в стиле модерн. Я произнес молитву, древний, недавно выученный словесный канон, и ушел. По пути в лагерь под звуки обеденного горна я думал так:

„Строителям были неведомы цели, которым послужит в грядущих веках их произведение; они построили новый дом из камней, слагавших старый замок; год за годом, поколение за поколением приукрашали и достраивали его; год за годом великая жатва леса созревала в их парке; и вдруг ударили морозы и наступил век Хупера; дом и парк опустели, и вся работа пошла насмарку; quomodo sedet sola civitas. Суета сует,

все — суета.

И все-таки, — продолжал я свою мысль, прибавляя шагу на пути в лагерь, где горн после недолгого молчания начал играть второй сигнал и громко выводил: „Пироги, пироги и кар-тошка!“ — и все-таки это еще не последнее слово, это даже и не меткое слово, это — мертвое слово десятилетней давности.

Из дела строителей вышло нечто совсем ими не предусмотренное, как и из жестокой маленькой трагедии, в которой я играл свою роль, — такое, о чем никто из нас тогда даже не думал; неяркий красный огонь — медный чеканный светильник в довольно дурном вкусе, вновь зажженный перед медными святыми вратами; огонь, который видели древние рыцари из своих гробниц, который когда-то у них на глазах был погашен, — этот же огонь теперь опять горит для других воинов, находящихся далеко от дома, гораздо дальше в душе своей, чем Акр или Иерусалим. Он не мог бы сейчас гореть, если бы не строители и актеры, исполнившие маленькую трагедию, ныне же я видел его своими глазами вновь зажженным среди древних камней“.

Я прибавил шагу и вошел в барак, где находилась наша столовая.

У вас что-то сегодня необычно бодрый вид, — сказал мой помкомроты.